







МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1978



ФАНТАСТИКА
78



СОСТАВИТЕЛИ:

Д. Шашурин
А. Осипов

**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:**

Север Гансовский
Василий Захарченко
Александр Казанцев
Алим Кешоков
Юрий Медведев
Сергей Павлов
Виталий Севастьянов
Аскольд Якубовский

Ф 70302—193
078(02)—78 236—78

Наши авторы

А. Аникин
Б. Балашавичус
В. Бережной
В. Головачев
А. Дмитрук
Д. Де-Спиллер
В. Жигунов
В. Заяц
Т. Малик
В. Мещеряков
И. Мынэскуртэ
А. Осипов
И. Папанов
В. Панков
А. Платонов
С. Плеханов
А. Раскопыт
Ю. Селезнев
К. Симонян
Л. Сеницына
Ф. Суркис
Г. Тарнаруцкий
А. Торосов
А. Хлебников
В. Чепайтис
Ю. Яровой

Абакан
Баку
Балаково
Братск
Вильнюс
Душанбе
Днепропетровск
Ереван
Киев
Кишинев
Краснодар
Ленинград
Москва
Свердловск
Ташкент
Тбилиси

С ДУМОЙ О МОЛОДЫХ

...Мечта, молодость, фантастика. Мечтают, фантазируют все, да только у молодых больше времени впереди, чтобы воплотить и задуманное и заветное. Даже далекое будущее достижимо. Завершат они нынешние великие стройки, позаботятся о планах на завтра, откроют ближайшие перспективы, а там, глядишь, задумают мосты в грядущие столетия...

Вот о чем мы размышляли, когда занимали страницы сборника, с большой радостью предоставляя их молодым.

Для некоторых авторов публикация в сборнике — лишь первые шаги в литературу (В. Головачев, Л. Синицына, А. Торосов, В. Заяц). Другие уже успели проложить в ней свои тропинки и идут по ним вперед, преодолевая трудности роста и совершенства. Это А. Дмитрук, В. Панков и Ю. Яровой.

Читатели, вероятно, уже заметили по предыдущим выпускам сборника, как существенно расширились географические границы многонациональной советской фантастики. Добрая традиция сборника продолжена. И это справедливо во всех отношениях, ибо это закономерно.

Вы прочтете здесь произведения Балашявичуса из Литвы, Василия Бережного с Украины, Иона Мынэскуртэ из Молдавии, Анри Торосова из Грузии, Тахира Малика из Узбекистана... Вопреки некоторым утверждениям, что фантастика стирает национальные границы, а идейно-художественное содержание подчиняется стереотипам условно-глобальной проблематики, творчество молодых советских авторов утверждает иную точку зрения. Национальное проявляется и в выборе тем, проблематике произведений, и в характерных особенностях замысла, и в выборе формы, и в художественном исполнении. И если особенности творчества у тбилисца А. Торосова определяются несколько ироничным стилем и конкретными «приметами быта», то в повести Тахира Малика сталкиваешься уже и с присущим его народу ритмом повествования, и с историко-этнографическими элементами, и с попыткой осветить одну из любопытных страниц истории богатой узбекской культуры. При всем разнообразии проблем и идей, национально-художественном преломлении их произведения «работают» на будущее, активно участвуют в преобразовании мира и человека.

Прием художественной стилизации «Путешествий Гулливера» Д. Свифта использован в повести А. Аникина «Пятое путешествие Гулливера», обращенной к острым политическим проблемам современной действительности. Романтические приемы в новаторском синтезе с традиционной научной фантастикой характерны для необычайно свежего и насыщенного неподдельным патриотическим дыханием рассказа Б. Балашявичуса «Знакомый солдат». Философско-этический ракурс перспектив изучения космоса зани-

мает молодого автора из Днепропетровска В. Головачева. Ирония и сатира определяют художественную окраску повести Л. Синицыной из Душанбе. Новаторскими можно назвать и два рассказа, стоящих почти что рядом, — «Живая вода» Г. Тарнаруцкого и «Хрустальный дом» Ю. Ярового. Оба они о наших современниках, о молодых, увлеченных работой людях, в жизни которых находится место и для удивительных по своему общечеловеческому значению открытий, и для подвига, и для преодоления трудностей...

А рядом полусказка, написанная с подкупающим лиризмом и реалистическим отображением действительности, ленинградца Ф. Суркиса и оригинальное юмористическое переосмысление лемовских «звездопроходцев», «Были старого космогатора» киевлянина В. Зайца.

Дополняют картину разнообразия современной фантастики и другие разделы сборника: «Школа мастеров», «Грани будущего» и традиционная «Библиография».

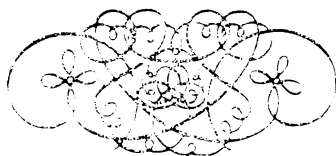
Легко проследить тесную связь всех произведений с нашими буднями, даже когда автор обращается к прошлому или гипотетически отдаленному будущему, связь времен и поколений, закономерное и последовательное движение из прошлого через настоящее к будущему. Новое поколение фантастов наследует лучшие традиции художников прошлого: А. Толстого, А. Беляева, И. Ефремова, постоянно приумножая их, осознает преимущество и необходимость качественного развития жанра в русле социалистического реализма. Не беспочвенный вымысел о невообразимо далеких временах, мирах и ситуациях, а наши волнующие проблемы запечатлены в произведениях советских фантастов.

Реализм и действенность художественного неизбежно зависят от тесной связи писателя с его эпохой, от его любви к своему народу, родной земле и всему человечеству. «Ведь ...только любящий, — по словам замечательного писателя Андрея Платонова, автора рассказа «Потомки Солнца», — знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему!»

СОСТАВИТЕЛИ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Недаром говорится: никому не дано знать свою судьбу. Закончив свои записки о четырех опасных плаваниях в заморские страны, Лемюэл Гулливер полагал, что он мирно окончит свои дни в кругу семьи. Но обстоятельства заставили его вскоре отправиться в новое путешествие, о котором он позже написал отчет. Покойный доктор Джонатан Свифт, который, как выяснилось, был подлинным издателем записок Гулливера, не успел опубликовать этот отчет. Ныне мы восполняем пробел.

В своем пятом путешествии Гулливер посетил два государства, в которых нет лилипутов, великанов, летающих островов или говорящих лошадей. Тем не менее его безыскусственный рассказ не лишен интереса и поучителен. Вот что пишет наш путешественник:

«В каждой из этих стран жизнь народа пошла особым путем, и на первый взгляд трудно представить себе что-либо более различное, даже противоположное. Но я, как говорится, на собственной шкуре убедился, что недостатки человеческой природы имеют странное сходство. Приближаясь к концу жизненного пути, я снова взялся за перо, чтобы предостеречь людей против опасностей, которые таит превращение в одержимых расчетом и корыстью жителей Пекуньярии или в нищих духом и телом обитателей Эквигомии».

Название первой страны Гулливер не без основания возводит к латинскому слову «пекуния», что означает «деньги». Со своей обычной скромностью оговаривает он, что предоставляет более ученым людям судить, как попала латынь на этот остров, затерянный в южной части Индийского океана. Эквигомия тоже слово латинского корня и может означать «страна равных людей».

Мы надеемся в дальнейшем опубликовать ту часть отчета Гулливера, в которой он рассказывает о приключениях в Пе-

куньярии и о нравах пекуньярцев. Ныне мы вынуждены ограничиться краткой справкой, которая должна сделать понятным повествование о последующих событиях.

Деньги, Собственность и Конкуренция — эти три верховных божества пекуньярского пантеона — жестоко царят над людьми. В этой стране никто ничего не делает даром. Ничто не предпринимается, если не обещает прибыли.

Гулливер познакомился с системой управления страной, где парламент носит название Палаты Собственников и состоит из людей, которые могут и хотят доказать, что их состояние превышает определенную сумму.

Он долго не мог привыкнуть к дурной оригинальности, нелепой экстравагантности и расточительности пекуньярцев в одежде и убранстве домов. Потом он понял: на этом покоилось хозяйственное благосостояние страны, и собственники всеми средствами поощряли эту манию.

Искусство стало в Пекуньярии рабом торговли. Художники давно бросили писать картины и придумывают лишь новые модели женского белья и причесок. Писатели сочиняют лживые похвалы товарам, которые становятся все бесполезнее. Исчезла чистая наука, ибо за нее никто не хочет платить.

Гулливер рассказывает о странной бухгалтерии в отношениях между родителями и детьми. С самого рождения ребенка родители заводят особую книгу, в которую вносят все свои расходы на него. Он описывает другой чудовищный обычай — так называемый «аукцион невинности». Девушки из приличных, но небогатых семей публично продают себя любому, кто даст самую высокую цену. Гулливер рассказывает, как он едва не упал в обморок, когда на помост аукциона вышла девушка, разительно похожая на его дочь Нэнси.

Горькая судьба приводит Гулливера в долговую тюрьму, которая, кстати сказать, принадлежит частной компании и действует как коммерческое предприятие. Только в тюрьме встречается он порядочного и относительно бескорыстного человека, и тот своим советом помогает ему выбраться оттуда. Гулливера выкупает купеческая компания, которой нужны его мореходные и географические познания.

Гулливер поселяется в столице государства городе Тонваш, становится влиятельным человеком, привлекает внимание главы государства Нагира и хозяина синдиката наемных убийц Оффюра. Вопреки своей воле он оказывается в центре большой политической и финансовой игры, положение его делается все опаснее. Он очень нужен и купеческой компании, которой покровительствует глава государства, и ее соперникам из числа друзей Оффюра...

Дальше Гулливер рассказывает сам.

**ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОХИЩЕНИЕ ГУЛЛИВЕРА.
ОН БЕЖИТ С КОРАБЛЯ И ПОПАДАЕТ В ЭКВИГОМИЮ,
ГДЕ ВСТРЕЧАЕТ ПЛОХОЙ ПРИЕМ**

С тех пор у дверей моего служебного кабинета, в доме, где я жил, в моем красивом экипаже — всюду сидели двое или трое молодцов. Они были вооружены до зубов и не спускали с меня глаз. Это были телохранители Западной компании.

Но вскоре я заметил, что нахожусь под надзором еще одной группы вооруженных людей. Трудно было ошибиться: они были от Оффура. Теперь я ходил в сопровождении двух отрядов телохранителей, которые волками смотрели друг на друга и готовы были каждый момент открыть пальбу. Я молил бога, чтобы этого не случилось, ибо не сомневался, что в суматохе убьют и меня.

Между тем все было готово к моему отъезду и выходу в море, где меня не могли достать длинные руки Оффура. Был разработан хитроумный план бегства из-под надзора его людей. Но рок судил иначе...

Я должен извиниться перед читателями за некоторые подробности, без чего, однако, трудно рассказать ход событий. Дело в том, что от непривычной пищи у меня появились запоры, заставлявшие довольно много времени посвящать занятию, о котором не принято говорить вслух. Отхожее место в доме, который я снимал в фешенебельном квартале Тонваша, находилось, по капризу архитектора, далеко от спальни, в конце небольшого коридора. Когда я уединялся там, один из моих телохранителей садился на диванчик, стоявший в коридоре, и терпеливо ждал меня.

Поздно вечером, за два дня до намеченного бегства, я зашел в этот уютный уголок, снабженный по моему заказу мягким сиденьем. Прошло, может быть, минут пятнадцать, когда я услышал какой-то подозрительный шум. В тот же момент крючок был сорван, дверь распахнулась, и чья-то жесткая ладонь зажала мне рот. Я успел увидеть, что бандитов было двое и что мой телохранитель, который, видимо, задремал на своем диванчике, лежит на полу в луже крови. Его убили неожиданным ударом кинжала. Один из негодяев, хихикнув, перерезал тем же самым кинжалом завязки моих штанов, так что я был вынужден поддерживать их рукой. Второй открыл маленькое окошко, которое выходило в переулок, и едва слышно свистнул. Окно было на высоте 10 или 12 футов, но снаружи была приставлена лестница. Они засунули мне в рот кляп, подняли в воздух и передали в окошко третьему бандиту, который стоял на лестнице. Держась за штаны, я стал осторожно спускаться по лестнице. В этот момент в доме грянул выстрел, потом еще один, послышались крики и ругань. Но меня уже впихнули в стоявшую рядом карету с закрытыми шторами, по обе стороны

от меня сели два бандита, кучер хлестнул лошадей, и карета покатилась. Скоро один из них вынул у меня изо рта кляп.

Я пытался заговорить с похитителями, предлагал им деньги, но все было напрасно. Они сидели как истуканы, не разговаривая даже между собой. Недаром говорили, что людей Оффур нельзя подкупить: они получают слишком большие деньги, а за предательство их ждет скорая и неотвратимая расплата.

Я не мог понять, куда меня везут, но часа через два это выяснилось: в Порт-Тонваш. Через день я должен был отплыть оттуда капитаном корабля, мне же пришлось взойти на борт неизвестного судна в довольно жалком виде. Меня поместили, впрочем, в приличной каюте, дали новую одежду и накормили. Я слышал, как судно снимается с якоря и поднимает паруса. По всей видимости, мы двигались к устью реки. Скоро действительно я почувствовал по ударам волн, что судно вышло в море. Как видно, Оффур и его друзья или клиенты решили добиться своего силой: отвезти меня в Лакх и отправить с их кораблями в Индию.

Когда слуга принес мне утром завтрак, я заявил, что желаю говорить с капитаном. Он явился через полчаса и был со мной весьма любезен, сказав, что я не должен считать себя узником и могу ходить по судну где мне заблагорассудится. Капитан сказал также, что он не намерен вмешиваться в чужие дела и не хочет знать, кто я и зачем меня надо срочно и скрытно доставить в Лакх. Он собирается лишь честно выполнить то, за что получил деньги, и передать меня живым и невредимым указанным ему людям в Лакхе.

Я сказал капитану, что ценю его любезность, что я сам старый моряк и интересуюсь, каким курсом мы следуем. Капитан объяснил, что мы пройдем ближе к берегам Эквигомии и обойдем пояс рифов у северо-восточного побережья острова, но ни в какие порты заходить не будем.

Однако на шестой день плавания внезапно налетевший шквал сломал у нас грот-мачту, основание которой было источено жуками-древоточками. При падении она сломала реи и порвала снасти бизань-мачты. Идти с такими повреждениями в Лакх было невозможно, возвращаться в Порт-Тонваш тоже опасно. Капитан принял решение зайти в эквигомский порт, от которого мы находились не более чем в 50 милях, и там произвести ремонт.

Между обеими странами не было войны, но отношения оставались натянутыми. Пекуньярским судам не рекомендовалось без крайней необходимости заходить в порты Эквигомии, но наш капитан решил, что у него нет иного выхода.

Приближаясь к порту, наше судно подняло флаг и особый сигнал, означавший дружественные намерения и просьбу о разрешении на вход. Ответного сигнала на маяке мы ждали

двое суток и уже начинали терять надежду. Но он все же появился.

Капитан попросил меня спуститься в каюту и приставил ко мне матроса, который должен был неотступно следить за мной. Этот матрос спал на полу в моей каюте, прицепив к поясу ключ от двери.

После некоторых колебаний я решил воспользоваться случаем и бежать. В мой рацион входила пекуньярская морская водка, напоминающая наш джин. Я скопил порции за несколько дней и вечером пригласил моего сторожа выпить со мной. При этом я постарался уменьшить свою долю, против чего он отнюдь не возражал. Когда же он заснул тяжелым пьяным сном, я отцепил ключ, тихо открыл дверь и выбрался на палубу. К счастью, было темно, как в законопаченной бочке, так что я мог незаметно спуститься по веревке за борт. До берега было не более двухсот ярдов. Я выбрался на берег и стал выжимать свою одежду, когда увидел приближающийся ко мне свет фонаря. Еще через несколько секунд мелькнуло несколько фигур, бегущих ко мне. Один из них что-то крикнул. Я ответил по-пекуньярски, что я безоружен, и стоял молча. Вдруг раздался выстрел, мне обожгло плечо, и я упал на песок, !

ГЛАВА ВТОРАЯ. ГУЛЛИВЕР В ГОСПИТАЛЕ, ОН УЗНАЕТ О ВЕЛИКОМ ИМПЕРАТОРЕ ОАНЕ, РАВНЫЕ И СВЕРХРАВНЫЕ

К счастью, эквигом оказался не очень метким стрелком. Пуля прошла навылет сквозь мякоть плеча, но я, вероятно, потерял много крови. Поэтому, когда эти люди тащили куда-то меня, мокрого и окровавленного, сознание мое стало затемняться.

Очнувшись, я почувствовал, что мое плечо крепко перевязано, так что кровь больше не течет, а сам я лежу на чем-то вроде кровати, совершенно голый, но прикрытый старым, вытертым одеялом. Вошел человек и, увидев, что я в сознании, помог мне приподняться и натянуть на себя какую-то рубашу. При этом я сделал неловкое движение, плечо мне пронзила острая боль, и я едва снова не потерял сознание. Бинты стали пропитываться кровью. Человек вышел из комнаты и вернулся с другим, в котором по уверенным движениям и повелительному голосу можно было узнать врача. За ними вошли еще двое и встали у дверей.

Врач искусно размотал бинты и стал смачивать рану каким-то раствором.

Вдруг за окном раздался крик и удары не то колокола, не то гонга. Врач оставил меня, все четверо повернулись лицом к исписанным непонятными буквами полотнищам, висевшим на стенах, и стали выкрикивать какие-то слова, по всей видимости

молитвы. Подобные восклицания доносились из-за окна, сквозь открытую дверь комнаты и еще откуда-то. Потом крики сменились монотонным бормотанием, которое постепенно затихло. Все это время я лежал с открытой раной, которая, к счастью, кровоточила не очень сильно. Пока врач делал мне перевязку, я присмотрелся к эквигомам. Все четверо были одеты совершенно одинаково: в длинные рубахи из какой-то ткани, похожей на мешковину, и штаны до колен. На ногах были грубые башмаки с деревянными подметками. Скоро я убедился, что все жители этой страны, мужчины и женщины, носят одну и ту же одежду. Равенство здесь включало стремление к тому, чтобы женщина внешне как можно меньше отличалась от мужчины.

Когда врач кончил свою работу, один из эквигом, стоявших у дверей, о чем-то спросил его. Врач бросил на меня испытующий взгляд и ответил. Трое вышли, остался только тот человек, который принес мне рубашку. Он, очевидно, спал в моей комнате на втором топчане, стоявшем в нескольких футах от моего. Я чувствовал себя очень слабым и скоро заснул.

Когда я проснулся, мне принесли тарелку тушеных овощей, которые я съел с аппетитом, так как не ел, вероятно, уже больше суток. Мой сосед обратился ко мне с каким-то вопросом, который я, естественно, не понял. Тогда, к моей радости, он спросил по-пекуньярски, говорю ли я на этом языке. Когда я ответил утвердительно, он спросил:

— Как ты себя чувствуешь? Можешь ли отвечать на вопросы?

Я сказал, что охотно отвечу на любые вопросы, так как чувствую себя лучше. Он вышел и скоро вернулся с теми двумя эквигомами, которые присутствовали при перевязке и на молитве. Один из них задавал вопросы, а второй записывал. Мой сосед был переводчиком.

— Как твоё имя? — перевел он первый вопрос.

Я ответил, что на родине меня звали Лемюэл Гулливер, а в Пекуньярии мне дали имя Нэмис, что значит Морской Человек.

— С какой целью пытался ты проникнуть в Эквигомию?

Я коротко рассказал свою историю и сказал, что не имел ни малейшего злого умысла, высаживаясь в их стране. Эквигомы внимательно выслушали, и переводчик снова спросил:

— С какой целью ты действительно пытался проникнуть в Эквигомию?

Я повторил то же самое с некоторыми дополнениями и подробностями, но услышал опять:

— Скажи прямо, с какой целью ты пытался проникнуть в Эквигомию?

Эта странная игра возобновлялась много раз, так что я сильно устал. Эквигомы посовещались и ушли, оставив со мной переводчика. Впрочем, он был, видимо, также сторожем, сани-

таром и слугой. Я решил, что настало время мне задать несколько вопросов, и спросил для начала, где я нахожусь. Оказалось, что в военном госпитале, куда меня доставили солдаты, один из которых стрелял в меня.

— Почему он стрелял? Ведь он видел, что я безоружен.

— Он будет наказан.

— Кто те люди, что задавали мне вопросы?

— Один из них — сверххравный. Все эквигомы равны, но некоторые, особо заслуженные, равны более других. Мы называем их сверххравными.

— Но почему сверххравный не верит тому, что я говорю? Ведь это чистая правда.

Переводчик смотрел на меня так, как будто я ничего не сказал или он ничего не слышал. Я решил зайти совсем с другой стороны и спросил, почему он так хорошо знает пекуньярский язык, но опять не получил никакого ответа. Очевидно, такова была манера эквигомов реагировать на неуместные вопросы. Мы помолчали, а я тем временем еще раз оглядел комнату и увидел то, что раньше не замечал: большой портрет над моей головой. На нем был изображен широколицый человек средних лет.

— Чей это портрет? — спросил я эквигома.

Он посмотрел на меня с изумлением и ответил:

— Императора Оана.

— Разве Эквигомия — империя?

— Нет, Эквигомия — страна равных.

— Но зачем вам тогда император?

Ответа не последовало. Тогда я осторожно спросил, жив ли император Оан.

— Разумеется.

— Сколько ему лет?

— Девяносто.

Я сказал, что на вид ему не дашь столько, а затем спросил, есть ли у него дети. Переводчик сказал, что все эквигомы — дети Оана.

— Ты видел когда-нибудь императора Оана?

— Нет, нет, — с суеверным ужасом ответил он, — Оана могут видеть только сверх-сверх-сверх-сверх-сверххравные.

Он просчитал эти «сверх» по пальцам, чтобы не ошибиться.

— Но разве он никогда не показывается народу?

— Император Оан всегда думает о народе.

Наш разговор зашел в тупик, но я не терял надежды кое-что узнать от переводчика.

Мое состояние улучшалось, плечо почти не болело. Ко мне вернулись подвижность и любознательность, и я захотел выйти из госпиталя и погулять. Но эквигом решительно воспротивился этому. Тогда я снова попытался больше говорить с ним, не только расспрашивая его, но и рассказывая о Европе и Пе-

куньярии. Результат оказался неожиданным: пока я спал, в комнату внесли еще один топчан, и я обнаружил себя в обществе двух эквигомов. Второй был похож на первого, как бывают похожи братья, и я иной раз затруднялся, который из них находится в данный момент передо мной. Он тоже говорил по-пекуньярски, в чем я убедился, задав ему какой-то вопрос. Но они теперь почти непрерывно говорили между собой по-эквигомски, не отвечая на мои вопросы и довольно бесцеременно прерывая разговор, если я пытался что-нибудь рассказать.

На третий день вновь появились сверххравный (то есть, очевидно, начальник) и его писарь. Оба переводчика встали в головах моей постели и переводили вопросы. Теперь у меня не было сомнения, что это допрос и что меня подозревают в каком-то злом умысле.

— Как твое настоящее имя? — спросил меня первый переводчик.

Я с некоторой обидой объяснил, что не привык лгать и в первый раз сказал им правду.

— Каковы действительные цели твоего прибытия в Эквигмию?

Снова все начиналось с начала. Опять битых два часа я рассказывал, кто я и откуда, с какими невинными целями я высадился на берег. Понятно, из нашей беседы ничего путного не вышло.

Они приходили еще два раза, и повторялась та же история. Чтобы чем-то занять время, я рассказал сверххравному свою жизнь со всеми подробностями, а потом перешел к своему отцу и родственникам в Англии, к капитанам, которых я знал, и к их плаваниям. Но о чем бы я ни говорил, я слышал один вопрос: с какой целью высадился я в Эквигмии?

В одно далеко не прекрасное утро мне велели собираться и отправили из госпиталя в тюрьму. По дороге я жадно смотрел на людей и дома, но мало что мог увидеть: тюрьма была всего в полумиле ходьбы.

Меня заперли в камеру с пятью другими арестантами, из которых один, на мое счастье, кое-как говорил по-пекуньярски. Я спросил его, за что его арестовали, и он рассказал мне следующее. В их краю несколько недель назад было сильное землетрясение. Он вытащил из дома своего двухлетнего сына и побежал еще раз, чтобы вытащить котенка, которого сын очень любил. Он сумел вытащить и котенка, но тут дом рухнул и похоронил среди домашней утвари также бюст императора Оана, который является в Эквигмии обязательным украшением в каждой семье. На него донесли, и теперь он ждал, какое будет ему назначено наказание. У этого доброго и несчастного человека я усердно учился эквигомскому языку и кое-чего достиг за две недели, проведенные с ним.

Сверххравный оставил меня в покое, и мне стало казаться,

что обо мне вовсе забыли. Но мой сосед, лучше знавший здешние порядки, предположил, что местные власти сделали обо мне запрос в столицу и ждут ответа. Столица страны — город Нотиак — находилась в 70 милях от побережья.

Так оно и оказалось в самом деле. Меня наконец вызвал сверххравный и через переводчика объявил мне, что меня отправляют на сельскохозяйственные работы «для очищения сознания».

Осмелев, я решился спросить, исходит ли это распоряжение от его начальника в столице. Сверххравный пристально посмотрел на меня и что-то ответил. Переводчик как-то странно засуетился и пролепетал, что в столице занимаются более важными делами, а им приказано самим распорядиться моей персоной.

Гораздо позже я узнал, что именно в эти дни четырехкратно-сверххравный, ведавший подобными делами, впал в немилость, был обвинен в нарушении заветов Оана и потерял свой пост. Поэтому никто в столице не хотел брать на себя ответственность за мое дело.

Мне показалось, что местный сверххравный и переводчик несколько растеряны, и я решил воспользоваться этим, чтобы узнать свою судьбу. Я спросил:

— Куда и зачем меня посылают?

— Ты будешь трудиться среди народа и для народа.

— Значит ли это, что я буду в тюрьме?

— Нет, нет. Ты будешь свободным и равным, как все дети Оана.

— И я смогу, если захочу, уйти оттуда?

— Конечно. Но при двух условиях. Во-первых, ты должен до конца овладеть учением великого Оана. Во-вторых, тебя должны отпустить люди, среди которых ты будешь жить и трудиться.

— Но я уже немолод! Я хотел бы вернуться на родину!

На это я не получил ответа. Утром следующего дня я пожелал бедняге, оставившему во власти стихии изображение Оана, легкого наказания и отправился очищать свое сознание.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ГУЛЛИВЕР ОЧИЩАЕТ СОЗНАНИЕ, ЗАВЕТЫ ОАНА. СОБСТВЕННОСТЬ У ЭКВИГОМОВ

За мной утвердилось здесь имя Нэмис, но произносили его немного иначе, чем в Пекуньярии. По случайному созвучию это имя означает по-эквигомски приблизительно «большая голова». Под этим именем я был записан в тех бумагах, с которыми меня отправили в деревню.

Я вышел из города рано утром вместе с тремя крестьянами, которые приходили в город по делам хозяйства и теперь возвращались домой. При желании я бы мог без труда сбежать

от них, но это было бы чистым безумием в моем положении, и я решил покориться своей судьбе и дожждаться лучшего случая.

Мы шли весь день по пыльной дороге, которая проходила порой через деревни, состоявшие из бедных хижин, сложенных из необожженного кирпича. Людей мы видели мало, так как все были на полевых работах. Заночевав в одной из таких хижин на полу, покрытом соломой и тряпьем, мы утром снова двинулись в путь и к полудню достигли цели.

Меня привели в дом, где я должен был жить. Это было казарменное помещение с низким потолком шириной около 15 футов. Вдоль стен в два яруса были устроены скамьи, на которых лежали тюфяки и одеяла. В этой казарме размещалось до шестидесяти холостых мужчин разного возраста, но большей частью молодых и совсем юношей. Возможно, я был среди них самым старшим по возрасту.

За перегородкой была особая комната, квадратная в плане, во всю ширину здания. Она называлась «дом Оана». Там были развешаны по стенам те же изречения императора, какие я видел в госпитале, и имелось несколько его портретов, в том числе на каждой стене висел совершенно одинаковый Оан. Ежедневная молитва, подобная той, какую я описал выше, происходила здесь.

Я уже хорошо знал, что в Эквигомии нельзя жить, не зная и не повторяя ежечасно к месту и не к месту изречения Оана. Основу составляли тринадцать фраз, которые назывались «заветами Оана». Они так часто повторялись, что я запомнил бы их, даже если бы не хотел этого. Вы можете разбудить меня в любой час ночи, и я, еще не проснувшись, повторю их в любом порядке.

ЗАВЕТЫ ОАНА

1. *Чем меньше ешь, тем лучше можешь работать.*
2. *Приглядевшись внимательно, увидишь: что кажется столь необходимым, на самом деле излишне.*
3. *Бык нужен изредка, вол нужен всегда. Поэтому вол полезнее быка.*
4. *Человек отличается от животного тем, что он подчиняется сознательно.*
5. *Все изменяется: вчера — друг, сегодня — враг; сегодня — враг, завтра — друг.*
6. *Если ты не разобьешь голову врагу, то он останется жив. Если он останется жив, он разобьет голову тебе.*
7. *В сущности, бедность есть самое большое богатство.*
8. *Хороший беспорядок лучше плохого порядка.*
9. *Сначала сломай старый дом, тогда лишь думай о постройке нового.*
10. *Коси луг чаще, новая трава будет лучше старой.*

11. Когда человек один, ему приходят в голову дурные мысли, но люди помогут ему разоблачить и исправить себя.

12. Первый равен второму, второй равен третьему. Но первый может быть сверхравен третьему, если так хотят люди.*

13. Не думай, что ты умнее других равных. Но не думай также, что другие равные умнее тебя.

Это было только начальное образование. Надо было дословно знать, что сказал Оан о множестве разных вещей, часто самых неожиданных: северном ветре и тиграх, книжной премудрости и женщинах. Дальше шли стихи императора Оана, его послания к ученикам, мысли о материальных и духовных эманациях человеческого тела. Кошмар заключался в том, что время от времени из столицы присылались новые тексты, которые не просто отличались от старых, но иногда толковали вопрос в противоположном смысле. Например, было такое изречение Оана: «Не бойтесь ядовитых змей, они не так опасны, как кажутся». Но однажды было объявлено, что враги исказили это изречение и что в истинном виде оно звучит так: «Опасайтесь ядовитых змей, они опаснее, чем кажутся».

Стояло лето, был разгар сельскохозяйственных работ. В это время года нас поднимали вместе с солнцем, после молитвы давали завтрак, обычно состоявший из тушеных овощей с маисовой лепешкой, и отправляли в поле. В полдень был отдых и вторая молитва. В пять часов, если не было особых обстоятельств, работа заканчивалась и давали обед.

По возвращении в казарму мы еще часа полтора или два занимались учением Оана. Под конец у многих от усталости слипались глаза. Если сверхравный замечал спящего, он не больно, но вполне ощутимо хлопал такого человека по щекам особой деревянной лопаточкой на длинной ручке.

Раз в неделю проводился «час клятв Оану». Время от времени каждый давал какую-нибудь клятву, для которой была особая формула. Вставал, скажем, свинопас и говорил: «Руководствуясь третьим заветом Оана, а также притчей о благодарной свинье, я даю клятву, что все свиньи, доверенные мне, уменьшат время ношения плода до двух месяцев. Слава Оану». Все громко повторяли «славу», причем сверхравный внимательно смотрел на рты.

Давались самые несусветные клятвы, весьма странным образом связанные с текстами Оана. Руководствуясь шестым заветом (о врагах и разбитых головах), кто-нибудь давал клятву истребить за неделю не меньше сотни постельных клопов, которые действительно доставляли нам много мучений.

Еще одна удивительная процедура называлась «час само-разоблачений». Надо было возможно искуснее наговаривать

* Отсюда пошло само выражение «сверхравный». (Примеч. авт.)

на себя, выдумывая грехи и проступки. В ходу было такое простое саморазоблачение: «Я вчера за весь день ни разу не вспомнил о великом Оане». Можно было раскаться в обжорстве или сладострастных снах, в забвении равенства или плохом отношении к скоту.

Мои саморазоблачения имели некоторый успех, их даже с интересом слушал наш сверххравный, потому что я при этом рассказывал кое-что о своей прошлой жизни, которая, впрочем, казалась мне все более каким-то смутным сном.

В некоторых, особо серьезных случаях саморазоблачение кончалось тем, что человек сбрасывал рубаху и бичевал себя специально хранившимся в «доме Оана» хлыстом или просил об этом кого-нибудь из присутствующих. Я пока уклонялся от такой мерзости, но по косым взглядам сверххравного чувствовал, что рано или поздно придется пройти и через это.

Но самым неприятным был «час взаимного разоблачения», который проводился нерегулярно, по мере необходимости. Тут надо было избирать себе жертву и взваливать на человека всевозможные обвинения: ленив, плохо изучает заветы Оана, увлекается едой, подозрительно уединяется. Бывали, конечно, обвинения и похуже. К начальному разоблачению присоединялся обычно еще кто-нибудь, нередко просто чтобы отвести опасность от тебя, и на беднягу обрушивался град обвинений, одно другого страшнее и нелепее. Слушать это полагалось со склоненной головой. Если человек не выдерживал и начинал возражать, дело доходило до ругани и диких оскорблений, а раза два или три на моей памяти кончалось избивением, на что сверххравный взирал не то что равнодушно, а с удовлетворением. На видном месте можно было прочесть изречение Оана:

«Если равные считают человека виноватым, то он виноват».

Один раз в неделю мы не работали, а обучались военному искусству. В этот день было приятно то, что в дополнение к обычной пище давали по кусочку свинины с лапшой и по стакану местной водки.

Меня поставили сначала на молотьбу, но я не мог угнаться за молодыми и опытными молотильщиками. Тогда меня перевели на вывозку навоза, что получалось у меня лучше. После этого я был на разных работах, порой тяжелых, порой довольно легких и даже приятных.

Хозяйство, в котором я работал, было большой фермой, где выращивали маис и лен, разные овощи и масличные растения, держали скот и занимались некоторыми ремеслами. Многого из того, что мы производили, куда-то увозили, а нам всегда оставалось только самое необходимое.

В один из первых дней я по наивности спросил своего соседа по работе, кому же принадлежит ферма. Он испуганно посмотрел на меня, огляделся и сказал:

— Кому? Равным... государству... Оану...

Эта неопределенность и неизвестность во многом отличала жизнь эквигомов. Все считалось чьей-то собственностью, но чьей именно — не говорилось. Официально считалось, что равные и государство — это мы сами, но мы так же мало ощущали себя собственниками нашей фермы, как собственниками луны или звезд.

В сколько-нибудь действительном смысле мы не имели совершенно ничего. Буквально ничего. Даже штаны, рубаха и обувь выдавались в пользование и подлежали сдаче на тряпье. Сколько бы человек ни работал, он не мог приобрести никакой собственности.

Крестьяне, жившие в отдельных хижинах, имели простейшее домашнее хозяйство — небольшой запас продовольствия и посуды, посуду, утварь. Но все это не принадлежало им. Они не могли ничего продать, подарить и даже передать в наследство. Если человек умирал (а это случалось часто), сверхравные решали, что из имущества, которым он пользовался, перейдет к детям, а что будет изъято.

В ходу было такое рассуждение. Человек рождается голый и ложится в землю голый. На земле он как бы гость равных, среди которых живет. Они дают ему займы или в аренду орудия труда и предметы пользования. Умирая, он возвращает все, что получил, все, что осталось неиспользованным.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КАЗНЬ ДВУКРАТНО-СВЕРХРАВНОГО. ГУЛЛИВЕРУ НАЗНАЧАЮТ ЖЕНУ

Чиновник, который допрашивал меня в госпитале, и начальник, под чьим руководством мы изучали премудрость Оана, стояли на низшей ступени эквигомского сверхравненства. Всего этих ступеней было пять. Появляясь публично, сверхравные высших ступеней одевались как все эквигомы — в длинные рубахи, штаны до колен и деревянные башмаки. Но среди людей, работавших со мной, ходили слухи, что живут они в роскошных домах, которые обслуживает множество равных.

Однажды на нашу ферму приехал двукратно-сверхравный, и всех нас собрали на пустырь, где он сказал нам речь.

— Великий Оан говорит: если очень захотеть и постараться, то река потечет в гору. Все вы повторяете это изречение, но думаете, что к вам оно не относится. Вы допускаете, что поток, протекающий через вашу ферму, каждый год в половодье заносит илом и камнями парк Оана. Только враги хотят, чтобы парк Оана превратился в яму с навозом. Они мечтают об этом. Дадим же клятву Оану, что поток потечет в гору!

Тут несколько человек закричало «Дадим клятву!», к ним присоединились другие, и через минуту вся толпа ревела, махала руками и топала ногами. Должен сознаться, что я кричал

и махал руками вместе со всеми и даже делал это не совсем притворно: человек в толпе не то же самое, что один, сам по себе.

Парком Оана называлась красивая местность на 7—8 миль ниже нашей деревни по течению ручья. Один раз нас водили туда. В этом парке, в аллеях и под особыми навесами, стояли сотни совершенно одинаковых каменных изваяний Оана, а на скалах десятифутовыми буквами были выбиты его изречения.

На другой день все работы на ферме были прекращены, и множество людей вышло с лопатами, мотыгами, тачками и просто с голыми руками на берег ручья выше нашей деревни. На всех не хватало орудий и даже места для работы, поэтому копали день и ночь, сменяясь каждые двенадцать часов с перерывом для еды. Ночью жгли кучи хвороста, собранного на зиму для отопления казарм и хижин. Через месяц была готова большая плотина, за которой стала накапливаться вода.

Но случилось несчастье. В горах прошли сильные дожди, которых, впрочем, можно было ожидать в осеннее время. Ручей превратился в бурную реку, озеро за плотиной стало переполняться. Мы работали совершенно голые, мужчины и женщины вперемешку, по пояс в холодной воде и грязи, пытаясь поднять плотину, но ничего нельзя было сделать. Плотины прорвало, и поток воды в несколько мгновений уничтожил деревню, в которой мы жили. Не знаю, сколько людей погибло, но потом нередко находили трупы, заброшенные водой в самые неожиданные места. Смыв деревню и уничтожив посевы и посадки на нескольких тысячах акров, поток ринулся вниз прямо на парк Оана.

Через неделю, когда мы клали из едва обожженного кирпича новые стены для нашей казармы, а крестьяне ставили заново свои жалкие хижины, мы увидели удивительное зрелище. На длинной веревке стражники вели того двукратно-сверхъестественного, который говорил нам речь. Теперь я увидел, что это уже немолодой человек. Он еле шел, ноги его были разбиты в кровь. Его поставили на размытой плотине, а нас ударами гонга собрали к этому месту. Дно недавно существовавшего озера было покрыто толстым слоем топкого ила, в котором ноги увязали по колено. Старший из стражников влез на какой-то ящик и заговорил:

— Великий император Оан учит: не начинать дела, не спросив совета равных трижды и еще раз трижды. Этот негодяй не только не спросил совета, но поступил вопреки мнению равных. Парку Оана, этому священному для всех эквигомов месту, нанесен непоправимый ущерб. Так пусть равные накажут его!

Несколько секунд толпа молчала, было даже слышно хриплое дыхание преступника. «Туда его!» — крикнул старший охранник, показывая на дно озера. Толпа зашумела, как море

перед бурей. Преступник упал на колени, но именно это, может быть, и погубило его. Первой к нему бросилась женщина, потерявшая в наводнении ребенка, и ударила по лицу. Сразу же мужчины, толкаясь и мешая друг другу, схватили несчастного за руки и за ноги и, раскачав, бросили в грязь. Рев толпы заглушил его крики. Люди хватали полные пригоршни грязи и забрасывали его. Скоро стал виден лишь грязевой холм, который шевелился как живой. Я отвернулся, не в силах вынести ужасное зрелище. Какова бы ни была вина этого человека, наказание без следствия и суда было ужасно.

К счастью, детей в наводнении погибло очень мало, и, чтобы объяснить это, я должен сказать несколько слов о воспитании потомства эквигомов. Если в Пекуньярии между детьми и родителями были отношения должников и кредиторов, то здесь дети воспитывались в полном отчуждении от родителей. Их оставляли с матерями только до трех лет. Когда произошло наводнение, эти младенцы были большей частью на спинах матерей, а не в хижинах. Поэтому они и уцелели. Дети старше трех лет находились в другом месте, так как их забирают и воспитывают в особых заведениях под руководством обученных мужчин и женщин.

Многие родители так никогда и не видят своих детей, другим, как особую милость, позволяют время от времени встречаться с ними. Но отцом всех детей вполне серьезно считается все тот же Оан, а настоящие отцы рассматриваются, так сказать, как его представители без каких-либо особых прав.

У эквигомов соблюдается строгое единобрачие, и супружеская неверность есть дело почти неизвестное. Но брак заключается не по любви и не по расчету, а по усмотрению сверхъестественных. Время от времени кто-нибудь из нашей казармы холостяков уходил в семейный поселок, где люди жили парами в домах, разделенных на тесные клетушки. Случалось, что муж никогда не видел свою жену до брака, или видел ежедневно на работах, не подозревая, что их жизни будут соединены. Могло быть и так, что двадцатилетнему парню доставалась молодая вдова, а вдовца женили на юной девушке.

Разоблачение человека иногда кончалось тем, что его разводили с женой и возвращали в казарму холостяков или назначали другую жену, не знаю уж — для наказания или исправления. То же самое могло произойти и с женщиной.

В качестве наказания человека могли на время разлучить с женой или его заставляли дать клятву Оану, что он в течение какого-то времени не прикаснется к ней. Впрочем, число обрядов вообще регламентировалось, и нарушать правило было опасно, так как в семейных домах соседям нетрудно было подслушать, подглядеть и донести.

После того как у женщины рождался ребенок, семью могли перевести в свободную крестьянскую хижину или в особый дом

для семей с детьми. Если за три года новых детей не было, ребенка обычно забирали, а муж и жена возвращались в семейный дом.

Читатель, однако, лучше представит себе странные порядки в семейной жизни эквигомов, если я расскажу, что случилось со мной самим.

Прилежно выполняя все, что мне поручали, и усердно изучая труды Оана, я через год оказался на хорошем счету у начальников. Под возможные разоблачения я научился подводить контрмины в виде саморазоблачений. Изредка мне приходилось разоблачать кого-нибудь из соседей, но я старался не доводить дело до избияния или строгих наказаний.

Однажды меня вызвал сверхравный и сказал:

— Великий Оан учит, что молодой станет старым, но старый никогда не станет молодым. Я вижу, на твоей голове все больше седых волос, Нэмис. Ты знаешь и выполняешь заветы Оана, и мы решили, что ты достоин награды. В следующем месяце шесть женщин должны вступить в брак, и одну из них мы решили назначить тебе. Это не положено говорить, но я к тебе хорошо отношусь и скажу по секрету, что тебе повезло. Тебе назначена совсем молодая девушка по имени... (он перебрал лежавшие на столе бумажки, чтобы найти список невест)... Ояла.

На его жестком морщинистом лице даже появилось некое подобие улыбки. Я же так растерялся, что не мог ничего внятного сказать в ответ. К счастью, мне пришло в голову воскликнуть: «Слава Оану!», на что сверхравный отозвался как эхо.

Девушку по имени Ояла я знал, потому что несколько раз работал в поле и в свинарнике недалеко от нее и даже перекинулся несколькими словами. Но я, как говорят в Европе, ни в малейшей мере не чувствовал себя способным составить ее счастье. Кроме того, переход на положение семейного человека ухудшал мои шансы выбраться отсюда. В конце концов, в Англии меня ждала моя верная Мэри, и я вовсе не хотел быть двоежженцем.

Однако я не высказал никаких сомнений, а, поблагодарив сверхравного и еще раз восславив Оана, пошел на свое место.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ГУЛЛИВЕР ПОМОГАЕТ ВЛЮБЛЕННЫМ, НО САМ ОКАЗЫВАЕТСЯ В БЕДЕ

Зеленая трава пробивается и сквозь каменные плиты. Что бы ни делалось здесь для подавления естественных человеческих чувств, любовь упорно не хотела исчезать из жизни.

Я решил тайком поговорить с Оялой, сказать ей о решении начальников и спросить, как она относится к этому решению и ко мне. Случай представился через несколько дней, когда все

мы работали на копке сладкого корня. Мужчины копали, а женщины собирали клубни и складывали их в кучи. Я постарался сделать так, что Ояла подбирала за мной и, улучив момент, тихо спросил:

— Ояла, ты знаешь, что сверххравные решили выдать тебя замуж?

Она вскинула на меня большие испуганные глаза и, боязливо оглядевшись, сказала:

— Я догадываюсь, но не знаю, кого мне назначили.

— Меня.

На ее лице я прочел изумление, растерянность, страх. Она, конечно, хотела себе не такого мужа, и я нисколько не был на нее в обиде. В нашей казарме был осколок зеркала, и я знал, что выгляжу стариком. И то сказать: я отправился в это путешествие три года назад уже немолодым человеком и дедом двух внуков, а такие три года могли бы состарить и человека помоложе и покрепче меня.

Ояла выронила корзину с клубнями и стояла неподвижно и безмолвно. Глаза ее медленно наполнялись слезами. Ее губы раскрылись, и я услышал едва внятный шепот: «Нут, о Нут...» Я понял все: она любила не эквигомской, а обычной человеческой любовью, известной всем народам, юношу, который жил в нашем доме холостяков через два места от меня. Я давно приглядывался к нему, он казался образованнее остальных наших товарищей и действительно был в прошлом студентом колледжа, где изучал медицину. Но не так давно многократно-сверххравные решили, что ученые врачи и медицина есть, исходя из второго завета Оана, вещь излишняя. Колледж закрыли, а бывших студентов разослали в разные места. Тогда и Нут попал на ферму, где иногда лечил животных: ветеринарное дело не попадало под запрет. Поэтому, между прочим, людей теперь тоже лечили ветеринары.

Что было более естественно, чем возникшая между молодыми людьми любовь?

Мне искренне хотелось помочь бедным влюбленным, но я понятия не имел, как это сделать. Безумием было бы пойти к нашему сверххравному и рассказать ему все. Оялу могли отдать не мне и не Нуту, а какому-нибудь негодяю самого низкого пошиба. Подходящим оружием здесь могла быть только хитрость. Прежде всего мне надо было завоевать доверие юноши и девушки, не вызвав при этом ничьих подозрений. Времени оставалось в обрез, так как через неделю меня должны были «повенчать» с Оялой. Я употребляю это слово, ибо не знаю, как называется эквигомский обряд, которым соединяют мужа и жену. Он заключается в том, что оба дают торжественную клятву выполнять в семейной жизни заветы Оана. Один из них гласил: брак не удовольствие, а труд равных.

Я нашел случай поговорить с Нутом за нашей скромной едой.

Подсев к нему, когда он один доедал свои овощи, я тихо сказал ему, что знаю о его любви к Ояле. Бедный юноша страшно побледнел и едва не подавился. Вероятно, он уже мысленно видел разоблачение и наказание. Я поспешно сказал ему, чтобы он не боялся, потому что я хочу им добра, но на его лице попрежнему не было ничего, кроме страха и подозрительности. Тут к нам подошли люди, и мы были вынуждены прервать разговор.

Тогда я подумал, что, как это часто бывает, рассчитывать надо не на юношу, а на девушку. Я сказал ей, что ее друг напрасно боится меня и что я хочу им помочь. Сказал также, что пока придумал лишь следующее: я притворюсь больным и попрошу отсрочить брак. Они же должны тем временем что-то предпринять, но что именно, я не знал.

Через два дня Нут сам подошел ко мне и сказал, что он верит мне и от всей души благодарен. Они решили бежать в горы, где, как все знали, скрывалось немало беглецов, по разным причинам боявшихся сверхъестественных и жрецов Оана. Он просил меня также, если я попаду в столицу, навестить его родителей, которых он в отличие от большинства эквигомов хорошо знал и любил: в семь лет он тяжело заболел, и его передали из воспитательного заведения родителям, а потом забыли.

Я отвечал, что не могу ни одобрить их план, ни отговаривать их, так как плохо знаю страну и не могу оценить риск. С юношеским задором отвечал он, что Ояла и он готовы скорее погибнуть, чем позволить себя разлучить. Слезы навернулись мне на глаза, и я сказал, что сделаю все возможное, чтобы им помочь. Мы договорились, что я на другой день «заболею», а они используют время, чтобы накопить немного пищи и подготовить побег.

Я притворился, что у меня жестокие боли в животе. Поскольку начальники опасались холеры и других заразных болезней, меня заперли в отдельной хижине. Впрочем, единственным лечением у них был голод, так что я мог бы по-настоящему заболеть, если бы не Ояла, которая в ночной тьме прокрадась к моей хижине и сунула мне сквозь щель в двери пару лепешек. Через два дня я объявил, что мне лучше и потому не надо звать ветеринара, который в это время лечил скот в дальней деревне. Но я сказал сверхъестественному: он, мол, понимает, что в моем возрасте и после трехдневного поста не стоит спешить с браком, ибо я могу не оправдать надежд невесты. Столь грубый юмор не был чужд этим людям, и он с сальной улыбкой и шутками, которые я не рискую приводить, дал мне отсрочку.

Ночью Нут подполз к моей лавке и шепнул, что у них все готово и они уйдут вечером следующего дня. Я от всей души пожелал им удачи и сказал: я бы тоже охотно ушел с ними, если бы не боялся быть обузой.

К несчастью, пожилой человек, мой сосед по лавке, услышал наше перешептыванье. Слов он не уловил, но, когда через день бегство молодых людей обнаружилось, он немедленно донес о нашем подозрительном ночном разговоре. Сначала я решил было отрицать свое соучастие, но, кроме моего соседа, нашлись другие доносчики, и я понял, что это бесполезно.

Когда стало ясно, что терять мне нечего, я решил бороться с врагом его же оружием. К этому времени я изрядно знал Оана и мог при случае щегольнуть этим знанием. Для моего разоблачения выбрали самое большое помещение на ферме, в него набилось сотни две народу. Трое сверххравных сели за стол, а меня поставили на виду перед толпой.

— Великий Оан говорит, — начал один из них, — по морде старой обезьяны не узнаешь, о чем она думает, пока не ударишь ее хлыстом. Мы мало хлестали эту старую обезьяну, — он указал пальцем на меня, — и вот она устроила великое зло...

— Прости, сверххравный, — прервал я его, изумив всех своей наглостью, — но в этой притче великий Оан говорит также, что из трех старых обезьян самые нужные людям мысли оказались не у той, которую хлестали, а у той, которой дали орехов.

— Не смей глумиться над Оаном, Нэмис! — крикнул сверххравный. Собравшись с мыслями, он продолжал: — Этот человек, которого мне трудно называть равным, соблазнил двух неопытных молодых людей, еще не овладевших учением Оана, и уговорил их стать врагами Оана, ибо только так можем мы назвать людей, стремящихся уйти от честного труда среди равных.

Он рассказал историю бегства Нута и Оялы, представив их жертвами моего коварства, и потребовал, чтобы я признал свою вину.

Как я себе наметил заранее, я продолжал уклоняться от существа дела, без конца цитируя Оана. Это ставило сверххравных в затруднительное положение.

— Ни в коем случае нельзя считать, — сказал я, — что молодость и отсутствие опыта мешают людям быть верными учениками Оана. Не забывайте (я многозначительно поднял указательный палец правой руки), что говорит великий Оан: чтобы знать, надо не учиться, а верить. А я готов ручаться, что эти молодые люди верят. Чаше вспоминайте Оана: равный трудится там, где он полезнее равным...

— Он лжет! — крикнул другой начальник, наделенный еще менее изощренным умом, чем первый. — Равный трудится там, где ему укажут сверххравные!

Зная, что такого изречения нет (да столь бесхитростной мысли у Оана и быть не могло), я потребовал указать источник, чего ни он, ни его сотоварищи, естественно, не могли сде-

лать. Среди публики послышались смешки. Воодушевленный успехом, я продолжал:

— Нельзя забывать и четвертый завет Оана: человек отличается от животного тем, что подчиняется сознательно. Видимо, сверххравные допустили некоторую ошибку, полагая, что эти люди должны подчиняться бессознательно. Я уверен: если бы они потрудились очистить сознание молодых людей и объяснили, что надо сознательно подчиниться воле равных, все было бы в порядке!

Видимо, это был удар не в бровь, а прямо в глаз. Сверххравные тревожно зашептались между собой. Наш диспут продолжался в том же духе. На высокопарные рассуждения и ругань я отвечал все новыми и новыми цитатами, не без успеха выставляя своих оппонентов на посмешище. Должен сознаться, что некоторые изречения я на ходу слегка менял, а пару раз просто выдумал, надеясь, что в пылу спора меня не смогут проверить. Зрелище для эквигомов было необычное, и они стали довольно громко выражать свое удовольствие.

Бог знает чем бы это кончилось, если бы, как обычно, обладающие властью не применили ее там, где не хватает аргументов. Притом власть была применена в самой грубой форме. Тот сверххравный, который обвинял меня во лжи, поднялся с лицом, красным от гнева, и сказал:

— Не слишком ли долго эта обезьяна злоупотребляет нашими законами равенства? Но он забыл самое главное — десятый завет Оана: коси луг чаще... Всякий, кто не только на словах называет себя сыном Оана, заткнет глотку ублюдку!

Он подошел ко мне и ударил кулаком по лицу. Я пошатнулся, но удержался на ногах. Тотчас из толпы бросились ко мне трое или четверо прихвостней, повалили на пол и стали бить ногами. Я сжался в комок и старался только уберечь лицо и другие чувствительные места. Но убийство не соответствовало здешним правилам или не входило в планы сверххравных. С толчками и зуботычинами они отогнали мерзавцев, и один из них крикнул:

— Вытащите его на двор и сделайте то, что верные слуги императора Глома сделали с изменником, обманувшим его доверие!

Меня схватили и выволокли на траву, а затем несколько гнусных негодяев, годившихся мне в сыновья, если не во внуки, помочились на мое расprostертое тело. При этом они гоготали и отпускали шутки. Я уже мало что видел, но могу с уверенностью сказать: вся толпа стояла в это время молча.

Избитого, окровавленного, изгаженного, меня заперли в полутемный подвал, где с шумом бегали крысы. Я был там не один. Незнакомый человек оказал мне посильную помощь, несмотря на отвращение, которое должен был вызывать исходящий от моей одежды запах. Он спросил меня, кто я и за что

сюда попал. Я не имел причин скрывать что-либо и все откровенно ему рассказал. Он засмеялся, когда я говорил о том, как я посрамил сверххравных. Несмотря на разбитые губы, я тоже не мог удержаться от смеха.

В свою очередь, я задал ему те же вопросы. Он сказал, что его всегда сажают сюда на несколько дней перед приездом многократно-сверххравных из города, чтобы он не сболтнул лишнего. Местным начальникам слишком хорошо известна эта его слабость. Он не сомневался, что его скоро выпустят и он будет заниматься своим обычным делом — подносом воды к хлеву.

Этот чудак одной своей фразой подал мне мысль, над которой я стал упорно думать, когда он заснул на своей гнилой соломке. Положение мое было отчаянное. Здешние сверххравные не простят мне двойного преступления: помощи беглецам и диспута. Им ничего не стоит уморить меня голодом или довести до смерти каким-нибудь другим неприметным способом. Даже если они в конце концов вновь отправят меня на работы, мне уже никогда отсюда не выбраться. Надо было любой ценой привлечь к себе внимание вышестоящих сверххравных, связанных со столицей. Но как это сделать? Видимо, был только один способ: объявить, что я владею какой-то государственной тайной, и заставить их хотя бы выслушать меня.

Теперь я не был так наивен, чтобы говорить правду. Правда привела меня в тюрьму, на тяжелые работы, в этот подвал. Надо было попробовать ложь. Приезд городских начальников давал мне подходящий случай.

Часа через два нам принесли поест. Я сказал человеку, который вошел с едой, что я знаю о приезде высших сверххравных и хочу сделать им важное заявление. Он молчал, но я повторил это в разных выражениях несколько раз и сделал это снова на другой день. Я говорил, что должен раскрыть важную тайну, от которой могут зависеть судьбы страны. На третий день утром меня выпустили из подвала, дали помыться, переодеться и побриться, смазали лекарством кровоподтеки и отвели в управление фермы. В кабинете я увидел двух незнакомых эквигомов с важной осанкой и того сверххравного, который руководил моим разоблачением.

Один из незнакомых начальников спросил, что я хочу им сказать. Я отвечал, что из рассказанного мной год назад правда лишь то, что я чужеземец из далекой северной страны и что в Пекуньярии мне дали имя Нэмис. Я пытался проникнуть в Эквигомию как лазутчик правительства соседней страны с целью выяснить положение дел, поскольку в правящих кругах Эквигомии замыслили высадку войск на их территории. Используя свое знакомство с Нагиром, Оффуром и некоторыми другими видными людьми в Тонваше, я искусно создавал у своих собеседников впечатление чрезвычайной осведомленности. Они должны были решить, что я птица высокого полета, и, я

думаю, они так решили. Мой знакомый свехравный сидел, как в рот набрав воды, и чувствовал себя не очень ловко. Впрочем, он мог иметь то удовлетворение, что на диспуте его посрамил не простой человек.

Я намекнул, что могу рассказать важные вещи о намерениях и планах пекуньярцев, если меня захотят выслушать. Оба эквигома сидели с непроницаемыми лицами, лишь изредка обмениваясь взглядами. Когда я кончил, один из них вежливо сказал мне, что они обсудят мое сообщение. Меня отвели в комнату с чистой постелью, на которой я с удовольствием растянулся и быстро заснул, так как был до крайности измучен событиями последней недели.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ГУЛЛИВЕР ПОПАДАЕТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ПЯТИКРАТНО-СВЕРХРАВНОГО НУИЛА. БЕСЕДЫ С СЕКРЕТАРЕМ МИКОМ

Дней через семь-восемь меня посадили в старый, гроыхавший на каждой выбоине экипаж и повезли куда-то в сопровождении двух молодых людей. К вечеру мы прибыли в резиденцию... я бы сказал, вельможи — если бы у эквигомов были вельможи. У ворот мои стражи предъявили какие-то бумаги, после чего мы въехали во двор, окруженный высокой каменной стеной.

Меня провели через боковую дверь здания наверх и поместили в комнату, окно которой выходило в сад. Молодые люди вежливо попрощались со мной и ушли, не закрыв дверь. Я огляделся. Кажется, впервые в Эквигомии видел я помещение, в котором не было ни портретов, ни бюстов, ни изречений Оана. На стенах висело несколько очень приятных акварелей, красивый шелковый экран закрывал камни. Комната была убрана без роскоши, но со вкусом.

Через несколько минут вошел немолодой эквигом, одетый в обычную у них простую одежду, но изготовленную из дорогой ткани и хорошо сшитую. Я встал со стула, ожидая его приказаний, но он медлил.

— Я знаю твое имя, — сказал он. — Не существенно, подлинное оно или нет, об этом мы позже договоримся. Меня зовут Мик, я секретарь пятикратно-свехравного Нуила.

Я понял, что по крайней мере на первой стадии мои расчеты оправдались. Нуил был одним из самых влиятельных людей в стране. Говорили, что он видел или видит Оана. Кстати сказать, это была постоянная двусмысленность эквигомской жизни. С одной стороны, Оан был вроде бы жив, и его именем все делалось в этой стране. С другой — он, очевидно, не был физически реальной личностью, ибо никто не упоминал о его человеческих поступках, даже как о поступках правителя. Он был

подобием бога, но на портретах изображался человеком с довольно заурядным лицом. Если, например, какой-нибудь бедняга упал в воду и утонул, никто не говорил, что его наказал Оан. Но если виновного в каком-то проступке публично секли, то говорили, что выполняется воля Оана.

Секретарь Мик спросил, доволен ли я помещением, и выразил надежду, что мне понравится пища. Он позвонил, и слуга принес нам ужин. В этот вечер я впервые мог оценить эквигомскую кухню и понял, что равенство не распространяется на качество еды и напитков.

Мик попросил меня подробно рассказать свою историю. Я повторил все, что говорил неделю тому назад, тщательно избегая противоречий и неточностей. Мик слушал меня, не перебивая, и лишь время от времени отмечал что-то в своей записной книжке. Затем он стал задавать мне вопросы, которые подтвердили, что я имею дело с человеком умным и осведомленным. Его интересовали мои связи в высших кругах Пекуньярии, характеристики личностей, планы Западной компании и экспедиция в Индию. Расспрашивал он меня также о Европе, но, видимо, больше из любопытства, чем ради дела.

Беседа наша затянулась до позднего часа. Наконец секретарь Мик встал и, вежливо пожелав мне спокойной ночи, ушел. Два дня я его не видел. Мне разрешили гулять в саду, чем я с большим удовольствием пользовался. Из книг я получил, помимо обычных томов Оана, сочинения Нуила, представлявшие собой пересказ и толкование изречений Оана. Но, кроме того, к моей большой радости, мне дали две старые эквигомские книги. Это была величайшая редкость и знак большой милости. Дело в том, что лет двадцать тому назад по приказу Оана или его учеников в Эквигомии были уничтожены или заперты на замок все библиотеки, разрушено большинство типографий и прекращено издание всяких книг, кроме сочинений Оана и его толкователей.

Такие волны уничтожения и запрещения время от времени прокатывались по Эквигомии, и жертвами их становились люди, вещи и даже животные. Как и ликвидация медицины, о чем я говорил выше, все эти меры проводились под флагом второго завета Оана — об «излишествах». Однажды было приказано сжечь все торговые и рыболовные суда, а моряков и рыбаков переселить в глубь острова. Тем, кто не подчинялся, угрожала смерть. Совсем недавно были уничтожены все до единой собаки, а ученых-собаководов выставляли в городах у позорного столба.

Секретарь Мик пришел на четвертый день, чтобы уточнить, как он сказал, некоторые подробности. Самыми трудными для меня были вопросы, касавшиеся моей мнимой миссии лазутчи-

ка. Но, к моему удивлению, именно это привлекало меньше внимания у моего собеседника.

После этого наши беседы стали регулярными. Каждые два-три дня Мик заходил ко мне и проводил за разговорами и приятной трапезой несколько часов. Его особенно интересовали формы правления и отношения между правителями и народом в тех странах, где мне довелось побывать. Я лучше понял этот его интерес, когда он случайно проговорился, что до уничтожения книг был профессором философии. В конце любого разговора Мик заявлял, что все формы правления представляют собой ошибки истории и рано или поздно все народы придут к обществу равных согласно заветам Оана. Я на это неизменно отзывался: «Слава Оану». Надо сказать: я так привык в Эквигомии к этому выражению, что и теперь иногда употребляю его в самых неуместных случаях и к большому удивлению моих собеседников.

Однако не могли же мы все время говорить на темы, далекие от Эквигомии. Как ни был Мик скрытен и осторожен, он стал все чаще рассказывать мне вещи, которые я вовсе не знал или знал смутно. Сопоставляя это со своим собственным опытом и с прочитанным в книгах, я начал кое-что понимать в жизни этой страны.

Самое странное было то, что Эквигомия была страна без истории. Точнее сказать, история начиналась с тех времен, когда Оан сверг старых плохих правителей и стал императором государства равных. Из более ранней истории оставались лишь отрывочные факты, случаи, мысли, которые по какой-либо причине подходили Оану и поминались в его сочинениях. Таким случаем был упомянутый выше приказ легендарного императора Глома, который я испытал на себе. Вся остальная история до Оана была под запретом. Впрочем, что говорить об истории! Вскоре после того, как Оан пришел к власти, были разрушены не только многие дворцы и богатые дома, но были сожжены некоторые города, а жители расселены по разным местам. «Равенство начинается на пепелище», — гласило одно из его изречений.

С большим усердием применялся первый завет Оана: чем меньше ешь, тем лучше можешь работать. Он никем не ставился под сомнение, но в его толковании было две школы. Одни считали его окончательной и однозначной формулой, другие говорили, что верно и обратное утверждение: чем лучше работаешь, тем меньше можешь есть.

Когда преобладала вторая школа и этот завет проводился в жизнь, получались удивительные вещи. Нормальному человеку свойственно хорошо работать. Известно, какое удовлетворение доставляет успешно выполненная работа, даже если не рассчитываешь на похвалу и награду. Но тем, кто хорошо работал, сбавляли норму питания и другими способами ухудша-

ли жизнь. Когда эта система распространялась, хозяйство приходило в расстройство, так как все старались работать хуже и меньше. Тогда выступал какой-нибудь сверххравный высших ступеней и заявлял, что Оана исказили. Вспоминали, что в другом месте Оан обмолвился такой фразой: заслуженная награда достойнее, чем заслуженное наказание. Система «обратного завета» отменялась, а ее сторонников наказывали, и в данном случае, я полагаю, вполне заслуженно.

Но проходило время, и какой-нибудь горлопан опять начинал кричать, что Оана «обеднили», лишив первый завет обратного смысла. Он заручался поддержкой кого-нибудь из многократно-сверххравных, и все начиналось сначала. Разумеется, страна от этого не делалась богаче.

Бедствия возникали и от «борьбы с излишествами». Года за два до моей высадки излишним было объявлено молоко, и весь молочный скот забит и съеден за короткое время. Для меня, привыкшего к молочной пище, это было серьезным лишением. Я был приятно удивлен, когда в доме Нуила мне дали молоко, масло и творог. Видно, на сверххравных такого ранга запрет не распространялся.

Одни запреты сохранялись десятилетиями, другие быстро отменялись, когда их губительные последствия делались ясными. В прошлом году вспыхнула эпидемия тифа, а врачей не оказалось, так как медицина была отменена повсюду, кроме армий. Тогда был найден человек, который якобы положил начало борьбе с ученой медициной. Этого человека и троих его сообщников публично казнили, но потом оказалось, что они в то время находились в самом глухом краю страны и никакого отношения к делу не имели.

В Эквигомии нет ни денег, ни банков, ни сбережений. Считается, что каждый получает столько потребительских благ, сколько ему нужно как равному среди равных. Считается также, что сверххравные имеют столько же, как все остальные. Все прочее, помимо жалкого пайка равных, они получают от государства как бы взаймы, во временное пользование. Я мог себе представить, что Нуил, Мик и даже я, случайно попавший в их компанию, можем быть в один прекрасный день лишены пользования домом, садом, конюшней, хорошей одеждой. Но как могли бы равные взыскать с нас съеденную вкусную еду, дорогие вина и даже изношенную одежду?

Одно изречение Оана, не вошедшее, правда, в канонический набор, гласит: «Сверххравен не значит неравен». Вокруг этого у эквигомов много всяких словесных ухищрений. Один философ, чьи книги были, впрочем, позже сожжены, толковал это в таком смысле, что «сверх» и «не» взаимно уничтожаются, результатом чего и является всеобщее равенство.

Я начинал догадываться, что зачем-то нужен секретарю Мик и его хозяину. Судя по тому, что Мик был со мной дружелюбен и моя свобода возрастала, я вел себя правильно. Любопытный разговор произошел у нас накануне намеченного отъезда в столицу. Я твердо помнил принятую мной версию насчет цели моей высадки в Эквигомии и, воспользовавшись случаем, сказал, что мне было поручено присмотреться к системе обороны города на случай осады. Мик улыбнулся, пристально поглядел на меня и сказал:

— Мы изучили вопрос, Нэмис. Ты говорил правду год назад и лгал последние недели. Ты действительно бежал из лап Оффур, и никакой миссии у тебя нет.

Должен сознаться, что я покраснел как рак и пришел в крайнее замешательство, что, по-видимому, весьма забавляло секретаря. Наконец он сжалился надо мной и добавил:

— Это не имеет значения. Если бы ты это не придумал, то сейчас таскал бы навоз или корчевал пни.

— Если бы я вообще был в живых... — не удержался я.

Мик снова внимательно поглядел на меня и промолчал.

Во дворце Нуила я провел около месяца. За это время я неплохо отдохнул и отъелся, но затворничество начинало утомлять меня. Поэтому я был рад, когда Мик объявил мне об отъезде.

Нуил путешествовал в сопровождении сильного воинского отряда. Он ехал в закрытом экипаже, вызывая к себе для беседы время от времени кого-либо из своих помощников, чаще всего секретаря Мика. Когда же хозяин хотел остаться один или беседовал с кем-либо другим, Мик ехал вместе со мной в открытой коляске, и мы могли продолжать наши беседы.

Мне ни разу не пришлось видеть Нуила во дворце, поэтому я при каждой возможности приглядывался к могущественному эквигому. Это был человек лет шестидесяти, еще крепкий и живой, с наружностью бывалого солдата. Глаза его за стеклами очков смотрели внимательно и остро. Во время одной из остановок Мик представил меня своему хозяину. Он задал мне несколько незначительных вопросов, но, как мне показалось, не столько слушал мои ответы, сколько изучал мое лицо.

Мы проезжали по плодородной равнине с густым населением. На дорогах попадались колонны крестьян, отправлявшихся в поле или возвращавшихся оттуда. Совсем недавно и я шагал в такой колонне под командой свехравного. Теперь же я со стороны смотрел на этих людей. Впрочем, судьба моя могла в любой момент измениться и вернуть меня к ним: только удивительная удача пока выручала меня. Изредка мы встречали группы детей лет двенадцати-четырнадцати, кото-

рые под руководством своих воспитателей занимались военными упражнениями. Чего нельзя было увидеть в Эквигомии, так это просто играющих детей.

Многое занимало и удивляло меня, но скоро мое внимание привлекла такая вещь. Около каждого крестьянского дома, около каждой рабочей казармы, на крышах сараев или на специальных помостах виднелись какие-то клетки, боковые стороны которых были затянуты проволокой или густой сетью веревок. Сетки были во многих местах порваны, дверцы и рамы сломаны, и было видно, что клетки эти давно не употребляются.

Я спросил Мика, что это такое. Он, подумав немного, ответил неохотно:

— Это следы черных дел Амун.

— Но кто такой Амун и зачем ему нужны эти бесчисленные клетки?

— Амун когда-то считался близким учеником великого Оана... Это было семь лет назад. Амун был тогда пятикратно-сверхравным и использовал свое положение, чтобы сделать свое черное дело... Но он был разоблачен...

Любознательство мое было возбуждено. Хотя я видел, что Микку не очень приятно рассказывать мне об Амуне и клетках, я не мог удержаться от расспросов. В конце концов я все же выведал у секретаря, как было дело.

Амун опирался на одно изречение Оана, которое до того не привлекало особого внимания. Оно гласило: «Если вы не знаете, чем накормить равных, то поднимите глаза вверх, и вы найдете там пищу». Амун объявил, что великий Оан имел в виду *голубей*. Если развести их в большом количестве, они дадут людям много пищи в виде мяса и яиц. Как это бывает в Эквигомии, началось с пустяков, но скоро вся страна была охвачена лихорадкой разведения голубей. Был брошен призыв: «Каждый эквигом — сто голубей Оану!» При этом имелись в виду и женщины, и грудные младенцы, и старики. Нетрудно подсчитать, что число голубей должно было перевалить за миллиард и даже больше, потому что рьяные птицеводы превышали установленное число и гордились этим.

Все запасы проволоки, сетей и веревок были использованы для строительства многих тысяч голубятен. Было запрещено использовать эти товары для любой другой цели. Люди забросили работу на фермах и в мастерских, дети перестали учиться, даже сверхравные гоняли голубей и собирали яйца. Почти все запасы зерна были скормлены голубям, а мяса от них все было мало. Голубиные яйца были мелки и малопитательны, к тому же при упаковке и перевозке их били в большом количестве.

К концу второго года этого голубиного безумия случилось самое страшное. На голубей напал какой-то неизвестный мор,

они подышали тысячами и миллионами. Трупы птиц загромажили крыши домов, улицы и сады. Эпидемия перекинулась на другую домашнюю птицу, угрожала скоту и людям. Теперь все население было занято уборкой и погребением трупов. Пришлось забить и миллионы здоровых голубей, чтобы остановить эпидемию.

Тогда ярость обратилась против Амуна, его друзей и сторонников. Эту ярость искусно использовали и направляли соперники и враги. Одним из тех, кто энергично действовал за сценой, был Нуил.

Разъяренные толпы осадили дом Амуна. Охрана была перебита или разбежалась. Амун, его жена и сын, а также несколько приближенных были повешены на ветвях деревьев в саду, а дом сожжен. К этому времени Нуил послал солдат, которые разогнали толпу, убив нескольких фанатиков.

После голубинового бедствия было два голодных года. Вину за них возложили на Амуна, а влияние Нуила все более возрастало.

Вернусь, однако, к нашему путешествию. Мы заночевали в деревне, из которой были заблаговременно выселены все жители. Нам отвели общую комнату с секретарем Миком. Ночью меня разбудили выстрелы и крики. Мик уже был на ногах и, коротко приказав мне не выходить из комнаты, бросился вон. Он вернулся через час или полтора. Я лежал без сна, хотя крики давно умолкли и царила тишина.

— Злодеи пытались убить Нуила, — сказал он. — У них ничего не вышло. Двое мертвы, а третий захвачен живым.

У меня язык чесался от вопросов, но по лицу секретаря я понял, что не время их задавать.

Утром я мельком увидел эквигома, захваченного при покушении. Он был, видимо, тяжело ранен и без сознания. Его везли в специально освобожденной для этого коляске под наблюдением личного врача Нуила. Это был совсем молодой человек, почти мальчик. Уши оттопырились и казались еще больше на бледном, точно сжавшемся от потери крови лице. Что толкнуло его на покушение и что ждало его?

К вечеру мы прибыли в небольшой город, находившийся в одном дневном переходе от столицы. Мика позвали к хозяину, через несколько минут он вернулся и торжественно объявил мне, что пятикратно-сверххравный приглашает нас обоих на ужин.

...Мы сидели за большим круглым столом впятером: были также приглашены двое высших офицеров, близких к Нуилу. Мое место было между Миком и одним из офицеров, напротив хозяина.

Я сильно волновался, ибо моя судьба и сама жизнь зависели от того, сумею ли я понравиться Нуилу. Как мне велел Мик, я только отвечал на его вопросы с прямоотой и четкостью.

Впервые в Эквигомии я был в обществе, где за час или два беседы ни разу не было упомянуто имя Оана.

Нуил выпил два бокала лучшего эквигомского вина, и его землисто-желтое лицо слегка порозовело. Оба офицера были к этому времени просто пьяны и говорили громко, уже плохо улавливая момент, когда надо было замолчать, чтобы не мешать Нуилу.

Слуга подал свежую бутылку вина и разлил его в опустевшие бокалы. В этот момент Нуил сказал секретарю Мику:

— Уступи мне свое место, я хочу спокойно поговорить с нашим заморским гостем.

Мик поспешно повиновался и, выждав, пока хозяин уселся рядом со мной, занял его место. Прежде чем обратиться ко мне, Нуил поднял стоявший перед ним бокал, и все мы подняли свои. Мик пил мало, но на этот раз хорошо хлебнул из бокала, оставленного ему Нуилом.

— Мой секретарь докладывает мне, что ты умный человек, Нэмис, — сказал хозяин. Я молча наклонил голову. — Он служит мне десятый год, и я привык ему доверять...

Я невольно бросил взгляд на Мика и вздрогнул: его бледное до синевы лицо искажала судорога боли, на лбу обильно выступил пот. Он глядел прямо мне в лицо остановившимся взглядом, но не видел меня. Вдруг он покачнулся и, стаскивая со стола скатерть с посудой, стал сползать на пол. Я вскочил со своего стула и бросился к нему. Мик умирал. Губы его были покрыты пеной: пульс исчезал буквально по секундам. Не могло быть сомнения: секретарь был отравлен каким-то сильно действующим ядом. Я поднял голову и оглядел остальных. Нуил, почти такой же бледный, как его секретарь, сидел неподвижно, еще держа в руке бокал. Оба офицера вскочили, один из них зачем-то держал в руке пистолет.

— Зовите врача! — крикнул я им. — Но боюсь, что он не поможет. Вероятно, яд был в вине.

Они все трое переглянулись. Но, судя по тому, что никто из нас не страдал, яд был брошен лишь в один бокал, который, несомненно, предназначался Нуилу. Обмен местами спас его и погубил секретаря.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. БОРЬБА В ЭКВИГОМИИ

Мне было жаль беднягу Мика. Сознаюсь, я был также обеспокоен тем, как его смерть повлияет на мое положение при Нуиле.

Внезапное замешательство, которое произошло, когда один из офицеров ударом ноги распахнул дверь с криком «Измена!», помогло убийце скрыться. Это был, конечно, слуга, разливавший вино. Наливая бокал Нуила, он бросил в него отра-

ву. Врач нашел этот бокал и обнаружил на дне остаток хорошо известного ему местного яда.

Эта ночь была еще беспокойнее первой. Охрана прочесывала весь город и окрестности, пытаясь найти убийцу, но безуспешно. Несмотря на бессонную ночь, Нуил приказал трогаться рано утром. Он ехал один, и экипаж его был окружен со всех сторон не менее чем сотней вооруженных всадников. Тело секретаря, прикрытое попоной, везли в тележке, а я ехал с одним из офицеров, ужинавшим накануне у Нуила. Усевшись, он почти мгновенно захрапел и проспал до полудня. Проснувшись, он потребовал полстакана вина и через некоторое время стал приемлемым собеседником. Он прекрасно помнил те знаки расположения, которые успел оказать мне накануне Нуил, и говорил со мной откровеннее, чем Мик. К тому же, как видно, трагические события слегка развязали ему язык.

Я узнал от него, что за последние два-три года позиции Нуила в группе многократно-сверхравных, управлявших Эквигомией, сильно пошатнулись. У него появились соперники, которые теснили старого генерала и политика. Пять месяцев назад Нуил удалился из столицы, рассчитывая собрать вокруг себя верные ему силы, а также надеясь на раздоры среди его соперников. Но эти расчеты и надежды оправдались лишь отчасти. Теперь Нуил возвращался в столицу, чтобы продолжить борьбу. Два покушения доказывали, что враги боялись его и готовы были на все, чтобы не допустить его возвращения.

Когда солнце стало спускаться, мой собеседник снова заснул, а я получил возможность спокойно подумать. Мик и Нуил, конечно, вытащили меня из крысиного подвала и держали при себе на всякий случай как человека, который мог им пригодиться при каких-то крайних обстоятельствах. Я был им обязан свободой и самой жизнью. У меня не было никаких связей в Эквигомии, зато были полезные связи в высших кругах Пекуньярии, что они каким-то образом проверили. К тому же я хорошо знал морское дело и дальние страны. Теперь мне оставалось надеяться, что я буду и дальше нужен Нуилу и что я смогу этим воспользоваться для себя.

Городской дом Нуила тоже был своего рода небольшой крепостью, которую постоянно охраняли солдаты. Мне было разрешено выходить из дома в сопровождении двух специально приставленных эквигомов. С ними я мог ходить по городу, куда мне хотелось. Это были молчаливые, подчеркнуто незаметные люди, которые, как я ни старался, не вступали со мной ни в какие беседы помимо простейших вопросов быта.

Город Нотиак был столицей Эквигомии на протяжении столетий. Но ныне это было видно не столько по дворцам и другим старым сооружениям, сколько по своего рода могильным доскам. На пустырях и незастроенных участках среди города

можно было видеть огромные камни, на которых большими буквами были выбиты надписи вроде такой:

«Здесь стоял дворец деспота *такого-то*, угнетавшего народ. Разрушен равными в ... году эры равенства. Слава Оану!» Или, например, так:

На этом месте находился вертеп поклонения ложному идолу, которого по невежеству называли Богом Солнца. До основания уничтожен равными в ... году.

Таких камней было расставлено по городу множество, так что невольно приходило на ум сравнение с кладбищем. Камнями поменьше были отмечены сожженные дома аристократов и богачей, театры и другие увеселительные заведения, запрещенные Оаном. Некоторые камни были установлены недавно. На месте дома Амуна можно было видеть кусок серого гранита с надписью, объявлявшей любителя голубей злодеем и врагом равных. Был камень и на месте медицинского колледжа, где учился юноша Нут, ставший невольной причиной и моего избиения и моего избавления.

Мне очень хотелось выполнить его просьбу, повидать его отца и мать и рассказать им об их сыне. Но я боялся идти к ним со своим «хвостом». Недели через три, когда усердие и бдительность моих стражей притупились, я сумел на короткое время избавиться от них и навесил стариков. Они были вне себя от радости, не знали, где посадить и чем угостить. Я рассказал им о любви их сына и уверил, что Ояла будет им хорошей дочерью. Но ни я, ни кто-либо другой не мог им сказать, когда они увидят своих детей и увидят ли вообще.

Однажды я с грустью стоял около камня, на котором значилось, что на этом месте находилась когда-то библиотека — «хранилище вредных книг, враждебных Оану». Мои стражи разлеглись на траве в двух или трех десятках ярдов от меня и курили из длинных трубок местный табак, к которому я никак не мог привыкнуть.

Ко мне приблизился хилый старик, с трудом передвигавший ноги и опиравшийся на палку.

— Ты, видно, нездешний, что так долго стоишь на одном месте и читаешь это? — спросил он, указывая на камень.

Я знал, что мне не следует говорить, кто я и откуда. Но старик выглядел безобидно, поэтому я не удержался и сказал, что я действительно прибыл из очень далекой страны, о которой в Эквигомии ничего не знают.

— Знают, знают! — ворчливо сказал старик. — В книгах, которые были здесь, все это было — и о дальних странах, и о хороших людях... обо всем...

Я спросил его, кто он такой. Оказалось, что он служил здесь библиотекарем. Тогда я спросил, куда девались книги. Он боязливо огляделся по сторонам и, понизив голос до шепота, сказал:

— Книги сожгли. А самые ценные заперли под замок в святилище Оана или раздали многократно-сверххравным. Уж мало кто помнит о них... Вот эти (он указал на моих стражей, не подозревая, кто они такие)... что они знают о библиотеке и книгах?

...Время шло, а положение моего покровителя, насколько я мог судить, не укреплялось. Юноша, который участвовал в первом покушении, умер от ран и ничего не раскрыл. Враги Нуила использовали это, чтобы обвинить его в убийстве. Распространялись также слухи, что он погубил своего секретаря, который слишком много знал о преступлениях Нуила.

Считалось, что Эквигомией управляет Совет многократно-сверххравных, полный состав которого, однако, никогда не оглашался. Было только известно, что он состоит из тринадцати членов. Совет никем не избирался и не назначался, а каким-то образом назначал сам себя. Председателем Совета считался император Оан.

На самом деле власть была в руках трех или четырех человек, которые все время находились в двойственном состоянии союза и вражды. Теперь остальные члены этого узкого круга объединились против Нуила и готовились свалить его, как он в свое время свалил Амуна.

Однажды, в минуту откровенности, Нуил рассказал мне о своей жизни. По странному совпадению он, как глава Пекуньярии Нагир, в молодости был бродячим актером и фокусником. Это было еще до того, как Оан создал государство равных. На представлении в какой-то деревне его заметил Оан, в то время нищий проповедник. Скоро Нуил стал его учеником и сподвижником. Когда восстали крестьяне, Оан и Нуил снабдили их своими идеями. После победы Оана стали называть императором, хотя он официально не принимал этого титула, а Нуил стал пятикратно-сверххравным. Но он был, конечно, не единственным учеником Оана, и ему всегда приходилось бороться за свое высокое место и близость к императору. Нуил был бездетный вдовец.

Вероятно, ему не доставало секретаря Мика, который был его доверенным лицом и советчиком, а во мне он хоть в малой мере, но видел преемника Мика. Но говорить со мной о перипетиях его борьбы с соперниками было мало толку, так как я слишком плохо знал политическую систему Эквигомии и расстановку сил. Иногда Нуил кое-что рассказывал мне об этом, но чаще наш разговор обращался к заморским делам.

На заседания Совета Нуил отправлялся в сопровождении отряда солдат. Другие руководители приводили такие же отряды, так что Совет заседал в окружении целой армии. Офицеры и фанатики среди солдат враждовали, как их хозяева, дело уже несколько раз доходило до вооруженных стычек.

Заседания Совета превратились в словесные перепалки,

в которых участники, клянясь Оаном, обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Мне кажется, что государством в эти месяцы, которые я провел в столице, в сущности, никто не управлял. Может быть, это было лучше для эквигомов. По крайней мере, высшим сверххравным было не до того, чтобы разводить голубей, искоренять вредную привычку к молоку и превращать всех врачей в ветеринаров.

Нуил все еще не терял надежды. Он рассылал верных людей в воинские части, собирал своих сторонников в Совете и что-то обещал им, пытался расколоть своих врагов. Но эмиссары его возвращались с неутешительными известиями, ряды сторонников редели, а враги, видя его слабость, теснее объединялись.

Однажды я с удивлением и с некоторым удовольствием обнаружил, что мои стражи куда-то исчезли. Дело было ясно: крысы бегут с тонущего корабля. Но мне с этого корабля было некуда бежать. Я надеялся, что сам Нуил достаточно умен и хитер, чтобы не пойти на дно, а заодно помочь и мне выбраться из Эквигомии.

...В этот день Нуил еще утром уехал на заседание Совета. Я сидел за письменным столом и приводил в порядок свои записи, которые начал в последние недели делать, пользуясь свободным временем. Внезапно дверь открылась, и вошел офицер, с которым я ехал в экипаже после убийства Мика.

— Нэмис, пять минут на сборы! — сказал он. — Приказ пятикратно-сверххравного: к утру быть в порту.

Я понял, что наступил решительный час. Сунув в мешок свои записи, трубку, чистую рубаху и еще какую-то мелочь, я вышел вслед за офицером. Нам подали верховых лошадей, и мы поскакали. Часа четыре мы мчались без передышки. Я никогда-то не был хорошим всадником, а за последнее время совсем отвык от верховой езды. Наконец я взмолился об отдыхе. Да и лошади были все в мыле. Мы спешили, и он рассказал мне, что произошло. Враги попытались арестовать Нуила, он кликнул своих солдат, началась кровавая схватка. Нуил с помощью верных людей выбрался из здания и теперь другой дорогой ехал в порт, где нас ждало готовое к отплытию военное судно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. БЕГСТВО ИЗ ЭКВИГОМИИ. ГУЛЛИВЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ

Обстоятельства нам благоприятствовали. Весть о бегстве Нуила еще не успела дойти до дорожных постов, и солдаты с почтением пропускали нас, когда мой спутник показывал им бумаги, подписанные нашим хозяином. Дороги были плохие, и ночью ехать по ним галопом и даже рысью было опасно. Тем не менее мы опередили Нуила и его отряд приблизительно

на час. Пятикратно-сверххравный был измучен до последней крайности и едва держался в седле. Пришлось перенести его в лодку, куда поместилось еще семь человек, включая меня и моего спутника. Судно дрейфовало в полумиле от берега и подняло паруса, как только мы взойшли на борт. Нуил приказал мне поместиться в его каюте, и через несколько минут мы оба спали мертвым сном. Следующим утром я узнал, что судно направляется в Порт-Тонваш. Итак, Нуил намеревался стать политическим эмигрантом в Пекуньярии.

Я сказал: первое, что ему потребуется там, — это деньги. Он усмехнулся и достал из шкафа кованый ларец старинной работы. В нем было несколько сот старых эквигомских золотых монет, каждая весом более совершенна, золотые украшения и драгоценные камни. Я сказал, что надо будет положить это на хранение в банк, так как воры и грабители немедленно попытаются добраться до его сокровища.

Именно сокровище Нуила помогло мне поистине чудом вернуться на родину.

Единственным человеком на судне, который знал, помимо меня, о кованом ящике, был офицер, доставивший меня в порт. Он решил, что будет в Пекуньярии гораздо более важной особой, если высадится владельцем изрядного состояния, а не бедным адъютантом беглого генерала. Этот офицер вступил в сговор с капитаном и несколькими другими лицами. Естественно, они решили не посвящать в свои замыслы команду, чтобы не делиться добычей. Ночью негодяи открыли подобранным ключом дверь нашей каюты, разбудили нас и под прицелом пистолетов вывели на палубу.

Я решил, что нас сейчас убьют, и стал читать про себя молитву. Нуил был до странного спокоен и шел, задумчиво глядя себе под ноги. Но если нас ждала смерть, то медленная и мучительная, так как нас посадили в шлюпку и отпихнули от судна. К счастью, в ней был бочонок с водой и небольшой запас пищи.

Через несколько минут судно скрылось во мраке, и мы остались одни в утлой лодочке среди бескрайнего океана. Я знал, что мы находимся приблизительно в ста милях к северу от берегов Пекуньярии и притом в водах, куда пекуньярские суда заходят очень редко. Положение наше было ужасно.

Само собой получилось, что теперь я был старшим, и недавний диктатор Эквигомии без малейших возражений подчинился мне. Я разделил запасы воды и продовольствия из расчета на шесть дней плавания и притом так, чтобы мы могли сохранить силы для работы на веслах. Затем я определил по солнцу направление к земле и сказал Нуилу, что мы будем грести непрерывно день и ночь, сменяясь каждые два часа.

Но на другой день задул южный ветер, так что наше движение резко замедлилось. Ладони наши были стерты в кровь, ру-

ки и плечи мучительно болели. Нуил пытался отлынивать от работы, так что мне пришлось подавить бунт с помощью нескольких ударов кулака. После этого он присмирел и лишь время от времени принимался тихо скулить.

Так прошло восемь или девять дней (мы потеряли им счет), и обоим нам стало ясно, что конец недалек. Мы уже не могли грести и без сил лежали на дне лодки, изредка обмениваясь несколькими словами.

Еще через два дня Нуил начал бредить. Не знаю, в бреду или в сознании сказал он фразу, которая меня поразила:

— Вот теперь мы наконец действительно равны...

Когда я увидел парус, то сначала решил, что это галлюцинация. Но он упорно не исчезал, несмотря на то, что я тер глаза, щипал себя и бил по щекам. Тогда я с трудом поднялся и стал махать лохмотьями своей эквигомской рубахи...

Я потерял сознание, когда нас поднимали на борт. Последнее, что я воспринял, была английская речь, которой я не слышал более трех лет.

На наше счастье, капитан этого английского судна, идя из Индии в Капу, взял южнее, чем нужно, и сошел с обычного маршрута. Только поэтому он натолкнулся на нас. Он был изумлен моим рассказом и долго не хотел верить, что мой товарищ был две недели назад правителем многолюдного цивилизованного государства. Но Нуил с моей помощью в качестве переводчика рассказал ему такие подробности об эквигомской жизни, что капитан не мог более сомневаться в нашей правдивости.

Мы благополучно прошли весь путь до Англии. Через три года десять месяцев и двадцать семь дней я ступил наконец на родную землю.

Теперь я уединенно живу на своей ферме и воспитываю внуков. Нуил служит у меня конюхом, кучером и слугой для разной работы. Он немного ленив и любит выпить больше, чем следует, так что я им не очень доволен. Но куда же деваться старику?

ВЕЛИКАН НА ДОРОГЕ

1

Сырое дыхание низкой облачной пелены разогнало даже крикливых четырехлапых птиц, единственных крупных хищников на континенте. Казалось, само небо, серое, беспросветное, монотонное, упало на мокрый лес.

Внизу на склоне холма шевельнулись ветки синевита, и на лесную поляну вышли двое: невысокий грузноватый мужчина с совершенно седой волной вьющихся волос и тонкая, как стебель ромашки, женщина с грустными глазами. Конечно, отсюда, с высоты, Грехов не мог видеть выражения ее глаз, просто знал, что они всегда печальны. На эту странную, молчаливую пару он обратил внимание в первый же день их прибытия в санаторий. Издали принял их за отца и дочь, на самом деле были они мужем и женой. Его звали Грант, Ярослав Грант, ее — Тина. От врачей Грехову стало известно, что он звездолетчик, командир корабля, попал в какой-то переплет, получил психическую травму и вряд ли теперь сможет вернуться к своей работе.

Однажды Грехов случайно встретил их в лесу, и его поразило то выражение боли и нежности, с которым Грант обращал к жене свое лицо. Вообще видел он их довольно часто, вот как сейчас, например: территория заповедника, где располагался санаторий, была небольшой. Дважды прилетал к ним молодой человек лет двадцати, чем-то похожий на Гранта, поначалу Грехов даже принял его за сына, но со временем понял, что ошибся. Тогда женщина покидала их ненадолго, словно не желая присутствовать при разговоре, но и оставаясь одни, по мнению Грехова, они молчали. Можно было подумать, что юноша лишь затем и прилетел, чтобы постоять рядом с седым, молча, сурово, без тени улыбки. В поведении их оставалась какая-то недоговоренность, заставляющая задумываться об удивительной непостижимости человеческих отношений. Но Грехов, как и они, искал уединения, уповая на его целительные свойства, не находил его

и в конце концов понял, что великолепные чарианские врачи могут вылечить тело, но не в состоянии исцелить душу.

Мужчина посмотрел вверх, заметил его бысролет, взмахнул рукой, Грехов тоже помахал в ответ. Женщина оглянулась, потянула Гранта за рукав, и они исчезли за деревьями. Шорох ветра в листве заглушал их шаги.

Грехов зябко передернул плечами и усилил обогрев костюма, хотя холодно ему не было — чисто психологический эффект. Дождь начался сразу, частый и мелкий, и он закрыл фонарь кабины, пристроился возле пульта управления и задремал.

Разбудил его писк вызова, и, еще не открыв глаза, он коснулся кольца приемника на запястье.

— Грехов, к вам посетитель. Ваши координаты?

— Западный сектор Леса, — сказал он в микрофон, — даю пеленг. А что случилось? Кто посетитель?

Но дежурный уже отключился, и Грехову оставалось только гадать, кому он понадобился. Может быть, ему наконец разрешат покинуть санаторий? Ведь чувствует он себя превосходно... если не считать постоянной хандры от мыслей о работе, о ребятах... о Полине. После событий на Самнии, спутнике Чары, когда он три часа пролежал мертвым в радиоактивном склепе — бывшем спасательном корабле, врачи на Чаре около года боролись за его жизнь, а Полина... она даже не знала, что он на Чаре. Впрочем, она вообще не знала, что Грехов остался в живых. Да и почти никто в отделе не знал, потому что чариане не сочли нужным сообщить о нем на Землю, сомневаясь в том, что он выживет, но он выжил и чувствует себя прекрасно... если не считать... Да, о Полине он думал постоянно. И боялся послать ей сообщение, сам не зная почему, но боялся. Грехов все ждал, что она узнает сама. Может быть, кто-то все же сообщил ей? Диего Вирт, например... или Сташевский. Они-то знают, что он здесь. Но если это Полина...

Грехов привстал с сиденья, всматриваясь в пелену дождя. Потом рассердился на себя и сел. После своей временной смерти... каково звучит, а?! — после смерти!.. Что ж, он мог сказать так с полным правом. После смерти он стал более впечатлительным, возбудимым, и, откровенно говоря, ему это не нравилось.

В девятом часу утра рядом с его аппаратом опустился наконец чей-то оранжевый бысролет. Громоздкая фигура выбралась из него, и он вздохнул: радостно и огорченно одновременно, — сердце ждало другого посетителя. Это был Сташевский, начальник второго отдела Управления аварийно-спасательной службы (УАСС), его друг и непосредственный начальник.

— Здравствуй, отшельник, — проворчал он, забираясь в кабину. — Что не весел? Не рад? Нездоров?

— И рад и здоров, — Грехов с удовольствием рассматривал его коричневое от загара лицо. — Настроение паршивое.

Чариане не выпускают из санатория, повесили на меня кучу датчиков...

Грехов умолк и привычно оглядел небосвод и стену леса на склоне холма. Что-то изменилось там, ничего угрожающего, конечно, но обостренное чувство опасности не раз спасало ему если не жизнь, то целостность шкуры, и пренебрегать интуицией он не имел права.

— Желтый туман, — пояснил Сташевский.

— Ну конечно, — с облегчением сказал Грехов. — А ты здорово разбираешься в особенностях чарианских заповедников. Сташевский засмеялся.

— Просто я узнал это от диспетчера медицинского центра. К тому же по всей территории заповедника лечебные туманы выпускаются регулярно два раза в сутки. Пора бы знать.

— Ты и это узнал от диспетчера?

— Нет, — Сташевский помрачнел. — Когда-то я тоже отдыхал здесь... после болезни. Дело прошлое... Так ты здоров, говоришь?

— Вполне.

— Отлично! Сегодня с тебя снимут ненавистные датчики, и ты свободен. Честно говоря, я не верил в твое... в общем, ты понял. Они волшебники, особенно старший врач! Не хмурься, эта женщина спасла тебе не только жизнь, но и здоровье, к тому же, говорят, она отдавала тебе времени больше, чем следовало.

— Возможно, — нехотя согласился Грехов. — Как это свежо и оригинально — любовь землянина и инопланетянки... Хотя какие чариане инопланетяне — переселенцы.

Сарказм в его голосе заставил Сташевского нахмуриться, но Грехов положил ему руку на плечи и, отвернувшись, пробормотал:

— Ты же знаешь, Святослав, ты все отлично знаешь...

— Что я знаю? — ответил помрачневший Сташевский вопросом на вопрос. — Ничего я не знаю. Полина извелась вся, прозрачная стала... Ведь ты ей не сообщал, что желаешь ее видеть, а она ждет... Поехали.

— Не сообщал, — с трудом сказал он. — Таких сообщений не ждут, летят сразу, если знают куда... А если она знает... Куда поехали?

— К кораблю.

— Так сразу?

— А тебе что — фрака не хватает? Э-э, дружище, видимо, не совсем ты еще здоров, растерялся, побледнел... Может, останешься еще на пару недель?

— Ладно смеяться, — Грехов включил двигатель, и они взмыли в воздух. — Куда лететь-то? Надо же предупредить в медцентре, датчики снять...

— Это минутное дело. А на корабле тебя осмотрят медики УАСС. Как живой экспонат. Не возражаешь?

Грехов не возражал.

— Но я еще не все сказал, — прищурился Сташевский. — Я тоже думаю, как и чарианка твоя, что ты здоров, поэтому скажу сразу: вылетаем мы в район туманности Черная Роза, звезда Тина, планета Тартар. По каналам Управления объявлена тревога: планета смертельно опасна для человека, необходимо наше вмешательство. Код тревоги — жизнь людей! И учти — там будет очень несладко.

«А где бывает сладко? — подумал Грехов. — Там, куда посылают нас, всегда горько и трудно. И опасно. К чему это он говорит? Думает, я откажусь? Глупо...»

— Я выбрал тебя, — продолжал Сташевский, — потому что... в общем, потому, что знаю. Правда, посмотрев на тебя, там могут меня неправильно понять, они же не знают, что тебе уже двадцать восемь, а не те пятнадцать лет, на которые ты выглядишь.

— Старо, Святослав. Ты можешь толком сказать, что нам предстоит?

Сташевский пожал плечами, повернув вполоборота свое гроздкое туловище.

— Обычный спасательный рейд. Ну не совсем обычный, конечно... Потерпи, в корабле все узнаешь. Давай-ка побыстрее...

Дождь перестал, стало заметно светлее и над лесом, километрах в пятнадцати блеснул в белесой дымке шпиль лечебного центра.

* * *

В районе тэты Леры, на промежуточной станции, корабль подобрал группу асов, возглавлял которую, к большой радости Грехова, Диего Вирт. Они проговорили все три часа подготовки и полета трансгала к Тартару, поэтому, когда Сташевский зашел в каюту и осведомился, знаком ли Грехов с информантом по Тине и ее единственной планете, он только виновато опустил голову.

— Та-ак, — протянул Сташевский, взглянул на часы и ледяным тоном напомнил ему точное значение слова «дисциплина».

Уходя, он забрал с собой подмигивающего Диего, а Грехов пристроил кристалл информанта в свой инфорблок и стал торпливо «перелистывать» записи, надеясь за полчаса до финиша разобраться в материале хотя бы в общих чертах.

Тартар был открыт случайно в сто семьдесят четвертом году, то есть год назад, печально известной экспедицией к ядру Галактики, ее головным кораблем «Спир» с командиром Ярославом Грантом... Грехов перестал воспринимать текст, прослу-

шал несколько фраз, не поняв их смысла, и тут только вспомнил, откуда ему знакомо имя командира — Грант. Чарианский санаторий... мокрый от дождя лес... две фигуры, неторопливо бредущие по короткой густой траве, седой мужчина и хрупкая женщина... Вот кто, оказывается, открыл Тартар — Ярослав Грант! Ирония судьбы свела их вместе и развела, а предстоит Грехову спасательный рейд на открытой Грантом планете, опасной планете...

Какое-то время он сидел, бездумно включая и выключая инфорблок, потом вздохнул и стал слушать дальше. Из скороговорки читающего автомата он понял, что экипаж корабля почти весь погиб (вот она, травма Гранта), спасая людей со звездолета «Могикинин», неведомо как оказавшегося на планете. Они спасли двоих, но погибли сами...

«Что ж, я понимаю тебя, Грант, это тяжело. Но ты обвинил себя в их гибели, и в этом я с тобой не согласен. Ты был командиром, а когда в тебе заговорил просто человек, испугавшийся ответственности, ты забыл, что командир потому и командир, что боль свою он обязан прятать в себе. Впрочем, не знаю, выдержал бы я...»

Грехов вдруг понял, что не слушает запись, и разозлился. Торопливо прокрутив запись назад, пустил ее снова.

— ...Атмосфера: водород, семьдесят три процента, гелий, пятнадцать, кислород, азот, неон, аргон... (наверное, уже данные по планете). Породы материка... (это потом). Океаны... (это тоже потом). Так, вот оно, главное... Образования предположительно искусственного типа, названные Городами. Активная жизнь в насыщенной радиацией атмосфере... Гипотеза универсалиста Сергиенко: негуманоидная цивилизация. Гипотеза универсалиста Гилковского: сообщество гнотобионтов — организмов или колоний организмов, живущих в полностью известных и контролируемых условиях...

Дальше прочитать запись Грехову не удалось. Корабль вышел на силовую подушку стартодрома исследовательской Станции, и по отсекам разнесся певучий сигнал отбоя готовности. Пока деловитые гномики — роботы технической службы проверяли корпус корабля и двигатели на остаточную деформационную неустойчивость, он рассматривал планету в перископ без оптики. С высоты Станции она казалась пушистым палевым эллипсоидом с крыльями жемчужного сияния — там, где невидимое сейчас светило освещало атмосферу; Станция как раз проходила над ночной стороной Тартара. «Мрачноватое название для планеты», — подумал он мимолетно.

— Экипажу на выход, — произнес динамик звонким голосом, и он поспешил из каюты.

В широких светлых коридорах Станции было гораздо меньше народу, чем он ожидал. Иногда встречались научные сотрудники высших рангов, цвет науки Земли, в одинаковых свет-

ло-голубых с зелеными змейками костюмах, обтягивающих фигуру. Только эмблемы на груди и на рукавах у них были разные. Грехов с любопытством провожал глазами специалистов физики пространств, так как сам несколько лет назад еще носил их эмблему: алый диск, перечеркнутый золотой стрелой и окруженный роем серебряных искр. Но все лица были неизвестными, и легкая грусть закралась в сердце: о событиях прошлого всегда вспоминается с грустью, не о катастрофах, конечно, хотя катастрофы сопровождали его со дня рождения, уж такой он по-своему «везучий» человек.

Заглядевшись на группу техников, волокущих по коридору громоздкий ящик (нет грузовых автоматов, что ли?), Грехов ткнулся в спину Вирта и быстро шагнул в сторону. Перед ними стоял начальник сектора УАСС Кротас и внимательно разглядывал их своими светлыми глазами. Рядом с ним, кривя худое нервное лицо, стоял незнакомый Грехову человек в сером однотонном трико без всяких эмблем и значков. Он был седой, маленький, тонкий, от кривой полуулыбки бежали по лицу морщины, и никак нельзя было в точности определить его возраст.

— Грехов? Рад вас видеть... э-э, живым и здоровым.

— Здравствуйте, — пробормотал он. — Извините, спасибо.

Седой наклонил голову, и Грехов прочел усмешку в его непроницаемо черных глазах. Выручил Грехова Сташевский. Он подошел к ним откуда-то сбоку, несколько мгновений смотрел на седого с неопределенной миной на лице, потом резко протянул руку и отрывисто бросил:

— Наш проводник? Я — Сташевский, Святослав.

— Молчанов, Эвальд, — неожиданным рокоchущим басом ответил седой, и стоящий рядом Кротас с непонятным облегчением вздохнул.

— Идемте. В шесть ноль-ноль заседание научного совета. Надеюсь, вы не голодны?

— Нет, — коротко ответил Сташевский.

Их молчаливую группу провожали глазами — все знали, что прибыли спасатели, — а Грехов, машинально отвечая на приветствия, пытался вспомнить, где ему уже встречалась эта фамилия — Молчанов.

Они подошли к командному залу Станции — полусферическому помещению с рядами пультов и туманными стенами выключенных видеомов*. В зале стоял легкий перекачивающийся говор двух десятков людей. Грехов, оглядевшись, заметил здесь Джаваира, руководителя второго сектора, Юревича — начальника отдела безопасности, и еще нескольких асов, которых он знал по прежней работе. Почти все Управление...

— Сейчас начнем, — тихо сказал Кротас, словно почувствовав волнение Грехова.

* Видео м — объем цветной видеопередачи.

— Что же здесь произошло? — так же тихо спросил Грехов.

— Отряд ученых и коммуникаторов ушел на поверхность Тартара и не вернулся... — ответил начальник сектора и не договорил.

В зал вошел высокий огненно-рыжий мужчина с огромным носом. Грехов с любопытством принял его разглядывать. Он ни разу не видел заместителя председателя Комитета Коммуникаций в лицо, только слышал о нем, но ошибиться, наверное, было невозможно. Левада коротко поздоровался со всеми и прошел к пультам.

Грехов притронулся пальцами к плечу Сташевского — какое-то инстинктивное движение, ей-богу, и приготовился слушать.

* * *

Десантный шлюп — иглокол, на жаргоне асов, медленно отделился от ажурного тела Станции и серебристой каплей стал падать в бездну. Синий диск Тартара казался отверстием в черной толще, а иглокол воздушным шариком, поднимающимся к небу из-под земли.

Пока их маленький кораблик вели по энерголучу со Станции, Сташевский был спокоен: со стороны их никто не мог увидеть и запеленговать. Но в атмосфере они могли полагаться только на опыт и умение пилота, и Сташевский невольно поглядывал на Диего Вирта, с небрежной грацией профессионала сидевшего у пульта.

В тесной рубке иглокола расположилось всего четыре человека: сам Сташевский, Вирт, оправдывающий свою фамилию Молчанов и Грехов, с интересом наблюдавший за ходом спуска. То, что их экспедиция — спасательный рейд, его волновало мало. То есть волновало, конечно, но за три года работы в УАСС он давно привык к постоянному риску, ожиданию схватки с неизвестными или известными силами природы, поэтому настоящая экспедиция была для него обычной формой работы. Его работы...

Грехов теперь знал, что со времени открытия Тартара прошло больше года, но по-настоящему изучить чужой мир за столь короткий срок люди не смогли: не многое увидишь с тысячекilометровых орбит, а автоматы, кроме измерений основных физических параметров планеты, ничего больше не умели. Для осмысления жизни Тартара нужны были длительные наблюдения, наблюдения прямые и без посредников. Правда, попытки эти пока в основном кончались спасательными операциями подобно этой. Разве что меньшего масштаба.

Шесть суток назад, когда Грехов еще бродил по Лесу Грусти на Чаре, группа ученых и коммуникаторов в количестве сорока шести человек ушла на ТФ-звездолете к одному из Городов,

наиболее загадочных объектов Тартара, для детальных исследований. И вот уже шесть суток подряд из района посадки доносится резкий голос автомата: «Внимание! Выбрасываю...» — молчание, длинный скрежет, треск и снова: «Внимание! Выбрасываю...» — молчание, скрежет — и так без конца. Шесть суток подряд люди на Станции пытаются с помощью зондов и телероботов разглядеть, что случилось с кораблем, пытаются, но безуспешно, установить с ним связь. Издали колонна корабля кажется неповрежденной и стоит прочно, но тревожна его неподвижность, не появлялись возле него и передвижные лаборатории, с помощью которых предполагалось провести исследования. Корабль не открывал люков, превратившись в подобие тех скал, возле которых он так странно финишировал. Единственным движением в этом месте было движение «паутин», стаями круживших вокруг земного корабля. Напрасно всматривались в мутный океан атмосферы телезонды и чуткие приборы: в районе посадки царил странная тишина.

А в других районах единственного материка Тартара все было по-другому: проносились над равнинами и отрогами гор любопытники — так почему-то обозвали исследователи летающие скалы; неторопливо плыли по своим загадочным делам «паутины»; в горах появлялось и долго не исчезало багровое свечение; резко и непонятно менялся рельеф знакомой местности...

Да, с высоты все это очень походило на активную цивилизационную деятельность, построенную по своим, неизвестным людям, законам.

— Обидно, что мы натываемся на равнодушные... — не заметив, как заговорил вслух, произнес Грехов. Спихватившись, замолчал.

— Что? — спросил Сташевский, покосившись в его сторону.

— Ничего, — пробормотал Грехов, чувствуя на себе изучающий взгляд Молчанова.

— Внимание! — проговорил из оперативного видеоматрицы инженер связи Станции. — Дальность на пределе. Дальше пойдете своим ходом.

— Готов, — коротко бросил Диего Вирт, держа руку над регулятором управления. Шлем биоуправления он уже надел.

— Желаю успеха, — сухо сказал из соседнего видеоматрицы Кротас. — Пока еще не поздно, задавайте вопросы.

— Поздно, — без улыбки ответил Сташевский.

— Старт! — энергично произнес инженер связи. — Выключаем поле.

Сташевский кивнул, и Диего вдавил педаль включения собственного защитного поля.

Тяжесть хлынула в тела людей, не тяжесть ускорения, а какая-то странная тяжесть, замедляющая движения и мысли.

Диск планеты придвинулся, кренясь, налился фиолетовой полутьмой и закрыл панорамный видеом с трех сторон. Мелькнули и пропали светлые пятна, чередуясь с черными провалами, стремительные струи пронеслись рядом, потом иглокол вонзился во что-то серо-голубое, и люди словно ослепли.

Диго выбросил короткое энергичное слово, раскорячился над пультом, и видеомы прозрели. Твердое и испятнанное белым, летело на людей фиолетовое поле, закружилось каруселью, мелькнул в стороне и пропал какой-то знакомый силуэт и звонким ударом оборвалось вдруг движение. Наступила тишина и неподвижность.

— Дьявол! — сказал Сташевский почти восхищенно. — Я думал, конец!

— Вот именно... — пробурчал Молчанов, растирая виски.

— Мастер, — сказал Грехов, хлопнув Вирта по плечу. — Не промазали?

— Думаю, максимум на полтора-два километра, — сказал спокойно Диго, снимая шлем. В целях безопасности, относительно, конечно, они совершили посадку за сто сорок километров от места посадки замолчавшего звездолета, по другую сторону Кинжального хребта.

— Посмотрите-ка.

Грехов проследил направление взгляда Вирта и прямо под лиловым яйцом тусклого светила заметил неподвижно парящую гигантскую белесую «паутину». Она была огромна, дальний край ее терялся в желтой дымке неба, и висела совершенно спокойно, словно была невесома. Узор ее с настоящей паутиной имел весьма отдаленное сходство, но, подумав, Грехов решил, что тот, кто назвал этот предмет «паутиной», был недалек от истины. Но каковы же тогда пауки?..

— Сторож, — с непонятным выражением сказал Молчанов.

2

Было уже далеко за полночь, когда горизонт впереди вдруг осветился серией сине-зеленых вспышек чудовищной яркости.

— Стоп! — мгновенно отреагировал Сташевский.

Руки автоматически утопили штурвал в выемку пульта, и танк резко остановился, вздохнув гасителем инерции, как уставший бронированный ящер. Еще одна серия очертила горизонт, высветив пронзительной синевой мельчайшие детали ландшафта и лица людей. Вспышки мелькнули совершенно беззвучно, и после них наступила полнейшая темень, усугубившая мрак перед рассветом.

— Юго-юго-запад, — определил Молчанов, — километров сто за хребтом. Что за вспышки?

Грехов бросил взгляд на приборную панель.

— Эмиссионные, типа взрывов шаровых молний.

После слепящего зарева вспышек глаза не замечали ни пульта, ни панели, и казалось, фосфоресцирующие эллипсы и квадраты индикаторов висят в воздухе, ни на что не опираясь.

— Хоть глаз коли! — проворчал недовольный Сташевский.

Он сидел слева, в кресле биомеханика, и Грехов, глаза которого адаптировались быстро, видел его широкий силуэт. В коричневейшей тьме постепенно проступали смутные контуры кресел, аппаратов и людей. Весь купол кабины представлял собой экран аппаратуры прямого видения, поэтому иногда становилось неуютно от мысли о кажущейся беззащитности машины.

Сзади послышался зевок проснувшегося Вирта.

— По какому случаю остановка? Приехали?

— Тихо! — грозным шепотом сказал Сташевский.

Грехов обратился в слух и где-то на грани восприятия услышал далекое, едва угадываемое тиканье огромного механизма. Будто порыв ветра донес сюда в неправдоподобной тишине тартарской ночи медленные равномерные удары: баннг!.. баннг!.. баннг!..

— Колокол, — шепнул Молчанов. Грехов хотел ему возразить, потому что звуки больше всего походили на удары в гонг, но было в них что-то и от колокольного звона, бархатный бронзовый тембр. А может быть, сыграло воображение, всегда дорисовывающее то, что человек желает увидеть или услышать.

Они настолько увлеклись странным звучанием, что прозевали появление любопытника. Он примчался скорее всего со стороны Кинжального хребта, светящийся белесый призрак, похожий на скелет гиппопотама, но Грехов уже знал, что днем на свету он представлял бы собой каменноподобную глыбу передаваемого черного цвета, с неожиданной легкостью порхавшую в воздухе. Любопытниками, оказывается, их называли за явный интерес к земным аппаратам, особенно к тем из них, которые использовали силовые поля. Иногда при движении низко над сушей за ними тянутся длинные, многосотметровые хвосты медленно опадающей пыли. Несколько часов назад Грехов и сам видел со Станции несколько таких хвостов, через оптические усилители, конечно.

Любопытник завис над танком, его свечение потеряло вдруг структурную четкость и расплылось зеленоватым облаком, окутав полусферу кабины. Внезапное головокружение заставило Грехова ухватиться за штурвал, в ушах поплыл комариный звон, стали неметь мышцы шеи и плеч. Он попытался бороться, напрягая волю, но с таким же успехом можно было пытаться вырастить на лице второй нос. Молчанову сзади стало дурно, он вскочил, ноги его не держали, и он бессознательно вцепился Грехову в шею. Тот вяло мотнул отяжелевшей головой, не отрывая взгляда от светящейся кляксы любопытника. Казалось, он разросся до величины горного хребта, и эта его миллионотонная тяжесть хлынула в голову.

Защитой ведал Сташевский, Грехов не понимал, почему он медлит, единственный, по его мнению, не потерявший способности двигаться, но наконец он вышел из задумчивости и включил гефы — генераторы форм.

Под ударом силового поля белесый спрут отпрянул от танка и взвился в небо. Мгновение спустя волна оцепенения спала, тело стало необычайно легким, будто заполненное гелием. Грехов повертел головой и с удивлением обнаружил Вирта сидящим на полу. Рубку залил свет. Диего заметил его взгляд и усмехнулся.

— Я, наверное, рогатый как корова. Похож?

— А что такое корова? — с любопытством спросил Молчанов, поднимая к Вирту свое вечно хмурое, узкое лицо.

— Корова... — с усмешкой начал Диего, — это такое большое животное с четырьмя ногами по углам...

Сташевский фыркнул, а Грехов впервые увидел на лице Молчанова улыбку. Улыбка у коммуникатора была поразительная: как блеск молнии, прорубившей темные грозовые тучи. Молчанов был самым старшим из них. Он родился в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, то есть в двадцатом веке. Грехов сначала даже не поверил, когда узнал об этом, но потом вспомнил, что именно Молчанова спас экипаж звездолета «Спир», его и командира корабля «Могиканин». Молчанов вернулся к Тартару, а командир «Спира» Ярослав Грант... Грант на Чаре, в санатории... Неужели столь велико было потрясение? Или он судит этого человека слишком пристрастно?.. Но Молчанов каков! Пережить такое и вернуться! Пожалуй, у него можно поучиться решительности и мужеству. Если только столь крепкие нервы не следствие его бесчувственности или, того хуже, равнодушия...

— Та-ак, -- протянул Сташевский, исподлобья оглядывая их. В характере этого человека нелегко разобраться, не зная его так, как знал Грехов. У него суровое, цвета северного камня лицо, холодные серо-голубые глаза, крепко сжатые, будто окаменевшие губы. Он широк в плечах, массивен и очень силен. Однажды на Самнии во время аварии блокпоста он ударом кулака сорвал двухсоткилограммовое крепление экрана и вырвал питающий фидер вместе с гнездом, потому что времени на откручивание уже не было. Конечно, восхищался Грехов не силой Сташевского, он был не слабее Святослава, хотя внешность имел далеко не типичную для силача. Ростом он был, пожалуй, ниже Молчанова, тонкий и хрупкий на вид, но весил столько же, сколько и Сташевский, — сто два килограмма. Из-за этого его еще в институте прозвали малышом-оборотнем. А вино вато в этом детство: Грехов родился в звездолете, терпящем бедствие, и целых пятнадцать лет с момента рождения до финиша на Земле рос в поле тяготения, в три-четыре раза более мощном, чем земное. Естественно, это не могло не сказаться на

его телосложении. Ну а Сташевский... мало сказать — он им восхищался, он его любил...

— Та-ак, — еще раз произнес Сташевский. Командир группы, он умело скрывал свои тревоги и сомнения, Грехову же, честно говоря, было невесело, тем более что вторглись они в совершенно незнакомую жизнь, а идти они могли только наугад, и это медленное и утомительное движение действовало на нервы больше, чем загадочное излучение нередких любопытников..

— Наши меры защиты от любопытников, — вздохнул Сташевский, — увы, пока малоэффективны, и фактически мы беззащитны...

Он перехватил взгляд Вирта.

— Да-да, беззащитны, несмотря на тиамат*. Потому что может возникнуть ситуация, в которой мы просто не успеем привести его в действие. — Он был прав. Тиамат — «великий разрушитель», «генератор праматерии», «инициатор тихого распада» — как его только не называли, — мощнейшее из средств защиты и нападения (к сожалению...), которым недавно овладел человек. Но и тиамат не гарантировал безопасности в условиях Тартара, имеющего огромный арсенал поражающих факторов, ни один из которых еще не был в достаточной степени объяснен человеком.

— Ну, не смотрите на вещи столь пессимистично, — проворчал Молчанов. — Надо привыкать и к любопытникам и к иным формам жизни Тартара, а их много, и, смею вас уверить, все они агрессивны...

— Кроме пластунов, — сказал всезнающий Диего Вирт.

— О пластунах разговор особый...

— Так, — в третий раз сказал Сташевский. — Мы стоим уже полчаса, это непростительно много. Готовы? Поехали.

Танк слегка присел и резко побежал по светлому тоннелю, вырубленному во тьме прожекторами. Дорога становилась хуже. Сначала ехали по плоскогорью, кое-где поросшему ползучим низким кустарником странного вида. Он удивительно напоминал Грехову абстрактные конструкции из металлической проволоки, укутанные в массу пушистых синеватых нитей. Гусеницы с ходу ломали его, и он рассыпался на отдельные куски, хрупкий как стекло.

Потом подъем стал круче, и вскоре Грехов понял, что они уже где-то у отрогов Кинжального хребта, который им предстояло преодолеть. За те восемь часов пребывания на планете с ними и вокруг них ничего не произошло, и Грехов даже подумал, что мир Тартара довольно обычен — скалистый дикий «нецивилизованный» мир. Непонятно было, почему происходили

* Ти а м а т — генератор особого поля, в котором разрушаются электронные, атомные и межнуклонные ядерные связи.

катастрофы, гибли роботы и люди, защищенные, как казалось до этого, от всех сил природы умением применять эти силы себе на пользу. «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». Так, кажется, говорил Козьма Прутков. «Что если жизнь Тартара не входит в круг наших понятий?» — подумал Грехов.

Склоны гор поднимались все круче и выше, сжимая их временную, случайно найденную дорогу в каменных тисках. Стали попадаться длинные трещины, разрывающие ее на пунктиры, и крупные обломки скал со свежими изломами. Наконец ехать дальше по прежнему пути стало невозможно — сказывалось недавнее землетрясение, танк подходил к активной границе его эпицентра. Он медленно прополз сотни две метров и уперся в рваный вал из обломков и щебня, перегородивший дорогу. За валом пучилось нагромождение базальтовых плит гигантской толщины.

— Горст *, — определил Сташевский и полез из кресла, широкий, спокойный, даже немного вялый.

— Собирайся, Диего.

Вдвоем с Виртом они надели скафандры и вышли из танка. На приборной панели вспыхнули зеленые огни индикаторов присутствия — заработали индивидуальные радиомаяки. В свете прожекторов две фигуры превратились в осколки ослепительного жидкого огня — пленки скафандров отражали почти все виды радиаций, в том числе и свет. Они вышли из освещенной полосы и исчезли. Голос Диего прозвучал, казалось, совсем рядом:

— На бысролете до цели можно дойти за десять минут, может, я рискну?

Ответа Сташевского они не услышали, но Молчанов усмехнулся довольно красноречиво. Теперь-то Грехов тоже знал многое о Тартаре, в том числе и то, как погиб экипаж «Спира» и «Могиканина». Летательные аппараты преследовались «паутинами» с особой настойчивостью, именно поэтому их спасательный рейд начался на тяжелом танке-лаборатории, рассчитанном на эксплуатацию в атмосферах гигантских планет-полусолнц типа Юпитера. Ну а дальнейшее уже зависело от них, от «запаса надежности человеческого элемента», так как техника Земли большего, чем они располагали, дать не могла...

Молчанов включил свой инфорблок и принялся прослушивать записи, беспокойно поглядывая на ясную зелень индикаторов присутствия. Грехов сначала прислушивался, потом перестал. На вершине горста что-то происходило. Словно там ни с того ни с сего начала испаряться черная жидкость, и тяжелые непрозрачные испарения зашевелились таинствующими змеями.

* Горст — приподнятый участок планетарной коры, ограниченный сбросовыми трещинами.

— Диего! — на всякий случай позвал Грехов. — Свято-слав!

Динамики молчали. Индикаторы присутствия налились желтизной — признак кратковременных перерывов связи.

— Что случилось? — тревожно спросил Молчанов, но тут и сам заметил неладное. «Жидкость» продолжала испаряться. Теперь струи паров приобрели глубокий синий цвет, и в них за-сверкали яркие искорки. Искры увеличивались, собирались в большой шар и пронзали мрак ночи, как маленькие молнии, они потрескивали и жужжали, как рой пчел. Наконец их стало так много, что они стали казаться огромным огненным глазом с бешено вращающимся зрачком.

— Гравистрелок! — яростным шепотом произнес Молчанов и прыгнул к вогнутому зеркалу наводки тиамата.

Он не успел на секунду, может быть, на полсекунды. На скалах зашипело, и Грехов кубарем покатился к противоположной стене рубки: по танку, вернее, по его защитному полю словно ударили гигантским молотом, и он отпрыгнул назад, загудел и завибрировал на амортизаторах. Грехов еще только поднимался, цепляясь за стенку, как ударило второй раз. Он очень удачно ткнулся носом во что-то твердое и на некоторое время потерял способность соображать.

Молчанов все же дотянулся до пускателя тиамата, Грехов понял это по тому, как у него сначала заныли зубы, а потом динамики донесли скрежещущий вопль потревоженной атмосферы. Пока он таращил мутные от слез глаза, все было окончено. Верещал счетчик радиации (страшная все-таки штука тиамат!), половину горста как языком слизнуло, а у его основания корчилась помятая, но уцелевшая (!) «паутина», потерявшая свой режущий блеск.

— Удачное начало, — легкомысленно произнес Грехов, вытирая с губы и под носом кровь.

Молчанов сдавленно пробормотал что-то, свирепо помассировал горло, указал куда-то в сторону, и Грехов увидел далекие светляки фонарей, выписывающие замысловатые траектории при движении. Это возвращались ничего не подозревающие разведчики. Неужели они не слышали вопля тиамата?! Вирт что-то тихо говорил, Сташевский молчал. Они медленно спустились по склону застывшей лавовой волны, разрезая мрак шпагами света, вышли на освещенное прожекторами пространство, и тут Сташевский заметил исчезновение вершины горста, мечущуюся «паутинку», да и дым еще не рассеялся полностью, и радиация не спала. Он замер с поднятой ногой, потом толкнул Диего в плечо, и они, не заботясь о сохранении достоинства, бросились к машине.

В кабине Сташевский окинул рассеянным взглядом растерзанную физиономию Грехова и, будто ничего не произошло, сел в кресло. Вошел невозмутимый Диего Вирт, прищурился

на «раненого» и, сказав: «Герой», — сел рядом с командиром.

— Гравистрелок, — произнес вдруг Молчанов таким извиняющимся тоном, что Грехов вытаращил глаза. — Простите меня, Святослав! Я обязан был предупредить, простите.

На него было жалко смотреть, и Грехов почувствовал к нему если не расположение то во всяком случае уважение. Наверное, он действительно мужественный человек.

— А-а... — сказал в ответ Сташевский безмятежно. — Ерунда, сам виноват. Мне ведь говорили, и не один раз, а я забыл.

Он повернулся к аппаратуре связи, крутанул рукоятку поворота ориентаста и вызвал Станцию.

Долгое время, пока ориентаст прошупывал небо, видеом связи лишь мерцал тусклой голубизной, потрескивали динамики приемного устройства да пощелкивал автомат помех, пробуя разные частоты. Наконец видеом мигнул, разгорелся, и в нем постепенно проявилось такое знакомое Грехову усталое лицо с яркими губами, чуть вздернутым носиком и умоляющими глазами. Он замер.

«Полина! Полина... Любовь моя и жизнь моя... и боль моя... Сквозь все чудеса космоса и обыденность работы, житейские мелочи и крупные события, утраты и обретения я пронес твой взгляд с собой. Я сильный человек и ко многому привык в этом щедром на сюрпризы мире, но я слабею, если тень отчуждения, иногда кажущегося, появляется в твоих глазах, бывая уверенностью покидает меня, как кровь израненное тело... Человек жив человеком, и пусть кто-нибудь докажет мне обратное. Я жив всеми друзьями моими, но больше всего я жив тобой... Мы так и не поговорили на Станции, хотя Диего сделал все, чтобы мы встретились. Это, конечно же, он постарался, чтобы ты оказалась здесь, у Тартара. Не без ведома Сташевского, конечно. Хитрые и добрые мои друзья, вам не понять, наверное, что для Полины я только что воскрес. А до этого был год одиночества, год моей смерти, мнимой — для меня, настоящей — для нее...»

Диего покосился на Грехова и сказал:

— Привет связистам. Что нового, Полиночка?

Губы Полины зашевелились, но звука не было. Видеом подернулся рябью помех, очистился, и вместо женского лица в него вплыло лицо Кротаса, с неправильными мелкими чертами, не слишком приветливое, с острым взглядом косоватых светлых глаз.

— Новообразование, — сказал Сташевский в нос и беззвучно чихнул. — Через эпицентр нам не пройти, дайте кратчайший путь.

— Настолько нехорошо? — прохрипел динамик сквозь вой сопроводительной помехи.

— Не пройти даже с гефами, я смотрел. Укажите-ка поточнее, где мы застряли.

— Минуту... — Кротас скосил глаза вбок и стал похож на камбалу с носом. — Вы сейчас... на северном склоне хребта, рядом с перевалом Серого Призрака. До корабля от вас всего восемьдесят девять километров по прямой... Но если по этому перевалу не пройти, то кратчайший путь через другой перевал.

— Другой — это Извилистый?

— Да.

— Благодарю... — задумался Сташевский. — До Извилистого где-то около ста километров? Многовато... Ну а если через Торо-Оро?

— Ты же знаешь... там стоит...

— Город, знаю. Зато мы сэкономим часов шесть-семь. Это не так уж плохо, как ты думаешь?

За экраном заговорили сразу несколько голосов. Кротас, отвечая, покачал головой и сморщился. Говорить и убеждать ему было трудно, он прекрасно понимал Сташевского, риск был велик, но и Святославу принимать решение было нелегко, Грехов прекрасно это видел.

— А нового ничего? — вполголоса спросил Молчанов.

Кротас посмотрел на него одним глазом с экрана, качнул головой. Начальник отдела находился в худшем положении, чем они, он мог только ждать.

— Придется идти через Город, — сказал Сташевский, подводя итог невеселым своим размышлениям, и добавил, как бы извиняясь: — Скоро утро, и, может быть, пробиться через пометы мы не сможем, так вы уж не слишком беспокоьтесь... Сверху танк вам виден, вот и наблюдайте.

Кротас кивал при каждом слове, и лицо у него было несчастное какое-то, хорошо было видно, что он плохо отдыхал и едва ли ел, и Грехов подумал, что зря Сташевский помянул про беспокойство. Беспокойство — фундамент ожидания, а для людей на Станции оно стало основой существования. До тех пор, пока они не дойдут до корабля и не узнают, почему он молчит.

В видео втиснулся знаменитый нос Левады и рыжая его шевелюра.

— Мы тут подготовили еще два «панциря» с танками. Экипажи готовы стартовать в любое время...

— Не надо, — сказал Сташевский грубовато, а Молчанов красноречиво отвернулся. Ни у кого не было гарантий, что и эти десантные корабли не замолчат при посадке, как звездолет. К тому же в случае непредвиденных осложнений они могли и не успеть.

По видеому заструились белые зигзаги и раскололи изображение.

— Что там еще? — недовольно обернулся Сташевский.

— Любопытники, — лаконично отозвался Диего Вирт, тыча пальцем в небо.

Грехов тоже увидел их. Один напоминал своим свечением медузу, двое других — невысказанные комбинации светящихся жил.

Сташевский выключил аппаратуру связи и покосился на пульт тиамата. Связи все равно не будет, пока рядом барражируют эти фосфоресцирующие булыжники. Их излучение создает помехи в любом диапазоне волн, в чем спасатели убедились еще при посадке.

Любопытники не «нападали», покружились на значительной высоте, эскортируемые неизменно сопровождающей их «паутиной», и скоро ушли, растворившись в зеленоватом мерцании беззвездного неба.

— А я ни разу не был в Городе, — сказал вдруг с некоторым удивлением Молчанов. Хотел еще что-то сказать, но посмотрел на Сташевского и передумал. «Неужели он действительно не был в Городе? — подумал Грехов с недоверием. — Или говорит специально для нас, чтобы успокоить, приободрить?» Грехову, естественно, тоже не приходилось знакомиться с Городом, но наслушался он таких историй предостаточно.

Сташевский махнул рукой, Грехов увеличил обороты моторов, и танк полез на крутой красно-коричневый бок каменного кряжа.

3

Он выключил акустические приемники, и приглушенное борготание двигателя умолкло, стало совсем тихо. Только в кабине изредка кто-нибудь шелестел одеждой, да поскрипывали ремни кресел.

Дороги как таковой не было. Танк шел по кромке свежего разлома, потом ухнул куда-то в ущелье и минут двадцать шлепал гусеницами по мелкой речке со светящейся изумрудной водой.

Потом пошла сравнительно ровная поверхность — столообразное плато, на середине которого машина с ходу влетела в облако сизого дыма. В этом дыму не помогло даже локаторное зрение — очередное чудо природы, и Грехов руководствовался только стрелкой ориентаста, чтобы машина шла точно по прямой. Такие дымные подушки они уже проезжали, размеры их не превышали нескольких километров. Означали они спуск в мелкую, но широкую воронку, ровную до удивления. Объяснить их назначение не смог и единственный «старожил» в танке — Молчанов.

При выезде из дыма танк трянуло. Грехов поднял взгляд и увидел над собой гигантскую белую «сеть», медленно уплывающую в дым. И тотчас же громко зашелестели динамики приемника, где-то внутри его заговорили, зашептали сотни голо-

сов, разобрать которые явственно он не мог. Колышущийся край «паутины» еще некоторое время светился сквозь дым, потом растворился в синей пелене. Умолк и шепот.

«Что за чепуха?» — подумал обеспокоенный Грехов. Придержав штурвал рукой, оглянулся. Диего Вирт спал, утонув в кресле. Молчанов позевывал, деликатно прикрываясь ладошкой. Минуту спустя и он задремал, не раскладывая кресла. В кабине царил уютный полумрак, создаваемый рассеянным от светом прожекторов.

«Странно, что еще за шепот? Слуховые галлюцинации?..»

— Отдохни, — посоветовал Сташевский. — Дорога здесь одна — на северо-восток. Надо будет — разбужу.

«Он тоже ничего не слышал?» — расстроенный Грехов уступил место командиру и откинул соседнее кресло, спать захотелось непреодолимо, и уснул он почти мгновенно, забыв о своих «галлюцинациях». Приснилось ему, что стоит он с Полиной в каком-то жутком черном ущелье, отделенный от нее стеклянной стеной. Полина отдаляется, лицо ее тревожно, но молчит, а он бьется в стену, кричит... Полина становится все меньше, тонет во мгле... Потом был сумасшедший бег по гулкому металлическому настилу, впереди мелькало белое пятнышко, и нужно было его не упустить. И снова ущелье, а в нем глубокая черная река, вода бурлит и шипит у стен, он плывет из последних сил, сопротивляясь, но его несет с головокружительной быстротой к громадной пропасти (почему-то он знает, что впереди пропасть), и он ничего не может сделать...

Сделав усилие, Грехов проснулся.

Танк стоял. В кабине все спали, кроме Сташевского. Пржекторы были выключены, но тем не менее какой-то сероватый отсвет лежал на пульте и футлярах приборов. Танк застыл носом вниз на покатоj вершине бугристого вала, уходившего боками в иззубренную пиками скальной гряды темноту. Впереди шел еще один вал, тускло отсвечивающий золотом в свете сигнального фонаря. Вал был сложен из трех слоев лавы и казался отвесным. Сташевский выключил фонарь, и тогда над этим складчатым валом встало серебристым облаком вкрадчивое рассеянное сияние...

— Город? — шепотом спросил Грехов, ощущая, как непроизвольно напряглись мышцы живота.

Сташевский оглянулся, привычным жестом пригладил жесткий ежик волос и уступил кресло водителя. Тепло его рук согрело полукольцо штурвала, и Грехов почувствовал себя уверенней.

Танк нырнул в выбоину, перевалил через цепь плоских бугров в долине между массивами и устремился вверх по базальтовому вздутию. Подъем тянулся долго, почти равномерный и не слишком крутой, как показалось вначале. И, еще не добравшись до вершины вала, они увидели отдельные «строения» Го-

рода. Машина въехала на широкую рыхлую полосу, окаймляющую Город по периметру, и замерла.

За полосой шел странный прозрачно-стеклянный лес... нет, не лес — стена льда, рассеченная частыми трещинами и широкими проходами; стена бугристого, сочащегося тяжелым серосеребристым свечением льда. Наиболее сильное свечение шло от основания стены, выше оно постепенно ослабело, и верх стены уже еле светился, словно подернутый сизо-черным пеплом. Проходы в стене, похожие на ущелья, были не уже улиц земных городов, и все они казались покрытыми влажной отсверкивающей чернотой, которую издали можно было принять за бездонные каналы с черной стоячей водой.

Гулкая, настоженная тишина царила в Городе, придавая гротескному «ледяному» массиву неувимую прозрачность эфемерной жизни.

Грехов невольно замер, поглощенный, пожалуй, самой диковинной из всех картин, виденных им ранее на плакатах других солнц... Из задумчивости его вывел Молчанов, протиснувшийся между креслом и пультом походного вычислителя.

— Ну что, поехали? — вопросительным тоном сказал Сташевский.

Танк пересек открытое пространство до голубоватой стены Города. Тотчас же несколько «паутинок» нырнули к ним с неба, словно возникли из пустоты.

Сначала у Грехова появилось странное и противное ощущение, будто на руках у него по пяти мизинцев. Потом он почувствовал взгляд. В спину или, скорее, отовсюду, со всех сторон на него глядел некто, обладающий миллионом невидимых глаз; некто, владеющий безмерной мощью; наконец, некто невыразимо, до жути чужой, чье равнодушие, грозное и выразительное, затопило все пространство вокруг... И еще он почувствовал, что их присутствие здесь не нужно и нежелательно этому невидимому хозяину Города.

— Застегните ремни, — решительно сказал Грехов. Медлить было нельзя, и на разговоры не оставалось времени.

На корме и на носу танка с рокотом выдвинулись ажурные башенки эффекторов. На миг весь купол башенного экрана заволокло радужной пленкой — и вот уже пятисоттонная машина едва касается гусеницами почвы, основной вес танка приняла на себя поддерживающая силовая подушка. Штурвал послушно ушел в паз, «Мастифф» мягко набрал скорость и вошел в Город.

На первом повороте по непонятной причине вышел из строя автомат магнитных ритмов, Грехов ругнулся сквозь зубы, но танк уже несся по гладкой струящейся черноте «улицы», и реактор работал на форсажном пределе, и приходилось манипулировать эффекторами, заменяя автомат, чтобы танк имел достаточную защиту и в то же время достаточное поддерживающее

поле; и жутко выль гаммарадиометр, уловивший невесть откуда взявшийся очаг радиации; и еще какие-то посторонние звуки дробились в общей звуковой каше, и все это перебивал липкий, обволакивающий взгляд Города, и поэтому временами казалось, что танк плывет в страшной невесомой тишине, а впереди разверзается адская пропасть — и тогда уж вовсе приходилось полагаться на чутье да инстинкты, единственно сохраняющие быстроту человеческих реакций.

Свечение серебристо-прозрачных жил и фигур по бокам дороги слилось в туманную полосу, над которой узкой извилистой лентой текла лиловатая река посветлевшего небосвода...

Двадцать километров, больше трех четвертей диаметра Города, танк прошел на одной звенящей ноте за четырнадцать минут, Грехов уже начал считать себя героем, но тут из-за очередного поворота вывернулся вдруг одинокий любопытник, подгоняемый изогнувшейся конусом «паутиной», несветящийся, черный, похожий на летящий гроб. Сворачивать было некуда, тормозить поздно, и Грехов успел только до предела увеличить напряжение защитного поля. Он ожидал тяжелого удара и фейерверка обломков, однако ничего подобного не произошло. При соприкосновении защитного поля с любопытником на его месте вдруг вздулось искристое желтое пламя, резанувшее по глазам. Танк кинуло вниз и вверх, и обвальный грохот взрыва догнал их уже на повороте. Оглядываться было некогда, Грехов только перекошил плечи, удерживая машину на оси дороги, когда ее толкнула воздушная волна.

— Быстрее! — внятно сказал сзади Молчанов, и потом Грехову показалось, что он оглох.

«Паутина» над ними вспыхнула ослепительным белым накатом, поле поддержки танка тут же село, переброшенное на защиту, танк на полной скорости ткнулся в черную массу дороги и зарылся в нее чуть ли не по лобовую броню...

Грехов ощутил себя состоящим из острых углов, мешающих друг другу. Кто-то лез в него, раздвигая углы, и они скрипели и визжали как металлические. Это настолько поразило его, что он не особенно удивился, обнаружив у себя способность ощущать цветовую гамму. Зеленые огни пульта, например, показались шелковистыми и мягкими, красный аварийный сигнал был шершавым и упругим, как шкура акулы, а серебристое свечение Города казалось рыхлым, сырым и отдавало гнилью...

И вот Город зашевелился. Огромные «ледяные» фигуры его «зданий» задрожали, неуловимо-медленно искажая былые очертания, и стали как бы приближаться, увеличиваться в размерах.

Что-то гулкое сердце отдавалось в ушах канонадой, и сквозь бешеный гул Грехов услышал раскатистый шепот... Все исчезло, звуки, ощущения, мысли, остался шепот, громоподобный раскатистый шепот...

Он медленно всплывал со дна океана, всплывал, как подводная лодка, продувающая цистерны. Потом вылез на жесткий берег и «вылил воду из ушей». Мгновенно вернулась способность слышать, видеть и осязать. Осязать себя почему-то было больно, особенно нос и левую руку. Опасаясь худшего, Грехов косил глаза вниз, заметил кровь на пальцах обеих рук, приподнял их. Правая была цела, а через ладонь левой проходил рваный неглубокий шрам. Нос посинел и распух, по-видимому, в этой экспедиции все удары он принимал на себя. Тут Грехов увидел штурвал с отломанным рогом и все понял. Как же это он умудрился?..

Сташевский приводил в чувство Молчанова, но это был просто обморок. Диего Вирт лежал в кресле бледный, но спокойный.

— А теперь представь, что ты пролетал бы здесь на быстролете, — пробурчал Сташевский, покосившись в сторону Диего. Тот пожал плечами и промолчал.

— Каким же образом мы уцелели? — спросил Грехов, пока Сташевский лечил ему нос и руку без обычного ворчания и поучений.

Сташевский будто не расслышал вопроса, dokonчил, окинул купол башенного крана быстрым взглядом и включил систему видения. Купол растаял, и все увидели совсем светлое лиловое небо с мутными разводами каких-то паров, гладкие вздутия базальтовых потоков, хаос теней в гигантской дуге горного хребта.

А совсем рядом, над вертикальной стеной столбовых скал, ворочался жирный бурый дым, по которому время от времени пробегали багровые вспышки. Над этой стеной кое-где проглядывало что-то черное, видимое как сквозь неплотный серый туман, и Грехов, заметив в том направлении группу зависших «паутинок», понял, что черное — Город. Оказывается, они прошли через него...

Дым над скалами взлетел вверх султанами и выпал пепловым снегопадом. До них долетел сильный треск, как при разряде молнии.

— Как мы оказались здесь? — угрюмо спросил Молчанов, морща посеревшее лицо.

Молчание разлилось, как талая вода, долгое, холодное и мелкое. Ждать ответа было бессмысленно, никто не знал, как они оказались за чертой Города, но они стояли и смотрели на чернеющий дым, растекающийся скользкими тяжелыми струями между шпильями и сосульками скал. Потом Грехов потихоньку врубил двигатель и тронул машину с места. Сташевский, пытавшийся связаться со Станцией, с досадой махнул рукой и нахохлился в своем кресле. Наступило утро, и в атмосферу Тартара

вторгалось обширное возмущающее электромагнитное поле звезды, мощность которого превышала скромные возможности станции связи их «Мастиффа». Только то обстоятельство, что за их движением следили глаза друзей, готовых прийти на помощь, и улучшало настроение.

Танк оставил позади циклопический гребень Кинжального хребта и выбрался на обширное понижающееся плато Рубиновых жил, иссеченное многочисленными трещинами. Трещины походили на борозды, нанесенные исполинскими граблями, они тянулись параллельно между собой по девять-десять трещин подряд, неглубокие и довольно правильные. Танк швыряло и раскачивало, кабине управления передавалась лишь малая доля толчков, но и от них не становилось приятно.

Порода плато отвечивала голубым, иногда встречались целые поля искрящегося «хрустала», при появлении которого начинал верещать счетчик радиации. Временами танк шел будто по дну огромной железной бочки — скрежет и визг камня сменялся гулким дробным грохотом. Одновременно Грехов чувствовал, как тяжелеет тело, и в один из таких моментов Молчанов сказал:

— Масконы.

Это были загадочные концентрации масс — масконы на жаргоне планетологов. Обнаруживали их, как и они, по увеличению гравитационного поля.

Проехали голую пустынную местность, окруженную только близким размытым горизонтом. Край неба на востоке стал чисто оранжевым и светлел теперь на глазах, раскаляясь до желтого свечения. А на западе, куда ушла ночь, все еще стояла фиолетовая темень, сливающаяся с горизонтом.

Голубое плато с пятнами вкраплений, с редкими скалами в виде торчащих пальцев спускалось уступами в обширную котловину, дальний край которой терялся в дымке атмосферы. Где-то там, километрах в сорока, располагались две странные по форме впадины: След Ботинка и Второй След, в одной из которых, во впадине Второй След, стоял один из крупнейших Городов планеты, а рядом с ним корабль с коммуникаторами, конечная цель их пути... Можно было попробовать поймать волну маяка, ту самую, с «...Внимание! Выбрасываю...», но маяк был остронаправленный, аварийный, а мощность его боковых лепестков излучения едва ли пробивала здешнюю атмосферу на сорок километров.

Сташевский чуть оживился, шибко почесал подбородок и сказал:

— Мне кажется, что в тот момент... когда взорвался любопытник... а вы были белые и тепленькие... правда, и я на грани беспамятства держался... — он помолчал, хмыкнул.

— Не тяни, Святослав, — укоризненно произнес Диего Вирт.

— Да... мне показалось, что сверху на нас упал «серый призрак»...

— Серое облако, просвечивающее по краям? — быстро сказал Молчанов.

— Да. Раньше я его, конечно, не видел, но по описаниям...

— Это он. Странно, не первый раз «серые призраки»... — Молчанов прервал речь и замолчал.

Поскольку Молчанов продолжать не собирался, Грехов сам задал вопрос, скорее риторический, чем в действительности его интересующий:

— А что такое вообще Город?

— Заколдованное королевство, — предположил Диего Вирт, — злых волшебников здесь хоть отбавляй.

— По Галкину, это коллективный организм, обладающий интеллектом, — негромко проговорил Молчанов. — Впрочем, так думают почти все ученые. И я тоже, — подумав, добавил он.

— Вот тебе твое королевство, — усмехнулся Сташевский. — Это называется «умерщвление прекрасной гипотезы мерзким фактом»*.

Усмехнулся и Молчанов.

— Ну, до фактов еще далеко.

Грехов передал управление командиру, бодро осведомился об общем аппетите и сходил в отсек питания. Там соорудил четыре двухэтажных бутерброда с тинксом, горячим, только изготовленным, с румяной коричневой корочкой, достал из холодильника четыре тубы с виноградным и гранатовым соком, взгромоздил все это на поднос и понес в кабину.

За время его отсутствия танк вошел в полосу «леса». Растения странных форм, то в виде гигантской шапки пушистых голубых нитей, то в виде множества шаров из спутанной «шерсти» синего или голубого цвета, росли не густо, но благодаря своим размерам создавали впечатление непроходимой чащи.

Сташевский вел машину почти напрямую, и внешние динамики доносили частый треск и хруст, словно они давили стекло.

— Кристаллы кварца, — пояснил Молчанов, глядя на «деревья». — Необычайная кристаллизация, не правда ли?

— Да уж... — отозвался Сташевский.

Через несколько минут «лес» кончился, и пошла полоса рыжей, чрезвычайно рыхлой почвы. Скорость сразу упала, пришлось увеличить тяговую мощность.

Небо потускнело, стало желтым и напоминало теперь пелену размытых дождем облаков, опустившуюся почти на голову. Зыбкое и пухлое светило тихонько всплывало из-за нечеткой линии горизонта, видом своим могущее повергнуть в меланхолию.

Сташевский задействовал новый ориентаст, автоматически направляющий антенну приемопередатчика в сторону Станции,

* Гексли.

попробовал разные режимы, но канал приема полностью перекрывался волнами помех, а слышат ли их на Станции, они не знали.

Танк скатился в узкую долину между грядями кристаллических стометровых останцев и нырнул в облако кисейно-желтого тумана, вернее, не тумана, а дымки, видимость в которой сильно ухудшилась. Вокруг предметов засияли светлые ореолы, затрудняющие ориентирование. Прикинув свои возможности, Грехов перевел систему видения на радарное зрение. На общем экране обозначился неширокий овал, в котором тот же самый пейзаж изменил цвета в самых неожиданных сочетаниях. Дымка исчезла, гася ореолы.

На карте вычислителя вспыхнули координаты танка. До цели осталось немногим более тридцати километров по прямой. Они уже спустились в странную долину, имеющую форму ботинка, нормального человеческого ботинка, только ненормальных размеров. Будто огромный, пятисоткилометрового роста детина прыгнул на планету, оставил два следа глубиной в километр и испарился, заранее посмеявшись над безуспешными попытками людей объяснить форму впадин от его исполинских ног. Со Станции они просматривались довольно четко, и в коридорах Грехов видел рисунки шутников, изобразивших предполагаемый облик великана. Один из них сильно смахивал на Леваду, и, по его мнению, это было не очень остроумно.

— Стоп! — рывкнул вдруг Сташевский страшным голосом.

Грехов еще ничего не обнаружил, но руки сами рванули аварийный тормоз, танк клюнул носом, а под ними внезапно загрохотало, тяжелый гул всколыхнул воздух, и в метре от гусениц раскололась земля, образовав быстро растущую трещину. За минуту под непрерывный гул и сотрясение почвы трещина превратилась в пропасть, противоположный край которой на некоторое время скрылся в пелене багровых испарений. В последний раз дрогнула земля, и гул оборвался. Только из пропасти доносилось клокотание и шипение, будто в огромной бочке кипела и испарялась вода.

Онемевшие, они смотрели на неожиданную преграду и молчали. И продолжение не заставило себя ждать. В глубине образовавшейся бездны что-то рвануло с оглушительным треском, и мимо танка проскользнули в низкое небо огромные ослепительные радужные «пузыри». Автоматически сработали фильтры, погасившие накал «пузырей», заревели внутренние (пробило поле!) счетчики радиации, танк закачало и поволокло от пропасти.

Треск повторился, новая серия «пузырей» пронеслась мимо, и Грехов уже успел заметить, что за каждым из них тенью мчится «паутина». Снова «паутины», вездесущие «паутины», почему-то появляющиеся там, где происходят события! Или события происходят там, где они появляются?..

Грехов выдвинул из верхней башни перископ, заглянул им в пропасть и увидел только яркое свечение, шедшее из неведомых глубин. Свечение было ровным и сильным, и ему показалось, что там еще полно «паутин», теряющихся за пеленой туманного свечения.

Внезапно раздался тот же самый адский треск, из пропасти блеснуло остро и сильно, и радужные шары, словно поддерживаемые «паутинами», один за другим рванулись ввысь. Экранчик перископа погас. В общем экране они видели скрюченный почерневший конец трубы, похожий на носик закопченного чайника.

— Дьявол! — выругался помрачневший Сташевский. — Это-то зачем?

— Может быть, это обращение к нам? — предположил осторожно Диего Вирт. — Предупреждение либо предостережение...

— Нет, — невесело сказал Молчанов. — Шары — это закапсулированные каким-то мощным силовым полем ядерные взрывы. «Паутины» вышвыривают их в космос.

— Зачем? — удивился Диего.

— Зачем — мы можем только догадываться. По теории того же Галкина, шары — продукты жизнедеятельности Городов, отходы, от которых «паутины» освобождают планету. Вообще это очень редкое явление, нам просто повезло...

Сташевский пристально наблюдал за пропастью. Гул поднимался оттуда, тряслась почва. На всякий случай Грехов отвел танк от обрыва метров на пятьдесят и не успел еще остановиться, как глубоко в теле планеты раздался тяжкий грохот, над пропастью взлетел густой рой длинных алых искр, и стены только что созданного ущелья стали сближаться. Сотрясение почвы было не столь велико, как раньше, и они заметили, как в миг соприкосновения стен из узкой щели, оставшейся от ущелья, вымахнул вал оранжевого огня, затем с громким чавканьем стены сомкнулись, резкий толчок подбросил танк на амортизаторах, и путь стал свободен.

4

Они уже порядком отъехали от места искусственного или естественного, неизвестно, катаклизма, а светящийся шнур оранжевого тумана, плотный, как огненное желе, все еще держался над почвой. Он свисался в трубу, дышал, но не расходился, и Грехов понял, почему плато называли плато Рубиновых жил. Пришлось полностью переключить внимание на дорогу, чтобы не свалиться в пропасть при следующем новообразовании.

Сташевский занялся пеленгом и ухитрился-таки поймать знакомое всем «...Внимание! Выбрасываю...», явственно различимое сквозь трески и вой помех. При длительном повторении какого-нибудь слова смысл его теряется, и в конце концов Гре-

хов перестал воспринимать эту надоедливую песню-фразу. Строить догадки можно было до бесконечности, но, по мнению Грехова, это работал неисправный автомат-передатчик, а не маяк, настраивающийся обычно на радиоблеск. Такие бомбовые автоматы сбрасываются разведывательными кораблями в место предполагаемой посадки либо любыми кораблями в случаях аварийных ситуаций.

Грехов повторил мысленно последние слова, и морозный ветер волнения погладил спину шершавыми пальцами. «Черт возьми! — подумал он. — Неужели никто не рассматривал этот вариант — авария на корабле коммуникаторов? Или, может быть, вообще катастрофа?! Но что может случиться с ТФ-кораблем? Самым надежным и мощным земным аппаратом? Почему только это странное созвучие терзает слух в течение уже семи суток? Действительно ли авария на корабле?»

Очевидно, он чем-то выдал себя, потому что Сташевский вдруг внимательно к нему присмотрелся, показал пальцем на динамик, откуда все несло хриплое звучание двух слов, и кивнул. Значит, и он думал о том же. За три года совместной работы они научились понимать друг друга без слов.

В какой-то момент, не запомнившийся своей заурядностью, Грехов привычно отметил для себя появление на горизонте размытой черной горы, подумав при этом, что не пришлось бы ее объезжать. Потом смутное беспокойство заставило его присмотреться к этой горе повнимательней, и, внутренне холодея, он понял, что перед ними Город, тот самый загадочный Город, возле которого должен был где-то располагаться корабль. Не успел он так подумать, как Молчанов вдруг сорвался с места и издал сдавленное восклицание. Танк въехал на вершину длинного увала, и примерно в пяти-шести километрах от Города они увидели корабль. Виден он был плохо, словно сквозь струящуюся воду, однотонно-серый, похожий на толстый карандаш, поставленный на торец, и что-то уж очень длинным казался он отсюда, непропорциональным своей толщине. И тут Сташевский сказал негромко:

— Да он же висит...

И тогда Грехов понял, в чем странность картины. Корабль действительно висел в воздухе, не опускаясь и не поднимаясь, висел совершенно спокойный и в этом спокойствии чужой. Может быть, они стартовали, увидели их и ждут? Но зачем тратить гигаватты энергии на висение? Спокойнее и разумнее дожидаться «сидя»... Что же тогда? Корабль висит с тех пор, как они его увидели, и никакой реакции. Не может же он висеть так долго ради удовольствия...

Но вот они подъехали ближе к пределу ясной видимости пыльной атмосферы Тартара, и стало заметно какое-то движение вокруг трансгала, будто прозрачное пламя мерцало и струилось вокруг него... Грехову сильно захотелось остановить-

ся, особенно после того, как над «карандашом» корабля он увидел несколько обширных «паутин», выгнувшихся куполом над ним. А еще около десятка «паутин» образовали нечто вроде решетчатой стены между близким Городом и кораблем. Снова «паутины»...

Сташевский, очевидно, тоже что-то почувствовал, он посмотрел на водителя как-то странно, искоса, и Грехов сначала замедлил ход, а потом вовсе остановил машину. Местность перед ними понижалась, и уклон этот шел до самого трансгала, висевшего над дном конусовидной низины на высоте шестидесяти метров. Чуть левее от остановившегося танка Грехов заметил грибообразный выступ черной породы, по размерам не уступающий «Мастиффу», задержал на нем взгляд, подозрительным он ему показался, потом увидел еще несколько таких же «грибов», цепочкой уходящих в муть атмосферы.

— Ты что? — спросил Диего Вирт, поворачиваясь к нему.

Молчанов ничего не спрашивал, но и он заволновался, когда прошло несколько минут бездействия, а ничего не изменилось. «Жду еще минут пять», — решил Грехов, и в этот момент из черного «гриба» со звуком вылетающей из бутылки шампанского пробки взметнулся к близко парящему земному звездолету гигантский язык ярчайшего изумрудного огня: пок!

Только благодаря фильтрам цветовидения они не ослепли. Факел огня за секунду вытянулся до корпуса корабля, как бы обтек его, не касаясь самого корпуса, образовав огненный кокон, и тут же втянулся обратно под «гриб». Зато вспыхнул его сосед, такой же «гриб», что и первый, выбросил язык огня, потом следующий, и пошло: пок! пок! пок! — по периметру вокруг корабля. Огонь был холодным, наружный термоизмеритель даже не сработал, зато при каждой вспышке искажался горизонт, искажались все местные предметы, искажалась кабина танка, и по нервам било болезненно и сильно, словно электроразрядами. Собственно, и приборы отметили ионизацию воздуха снаружи, такую, что не бывает даже в эпицентре мощнейшей грозы!

Языки зеленого огня obeжали по кругу возле корабля и исчезли, но в глазах еще долго прыгали темные пятна.

Все произошло так быстро, что Грехов не успел среагировать и вывести машину из опасной зоны, да и вряд ли это помогло бы. Искривлять пространство умеют и люди, достаточно включить генераторы форм или деформатор, но тогда сработало бы силовое поле, сработало очень легко, можно сказать, даже элегантно, без ощутимого изменения масс и полей...

— Похоже, ночью мы видели именно такие вспышки, — мсланхолически заметил Молчанов. — Я не знаю, что это такое. Информблок танка включен?

— Конечно.

— Пробило защиту? — поинтересовался Диего Вирт.
— Не то чтобы пробило... — туманно ответил Грехов.
— Так, — произнес Сташевский. — Нерешительность — симптом неудачи, а идти к кораблю мы обязаны. Или, может быть, кто-нибудь думает иначе?

Границу, вдоль которой расположились испускающие огонь «грибы», они проехали безо всяких эксцессов. Ионизация пошла на убыль, красные огни индикаторов побледнели. Корабль вырастал в размерах. Без отверстий, щелей и мелких деталей серый монолит, он был суров и молчалив, он походил на монумент, на гигантский памятник самому себе, на гору мертвого металла, застывшего невысоко над почвой... Вот такие сравнения лезли в голову Грехову.

Но корабль не мог быть мертвым, он был обязан быть живым, стон его повторялся каждые полминуты: «...Внимание! Выбрасываю...», молчание, шорохи, скрежет, и снова тот же стон или вскрик, повторяемый автоматом, теперь Грехов в этом не сомневался.

До корабля оставалось меньше полукилометра, они все пытались понять, почему он виден как сквозь слой толстого стекла, как вдруг «стекло» это вспенилось и разлетелось в стороны белыми нитями разной толщины. Нити оказались свернутыми в рулоны «паутинами», они вертели карусель вокруг корабля со скоростью, в результате которой «размазывались» до невидимости. Они сделали одинаковый пируэт в воздухе, развернулись и зависли над кораблем лесенкой, одна над другой, а самая первая из них, словно почуяв приближение чужаков, вдруг медленно поплыла к ним и накрыла слабой ажурной тенью. И снова повторился поразительный, сопутствующий появлению «паутин» эффект: «внутри» Грехова забились, зашептали неясные человеческие голоса, он ощутил давление извне на виски, сменившееся покалыванием в затылке, а потом по всей голове. Показалось, что видит он зыбкие прозрачные контуры каких-то предметов, цветные сполохи, накладывающиеся на них, и что-то еще огромное и неразличимое, как омут, в который упал танк. Он сделал усилие, и видение растаяло, только шепот не исчезал и щекотно покалывало кожу на затылке, что было даже приятно.

Мимо них проплыла еще одна громадная «сеть», горб которой опустился низко над почвой. Пришлось взять в сторону, чтобы разминуться с «сетью» на приличном расстоянии. Местность заметно понижалась, танк спускался в глубокую воронку, центр которой, по расчетам Грехова, должен был находиться где-то почти под кораблем. Почва воронки была странного рыжего цвета, будто всю ее покрыла ржавчина, ничего примечательного на ней не располагалось.

Грехов собрался увеличить скорость, и в этот миг его словно вывернуло наизнанку. А когда он очнулся от непонятного за-

быть, оказалось, что танк карабкается вверх по склону воронки, совершенно диким образом повернувшись к Звездолету кормой.

Товарищи выглядели так же потерянно, как и он, и это обстоятельство позволило Грехову сделать вывод, что метаморфоза произошла со всем танком, а не только с ним одним.

— Поворачивай обратно. Попробуем еще раз.

Грехов повернул «Мастифф», на малой скорости покатил вниз, и примерно в том же самом месте властная, но мягкая рука повернула его с ног на голову, подержала и опустила. Танк снова оказался повернутым кормой к кораблю. Они попробовали подойти к нему в другом месте, в третьем, и всюду их ожидало то же самое: непостижимым образом танк оказывался развернутым на сто восемьдесят градусов по отношению к направлению движения. Их не пускали к кораблю. Кто — неизвестно, но способ был настолько прост и красноречив, что не понять его было невозможно.

В последний раз повернув машину, Грехов остановил ее у огромной дыры, уходящей куда-то в недра планеты. Моторы умолкли, и стало очень тихо. Только перед глазами все еще плыло, будто они продолжали двигаться.

5

Три часа пролетели в безуспешных попытках приблизиться к кораблю на расстояние ближе, чем те несчастные сто метров, которые им осталось пройти. Дошло до того, что Сташевский при молчаливом согласии Молчанова испробовал на невидимой, вывертывающей наизнанку стене все виды оружия танка вплоть до тиамата. Разряды лазеров и деформаторов поглощались этой средой бесследно, а луч тиамата, видимый дрожащим голубоватым струением атомного распада, вызвал цепочку ярких зеленых вспышек в висящих этажеркой над кораблем «паутинах». Там, сверху, поднялась тихая паника, «паутины» поломали строй, заколебались, но к ним присоединились свободно плавающие неподалеку собратья, и положение стабилизировалось. На тихий шепот в ушах Грехов уже не реагировал, только иногда ловил себя на других явлениях: то глох беспричинно, то все предметы начинали казаться ему искривленными или плоскими, иногда мутнело зрение. Одно только спасало и отвлекало — он был занят работой.

Перейти магическую границу «перевертывания» они так и не смогли. Радио и телезапросы оставались без ответа, словно взяли в стометровом слое прозрачного, по меркам Тартара, воздуха. Теперь и висение земного звездолета в полусотне метров от почвы их не удивляло, хотя порой Грехов механически задавал себе вопрос: каким способом можно поддерживать почти миллион тонн без осязаемых затрат средств и энергии?..

Светило склонилось к горизонту, наступил тот вечерний час, когда лучи его скользят параллельно земле, воздух кажется запыленным алым туманом и все предметы в нем невесомыми. Небо потемнело, приобрело сходство с малахитовым куполом, который портили снующие в разных направлениях «паутины».

Они решили ждать ночи у корабля, чтобы сообщить на Станцию о положении дел. Предпринимать что-либо без решения научного Совета остерегались, ибо, как выразился Молчанов, «это чревато последствиями, в результате которых мы не сможем наблюдать собственные похороны».

Сташевский настоял, чтобы они поужинали, что и проделали с охотой.

— Желудок есть устройство, — объявил с полным ртом Диего Вирт, — предназначенное для постоянного напоминания человеку о бренности его тела.

— Существования, — уточнил Грехов.

— Тела.

— Существования.

— Ну хорошо, существования. Какое это имеет значение? Хихикайте, если больше ничего не умеете, как сказал мудрец.

— Так его, — одобрительно сказал Сташевский, собирая посуду. Грехов показал Диего, кто он есть, и, так как делать было совершенно нечего, начал пытаться Молчанова вопросами. Отвечал коммуникатор довольно охотно, и за какой-то час Грехов узнал о Тартаре немало нового, с удивлением обнаружив, что и Сташевский и Диего Вирт с одинаковым вниманием слушают рассказ. Молчанов говорил о первых планомерных экспедициях на поверхность планеты, о том, как многие вездеходы и летательные аппараты землян пропадали без вести и некоторые из них находили потом в космосе, за пределами атмосферы Тартара, будто вынутые из-под пресса — так они были разбиты и расплющены. О том, как взрывались некоторые десантные корабли, успевая, как правило, передать, что встретились с роем любопытников. О том, как люди стали осторожнее, перестали отправлять экспедиции на летающих машинах, потом и совсем перестали выходить из кораблей, посылая одни автоматы. Но и автоматы исчезали. Планета казалась населенной настолько агрессивными обитателями, что вмешался спецотдел УАСС и запретил вообще посадки на планету. Ученые вынуждены были довольствоваться только зондами-автоматами и наблюдениями с безопасных орбит: ни «паутины», ни любопытники, ни пластуны и так называемые «серые призраки» никогда не выходили из границы ионосферы Тартара, за исключением тех случаев, когда «паутины» выбрасывали в космос закапсулированные ядерные взрывы.

Но и без прямого общения людей с поверхностью планеты было открыто столько поразительных явлений, что на исследования их не хватало специалистов...

— Масконы, — кивнул Сташевский, — залежи трансуранинов...

— Черные извержения, — добавил Диего.

— Всего не перечислишь, — продолжал Молчанов, порыв которого иссякал. — Много заманчивых находок, из-за которых контакт с аборигенами более чем желателен, но... вы видите ситуацию. Самый мощный из кораблей разведфлота закапсулирован кем-то и чем-то, и мы не знаем ни того, ни другого. И боюсь, не узнаем. Что?

— Узнаем, — пробормотал Сташевский и включил канал связи. Ночь уже вступила в свои права. Город и «паутины» расцветились своей призрачной иллюминацией, напоминающей земные северные сияния, и лишь граненый цилиндр корабля, на треть погруженный в белое облако тумана, видимый в очень удобном ракурсе, казался абсолютно черным. Грехова подмывало спросить Молчанова, знает ли он, где сейчас Грант, командир спасшего его звездолета? Как он к нему относится? Почему вернулся к Тартару, планете, отнявшей у него многих друзей? Как получилось, что из экипажей двух звездолетов, встретившихся на планете, в живых осталось только четверо? Но спросить так и не решился. В это время ориентаст нащупал Станцию, и видеом связи открыл им вход на командный пункт спутника.

Надо было видеть, какой радостью озаарились озабоченные лица людей в зале. Здесь были Кротас и Левада, и Полина, и еще много неизвестных Грехову молодых людей, явно не относящихся к работникам нужной в данный момент специальности.

Экран часто перекрывался волнами помех, это мешали «паутины», а один раз пролетел любопытник, тащивший за собой хвост радиоактивного газа и пыли, в результате чего прием вообще стал невозможен, и пришлось переезжать на другое место, подальше от Города и «паутинок». После того как они сообщили на Станцию всю информацию, какой располагали, там некоторое время совещались, и наконец Кротас, более нервный, чем обычно, — у него подергивалась щека, которую он все время растирал, стесняясь, — сказал глуховатым голосом:

— Вам, наверное, придется суток на двое задержаться на поверхности. Примерно в двенадцать ночи мы постараемся в ваш квадрат посадить глубокий зонд-автомат... — Кротас выслушал подсказку и продолжал: — В него вы положите анализатор поля, физики придадут ему большое значение, добавьте машинный инфорблок и кристаллы записей приборов. Ну а через сутки-двое мы попробуем вытащить вас, если ничего не изменится... Минуту... С вами хочет поговорить заместитель председателя Комитета Коммуникаций, — грустный Кротас уплыл из видеоба, и на его месте проявился рыжий Левада.

— Ну как вы там? — спросил он сдержанно. — «Паутины»

донимают? Мы начали монтаж гравиподъемника, лифтовая система безопаснее. Но возвращать вас на Станцию сейчас — большой риск, чем риск оставить на планете до окончания монтажа. Как только закончится, — это максимум двое суток, — мы пошлем вам специалистов, поможете им разобраться с кораблем. И, пожалуйста... — он как-то с особенным вниманием ощупал их взглядом, — постарайтесь больше не вмешиваться в чужое... движение, обдумывайте каждый шаг и будьте по дальше от всего этого — Городов, «паутин» и прочего. Вы меня поняли?

— Хорошо, — произнес Сташевский. — Тут возникла такая мысль: по каким-то причинам люди покинули корабль, а наблюдатели на Станции этого просто не заметили.

Левада отвернулся от видеомы, снова донеслись голоса, но сидящим в танке была видна лишь шевелящаяся спина заместителя председателя Комитета Коммуникаций. Наконец он обернулся и нашел Сташевского глазами.

— Вы вольны поступать так, как требует обстановка, но в пределах разумного. Я сомневаюсь, чтобы опытные специалисты могли выйти без защитных средств, а любой аппарат наблюдатели заметили бы. Вашу машину, кстати, мы тоже видим, хотя и не слишком хорошо. Так что если связи долго не будет — помогайте прожектором, мы будем знать, что вы... э-э, что у вас все в порядке.

Видеом очистился и со словами «конец передачи» свернулся в белое облачко и угас.

— А теперь спать! — коротко приказал Сташевский, выключил аппаратуру и тяжело поглядел на каждого. — Дежурить будем по очереди. Первым я, потом вы, Эвальд, потом Диего...

Танк отвели от корабля и от Города с таким расчетом, чтобы был виден и тот и другой, включили максимальную защиту и впервые за двое суток пошли в отсек отдыха, к удобным аэрокроватям. Сташевский остался в кабине готовить материалы и аппаратуру к приему автоматического зонда.

Ночь прошла спокойно. Молчанов разбудил их уже утром, около восьми часов, когда тусклая Тина давно вторглась в мутную атмосферу планеты над ними и опоясалась жемчужными голосами. Выходит, время своего дежурства Грехов бессовестно проспал! Но и Диего хорош, не разбудил. Очень благоприятно с его стороны...

Сташевский быстро собрался и вышел, а из кабины пришел Диего и, не замечая недовольства Грехова, пригласил его на разминку. Минут двадцать они упражнялись в отработке некоторых каскадов приемов дзю-до. В результате их упражнений оказалась перебитой одна из консолей подвески отсека и вог-

нута дверца шкафа. Диего, качая бритым черепом, указал на вмятину:

— Это твоя голова...

— А это твой нос, — нашелся Грехов, показывая на консоль.

— Да-а, не везет...

— Не везет — не везет, а потом как завезет!

Они посмеялись немного, потом вспомнили, где находятся, и заторопились в душ.

После завтрака Сташевский рассказал, как он ночью принял ракету-зонд по пеленгу и отправил материалы на Станцию. «Паутины» не мешали, хотя несколько любопытствующих экземпляров приближалось на опасное расстояние. И командир вдруг признался, что при появлении «паутин» он каждый раз слышит неразборчивую человеческую речь.

— Что бы это значило?

— И я слышу, — вырвалось у Грехова.

— Ничего особенного, — равнодушно произнес Молчанов. — Мы называем это «психологированным влиянием». Виновник его, несомненно, неизвестное излучение.

— Вот так, — сказал Сташевский с некоторым облегчением. — Что ж, пожалуй...

— Я думал, вы знаете. Но вот то, что зонд вы встречали в одиночку...

— Ничего, — улыбнулся одними губами Святослав. — Я себя на этот случай обезопасил.

— Зонд не сносило? — полюбопытствовал Диего Вирт.

— Сносило, но он запеленговал маяк танка и вышел по гиперболе почти над машиной. «Паутины» пытались в этот момент подойти поближе, я их отогнал.

Помолчали немного, заново привыкая к угрюмому пейзажу с торчащим из дымной подушки серым пальцем земного звездолета. Здесь все было по-прежнему. Стояла над кораблем лесенка из десятка колеблющихся «паутин», еще около десятка их сплели вогнутую решетчатую стену между Городом и кораблем. Остальные висели или плавали без дела на небольшой высоте, словно наблюдатели. Впрочем, одна деталь местности изменилась: увеличилось количество грибообразных черных выростов, цепочкой окружающих корабль. Явно не к добру.

— Ну так, — шелкнул пальцами Сташевский. — Поедем вокруг Города. Не очень быстро, под сорок...

Грехов кивнул. На равнинной местности «Мастифф» мог бегать в пять-шесть раз быстрее, но надо было смотреть по сторонам, а их было всего четверо, минус сам Грехов как водитель.

Молчанов сел справа от него и вскрыл футляр странного паукообразного аппарата с еще более странным и длинным названием: координатор линий ожидания внезапно появляющейся

информации. Представлял он собой чудо нейристорной техники из специального снаряжения коммуникаторов, и все, что Грехов знал о нем, так это то, будто он что-то прогнозирует.

«Сомнительно, что он нам поможет хоть чем-нибудь», — подумал он с усмешкой.

— Интересно, — пробормотал Диего, очевидно, более знакомый с аппаратурой, и прилепился за спиной коммуникатора.

Чтобы не отвлекаться, Грехов включил внешние акустические приемники, и звуки движения: рокот моторов, хруст гусениц, шорохи и шелест породы под гусеницами — заполнили кабину. Сквозь эти звуки иногда доносились возгласы Диего и невнятное бормотание Молчанова. Сташевский все внимание обратил на деятельность «паутина», рука его выстукивала на подлокотнике кресла кодированное обозначение сигнала SOS.

До обеда они объехали Город дважды по разворачивающейся спирали, не обращая внимания на следующего за ними настырного любопытника. Грехова не покидало ощущение постороннего взгляда, и поэтому ему с трудом удавалось сохранять видимость хладнокровия.

Пообедали в хмуре молчании. Даже Диего Вирт, по обыкновению скупой на рассчитывающий свои движения, хмурился и поглядывал на часы. Подавленное настроение группы держалось до вечера. Уже перед самым закатом Грехов вдруг заметил далеко в стороне непонятный объект. Виден он был смутно, оптика помогала мало, пришлось свернуть с орбиты движения на юг. И тут Грехов заметил, что двигаются они как-то странно: держал он точно на объект, похожий издали на черную запятую, а объект вдруг оказался чуть левее; Грехов повернул влево, но через несколько секунд «запятая» снова сместилась влево, хотя он не касался управления. Он увеличил скорость, снова повернул влево — «запятая» прямо на глазах ушла влево, и на этот раз гораздо быстрее. Создавалось впечатление, что каменный щит под танком поворачивается вокруг оси, и чем быстрее они едут, тем быстрее он поворачивается.

Грехов остановил танк. Ничего, все стоит на местах. Поехали — цепь скал на краю открытого пространства завертелась влево.

— В чем дело? — осведомился Сташевский.

Грехов продемонстрировал ему странное явление и попробовал с ходу миновать площадь, на которой они застряли. Но за несколько секунд танк оказался развернутым на сто восемьдесят градусов и мчался к центру площади. И снова... и снова... Чем ближе к краю, тем быстрее их сносило и разворачивало к центру пустыря. Наконец Грехов выдохся и остановил танк.

Молчание в кабине было красноречивым.

Они оказались внутри заколдованного кратера, стены которого на три четверти состояли из фиолетовых скал, а замыкались черной стеной Города и башней корабля.

— Попробуй еще раз, — нарушил молчание Сташевский.

Грехов попробовал, но с тем же успехом.

— Это вы не проходили? — попробовал пошутить Диего Вирт, обращаясь к Молчанову, теребящему в задумчивости подбородок.

— Нет, — ответил тот серьезно. — С таким явлением сталкиваюсь впервые, и, насколько я знаю, об этом не упоминал ни один из исследователей.

— Все это хорошо, — вздохнул Сташевский, — качественно иное явление и прочее... Однако надо же отсюда и выбираться.

Отдаленный гул заставил всех насторожиться. Гул нарастал, задрожала почва. Еще через полминуты гул превратился в сильный грохот, треснула стена скал, и в образовавшийся пролом скользнула... огромная черная скала, устремившаяся через площадь к Городу. Она пересекла пустое пространство, оставив после себя глубокую дымящуюся борозду, и без следа растворилась в ущельях Города.

Недолго думая, Грехов запустил двигатель и бросил танк вдоль борозды к пролому. Спустя минуту они были уже за пределами странной площади, не выпускавшей их из своих объятий больше часа.

Диего попытался объяснить феномен «плывущим гравитационным полем», но Сташевский попросил Грехова «как бывшего специалиста» уничтожить это «изящное рассуждение», и тот популярно объяснил Диего, что он компетентен в физике гравитации так же, как он сам в черной, а заодно и белой магии. Правда, Грехов тоже ничем не мог объяснить их приключения, несмотря на то, что действительно три года назад закончил Институт физики пространства. Для выводов нужны были экспериментальные измерения, повторенные не один раз.

На ночь танк оставили на том же месте, что и в первый раз. Краски заката быстро поблекли, зато заиграли переливами холодного света «паутины» и Город. Возможно, Грехов был слишком эмоционален для работника УАСС, но в созерцании красочной феерии света он находил истинное удовольствие. Только иногда сознание как бы вспоминало свои обязанности, и становился слышен шепот — не очень приятное напоминание о присутствии иной загадочной жизни. Они уже привыкли к нему, как привыкают и не замечают завывания ветра в непогоду.

Провели очередной сеанс связи. Кое-что изменилось на земном форпосте. К Тартару прибыли энергоснабженцы и экспериментальный корабль, битком набитый разного рода генераторами.

— Намечается эксперимент, — сообщил Кротас. — Физики хотят «вырезать» кусок пространства вместе с кораблем и перебросить его с планеты за пределы атмосферы.

— А мы? — очень своевременно спросил Диего Вирт.

— А вас захватит иглокол. Монтажники заканчивают сборку подъемника, завтра попробуем высверлить канал в атмосфере. А пока вы будете корректировать наводку генераторов для эксперимента.

— Ясно, — отозвался Сташевский, отвечая улыбкой на улыбку Полины, и сеанс закончился.

На этот раз первым на вахту встал Грехов. Четыре часа пролетели незаметно, он даже спать не захотел, поглощенный наблюдениями за действиями любопытников и «паути». Да, они явно что-то готовили, притащили откуда-то еще несколько «грибов», и теперь вокруг колонны корабля образовалась сплошная черная стенка. А уже перед самой сдачей дежурства, — Грехов как раз смотрел на неподвижное облако белого дыма, из которого вырастал корабль, — облако это вдруг с сильным треском опало, и над кораблем всплыла сияющая до боли в глазах «паутина». Она как бы подхватила корабль снизу, края ее полезли вверх, и в конце концов звездолет оказался завернутым в «авоську». Все замерло на некоторое время. Потом «паутина» с долгим шипением расползлась прежним белым дымом, и Грехов, разжав вспотевшие от напряжения кулаки, пробормотал злорадно:

— Что, не вышло, голубчики?

Несколько «паути»-наблюдателей тотчас же убежали к Городу, и, пока Грехов проверял функционирование главных систем танка, одна из них приволокла черный «гриб» и воткнула его выше по склону воронки. Они начинали строить вторую цепочку «грибов». Все это происходило так целенаправленно, что Грехов вдруг понял тех, кто ратовал за присутствие на планете разума. И если он действительно был, то по всем человеческим меркам оказывался за пределами понимания. Ни он, ни люди не понимали друг друга, и неизвестно было, что же требуется для того, чтобы сделать первый шаг к взаимопониманию. Единственное, что вынес Грехов из своего наблюдения, было то, что возня «паути» у земного звездолета указывала на их заинтересованность в нем, то есть появилась надежда на благополучное завершение экспедиции как в самом корабле, так и спасательной.

Разбудив Сташевского, Грехов наскоро пересказал ему все, что видел сам, и попросился расположиться на отдых в кабине. Но командир остался непреклонным, и ему, хотя и с неохотой, пришлось удалиться. Сташевский же сел за передатчик и вызвал Станцию.

* * *

За бортом разгорался день, словно штампованный по заказу, так он походил на остальные тусклые дни Тартара.

За ночь «паутины» построили еще одну цепь из загадочных

грибообразных тел и терриконов, удвоив их количество. Над танком кружили целых три «сети», так что в ощущениях людей преобладало чувство преследуемого оленя. О передачах на Станцию нечего было и думать. Сташевский сказал только, что ровно в шестнадцать по универсальному времени оттуда попробуют проткнуть атмосферу планеты направленным полем, и, если все сойдет удачно, к вечеру они будут дома.

Грехов машинально оглядел небосвод, волокнистая зеленая пелена которого с тесными разводами нависла столь низко над головой, что казалось, над ними висит целая планета, закрытая облачным слоем, и они обращены к этой планете вверх ногами. Вершина довольно близкого корабля виднелась размытой и колеблющейся, будто погруженная в струящуюся воду, и там, на километровой высоте, Грехов увидел темное перемещающееся пятно. Оно медленно плавало на одной и той же высоте, иногда ненадолго замирало на месте, потом снова описывало круги и петли, неторопливо и бесцельно.

— Что это над кораблем? — спросил Грехов Сташевского вполголоса.

— Где?

— «Серый призрак», — посмотрев, пробасил Молчанов. — Неуловимое и чрезвычайно любопытное создание. Галкин как-то нарвался на гравистрелку, и, если бы не «серый призрак», подплывший в этот момент, живым он бы не ушел.

— Я слышал об этом, — сказал задумчиво Сташевский. — Но думал, что это легенда.

— Нет, — сухо сказал Молчанов. — Я был вместе с ним...

— Но как же... — начал Грехов, уловил движение Сташевского и замолчал.

Молчанов усмехнулся.

— Не сверлите его взглядом, Святослав, любопытство его законно. На меня гравистрелок не напал потому, что я в тот момент находился в кабине нульхода.

Что-то он недоговаривал, Молчанов. Грехов понял это по его секундному замешательству, но продолжать коммуникатор не стал, а расспрашивать дальше было неудобно.

Грехов попытался представить вмешательство «серого призрака» при нападении гравистрелки (какова тогда его истинная мощь?!), но наступил один из периодов «сна на ходу», когда ему начинали грезиться странные смазанные картины, скорее всего влияние «паутины», ее излучения на мозг, и некоторое время пришлось провести в борьбе с забывьем. На каждого из них излучение, очевидно, действовало по-разному. «Хорошо бы сравнить ощущения...» — подумал он мимолетно.

В черте корабля сработали какие-то таинственные механизмы, по периметру вокруг его башни замелькали ярчайшие синегринные факелы пламени, искажающие каждый раз контуры звездолета. Через несколько минут вспышки прекратились.

Приборы бесстрастно отметили появление и убыль ионизации, пляску электромагнитных полей.

Грехов привычно отметил время и, размышляя, тихо сказал:

— Не могу понять одного — почему на планету, жизнь которой не разгадана, присутствие разума на которой еще никем не доказано, послали отряд коммуникаторов. С кем они собирались устанавливать контакт? С «паутинами»? С любопытниками?

— С пластунами, — пробормотал Диего Вирт. — Или с «серыми призраками». Не все ли равно...

— Да, в этом вы правы, — вздохнул Молчанов, и узкое морщинистое лицо его помрачнело. — С посылкой коммуникаторов поторопились. Но в данный момент это уже не вина, а скорее наша беда. На Станции в то время было слишком много горячих голов...

— Горячие головы... — по-стариковски пробормотал Сташевский, глядя на ровную колонну корабля. — Горячие головы... Раньше говорили: сколько голов — столько умов, но первых всегда больше. Полное совпадение с действительностью...

В кабине наступила относительная тишина. Но разве сравнишь эту живую пульсирующую тишину с невыразимо холодной и глубокой тишиной целой планеты? Небывалой тишиной, тишиной, казалось бы, абсолютно мертвого мира. Как понять ее, с чем сравнить? Как увязать ее с тем, что мир этот не мертв, что он жив и жив активно? Спустившись со Станции, они из великанов, обозревающих всю планету единым взглядом, превратились в муравьев, ползающих по огромному механизму неизвестного назначения, муравьев, неспособных понять отдельные движения шестерен, пружин и колес и объединить их в целом в понятие механизма. Как можно было говорить о контакте, не поняв, как и с кем его устанавливать?

— Парадокс, — вслух сказал Грехов. Никто ему не ответил.

— «Паутины», — флегматично заметил Диего. — Что-то их много.

Грехов поднял голову — «паутины» уже накрывали танк слабой сетчатой тенью — и почувствовал болезненный толчок в голову и перестал видеть свет.

На какую-то долю секунды он ощутил бег времени. Нет, не бег — сжатую пружину времени. Бездну сжатого до невероятных пределов времени! Что-то происходило вокруг, происходило на всей планете, чувств человеческих не хватало, чтобы заметить это, увидеть, понять. Но прорвалось мгновение, какое-то «десятое» чувство, даже не интуиция — мгновение, когда ритм чужой жизни сам пробился в мозг, заставляя его напрягаться в безуспешных попытках осмысления этой жизни...

Грехов не успел ничего понять, просто ощутил, словно пропасть разверзлась под ним, захватило дух, и тут же он оказался на твердой земле, и нет пропасти, а сердце еще не успелоотреагировать, замерло, когда все уже прошло...

Он никому об этом не сказал. Даже Сташевскому.

«Потом, — подумал он, — на Станции. Когда можно будет перевести это в шутку».

6

В шестнадцать часов по универсальному времени обещанный Кротасом канал прямого безынерционного сообщения со Станцией не появился. Связи тоже не было, все диапазоны, как и прежде, были сплошь забиты помехами.

Вечером Сташевский велел подъехать к кораблю поближе и остановиться невдалеке от двойного ряда часто натыканных «грибов». Невидимая отталкивающая стена все еще была на месте, делать было нечего, оставалось только ждать ночи, когда можно будет установить связь.

Багровое светило наполовину влезло в зыбкий горизонт, заливая долину, Город, корабль, туманный воздух струями алых радуг. В мире ненадолго воцарился рубиновый цвет, перечеркнутый тенью корабля. Потом Тина как-то одним движением ухнула вниз, и наступила вишневая, быстро темнеющая мгла.

Грехов развернул танк кормой к висящему звездолету и тихонько отработал задним ходом вплотную к прозрачной силовой стене, но перестарался, и танк оказался развернутым кругом и пытался уже вверх по склону воронки.

— Не играйся, — проворчал Сташевский, включая приемник. Связь отыскалась почти сразу, как только они переключили антенну на гравийиндукционную решетку.

— «Мастифф», почему не отвечаете? «Мастифф», почему не отвечаете? — заговорил в кабине голос Полины, и в объеме передачи появилось ее милое осунувшееся лицо. Увидев их, она только вздохнула, нашла глазами Грехова и, глядя на него, сказала:

— Вижу вас, «Мастифф», почему молчите?

— Все нормально, мышка, — сказал Сташевский. — Давай нам начальство.

Полина уступила место смуглому горбоносому человеку с близко посаженными ярко-желтыми глазами. Сташевский и Молчанов почтительно склонили головы, Грехов с некоторым запозданием сделал то же. Это был Банглин, председатель Комитета Коммуникаций.

— Корабль все еще молчит? — спросил он, быстро ощупав их своими пронзительными глазами.

— Молчит, — ответил Сташевский. — Пройти к нему не можем...

— Знаю. Как ведут себя «паутины»?

— Сопровождают каждый наш шаг. Но защитное поле помогает, хотя и не в полной мере. Любопытники более опасны,

— А «серые призраки»?

— «Призраки» контакта с нами не имели, хотя в этом я не уверен.

— То есть? Как вас понимать?

— При переходе через Город мы встретились с любопытником, и... в общем, мне показалось, что вынес нас из Города «серый призрак». То есть не нас, а весь танк.

— Это весьма интересно, — оживился Банглин. — А не мог автомат записать эту информацию на машинный информблок?

— Не знаю, не задумывался. Информблок мы отослали с зондом.

Банглин потускнел.

— Ах да... Дело в том, что зонд не вернулся...

Грехов переглянулся с Диего. Наступила короткая тишина.

— Так, — Банглин поморщился и продолжал: — Ваше пребывание на поверхности считаю нецелесообразным. Эксперимент с «вырезанием» корабля откладывается, мы получили новую информацию от соседей... На планете не должно быть людей. Готовьтесь, через десять минут мы включим тоннель и опустим по лучу иглокол. Все понятно?

— Как будто все...

Банглин внимательно посмотрел на Сташевского и сжал губы в одну линию.

— Хорошо. Ждем вас здесь.

Видеом опустел.

— Давай, — скомандовал Сташевский, но Грехов уже и без него дал ход, и танк загрохотал по каменным волнам.

Столб направленного излучения появился точно через десять минут, заметный, как дрожащий поток жаркого воздуха, искажающий свечение Города. Столб колебался, не стоял на месте, танцевал. То ли его сбивало общее поле планеты, то ли было трудно поддерживать фокусировку луча на таком расстоянии... Гравиподъемник на Тартаре использовали впервые, и Грехов с тревогой подумал, что никто не знает, какой реакции ждать при этом от неведомых обитателей Тартара.

Первым на отдаленный низкий гул, последовавший за появлением силового тоннеля, обратил внимание Молчанов. Он коснулся плеча Сташевского, тот предостерегающе поднял руку, и в этот момент произошло непонятное: слой почвы, в которую упирался силовой луч подъемника, вдруг лопнул с оглушительным грохотом, края разлома задрались вверх, и из-под почвы ударила черная струя. Грехов, спохватившись, помигал прожектором, но было уже поздно. В вышине загорелась желтая звезда — лазерный прожектор иглокола, со Станции уже начали спуск спасательного шлюпа.

Новая волна грохота: еще одна струя взметнулась ввысь и достигла корабля. В том месте что-то ослепительно вспыхнуло, и иглокол стал валиться на Город, оставляя за собой трассу

гаснувших желтых огоньков. Через несколько секунд донеслось долгое раскатистое рычание.

— Черное извержение! — прошептал Диего.

Они уже неслись на полной скорости, так что за кормой вздулась полоса пыли. А из странного разлома вдруг с воплем плюнула еще одна черная струя, вздымаясь на неведомую высоту. На Станции догадались выключить канал подъемника, и растущий черный столб оборвался и стал падать с неба исполинскими черными брызгами, одна из которых, размером в гору, чудом миновала танк.

«Паутин» объявилось необычайно много, они суетились в воздухе, не замечая танка, но Грехову наблюдать за происходящим было некогда, и он не увидел, чем кончилось жуткое в своей мощи и непонятности явление.

Танк с ходу углубился в первую из «улиц» Города, уходящую черной лавовой рекой в глубь призрачного, насыщенного голубоватым туманом свечения массива. Здесь тоже ронились «паутины», большинство их унеслось к месту падения иглокола, остальные выстраивались в одну громадную сеть, накрывающую Город сверху. Почему-то взгляд Города был легче переносим, а может, люди отвлекались от анализа своих ощущений. Во всяком случае мозг справлялся с влиянием постороннего психотронного излучения. Приемники перестали греметь, и в ватной шелестящей тишине они вдруг услышали... плач ребенка! Это было странно и чудовищно! Откуда в Городе мог оказаться ребенок?!

Сташевский перешелкнул диапазоны и присвистнул. Плач, вернее, тоненькое тоскливое завывание царило на всех несущих волнах. Более того, «плач» слышался со всех сторон, брать пеленг было бессмысленно.

Они так и не разобрались, что это было, эхо ли передачи со Станции, фокус необычной помехи или еще что-то... Крупная вибрация потрясла вдруг Город. Откуда-то снизу, из таинственных его глубин, послышалось низкое мощное гудение. Сразу в нескольких местах раздались гулкие сильные удары — взрывались «паутины».

Грехов взглянул на пульт и ужаснулся. В пространстве происходило светопреобразование! Приборы показывали безумную пляску силовых полей, невероятную плотность излучений! Давление за бортом то падало до нуля, то подымалось до величины внутризвездного! Температура менялась каждую секунду!..

Но на все это ему было наплевать, главным было то, что в центре пульта смотрел на него злобный рубиновый глаз: защита реактора давала сбой, поле не держало, пульсировало, что-то его расщепляло, и растерявшийся автомат быстро-быстро переключал генераторы с основного на дублирующий.

Сташевский оценил опасность быстрее Грехова.

— Из танка, быстро! — гаркнул он и одним движением отбросил Молчанова к люку.

— Зачем?! — изумился тот.

Грехов притормозил. Диего Вирт молча подтолкнул растерявшегося коммуникатора к выходу и махнул на прощание рукой.

«Дружище, пришла твоя очередь действовать самостоятельно...» — мелькнула у Грехова мгновенная мысль.

Танк снова мчался над струящейся чернотой «улицы», под ним грохотало и гудело, и впереди уже показались редкие клубы серого дыма: где-то догорал улавший иглокол. Две блистающие фигуры уменьшались в размерах и скоро исчезли за поворотом.

Сташевский пытался что-то сделать с настройкой защиты, но рубиновый глаз пылал неудержимо, до взрыва оставались, может быть, какие-то мгновения, и Грехов все увеличивал скорость, словно пытаясь убежать от самого себя, от своих мыслей и страха.

На одной из «улиц», пересекающих дорогу, догорали остатки разбитого десантного шлюпа, они проскочили мимо, но Сташевский крикнул: «Стой!» — и Грехов остановил танк.

— Беги!

— Нет!

— Да беги же!..

Сташевский вдруг схватил Грехова за плечо, и все его сто с лишним килограммов вылетели из кресла.

— Я прошу тебя, Габриэль, — почти беззвучно сказал он.

Никогда Грехову не забыть его лица, когда он говорил свое: «Я прошу тебя, Габриэль...»

Внутри его словно что-то сломалось. Он не помнил, как выбирался из кабины, а когда оглянулся, танк был уже далеко. Наконец скрылся за поворотом, а Грехов все смотрел ему вслед сквозь набегающие, будто от злого ветра, слезы. Странно, что «паутины» не обратили внимания на столь удобную для них цель: ас забыл включить генератор защитного поля, горб которого весомой тяжестью давил спину. Он только смотрел и считал вслух секунды. А потом ослепительный свет вспыхнул над Городом, выжег все тени до смертельно яркой белизны и коснулся лица жарким дыханием.

— Святослав!.. — прошептал Грехов похолодевшими губами. — Святослав...

А Город сотрясаясь, вибрировал, стонал, качались полупрозрачные стены «зданий», растрескиваясь под аккомпанемент сатанинского грохота и скрежета, низкий гул взрыва расплзался ущельями «улиц», свистящими вихрями пролетали над Городом стаи «паутинок». Пурпурный смерч возносился в небо. Яркий, веселый и страшный смерч...

Грехов сделал шаг, и в это время из стай «паутинок» над го-

ловый выпал «серый призрак» и опустился сверху. На один миг необычайная глубина раскрылась перед Греховым. Словно распахнулись врата в иной мир, в совершенно чуждый ему мир иной гармонии... Вселенная качнулась и закружилась вокруг него... И он услышал, и не только он — услышали и Диего Вирт с Молчановым, успевшие покинуть Город, и услышали люди на Станции...

— Разумные, остановитесь! Не все дороги познания ведут к мудрости, задумайтесь над этим! Мы не готовились к контакту с вами, так получилось, что пришла пора вмешаться. Вы довольно оперативны и последовательны, люди, мы недооценивали вас.

Мы, те, кого вы называете «серыми призраками», исследуем жизнь данной планеты не один век, но и до сих пор она во многом загадка для нас. А вы... вы пытаетесь решить эту проблему одним мгновенным усилием, вы спешите, падаете, расширяетесь, и нам все чаще приходится обращать на вас внимание, отрываться от своих задач и дел.

То, что вы называете Городами, — это континуум более сложного порядка, чем пространство, это иная вселенная, разумные существа которой, со своей стороны, пытаются установить контакт с нами.

Ваше же появление на планете изменило условия существования Городов, вы не владеете теми видами полей, которые не приводят к их дестабилизации, и при вашем появлении Города распадаются. Вы, не ведая того, уничтожаете мир, населенный самыми древними из существ, ушедшими в своем развитии даже от нас на миллионы лет!

Ваши попытки осмыслить жизнь Тартара понятны и естественны, но вы еще не готовы к контактам и должны уйти с планеты. Задумайтесь над сказанным, разумные. Удачи вам на долгом пути!..

Вся передача длилась мгновение — кто бы они ни были, «серые призраки», в развитии они действительно намного опередили человечество. Грехов еще не успел прийти в себя, как почувствовал, что он в полете. Мелькнул и остался в стороне Город, приблизились скалы, и его бережно опустили на рыжую почву. «Серый призрак» взмыл вверх и исчез, а от скалы вдруг отделился металлический гигант и приблизился к Грехову. Это был Вирт.

— Жив? — спросил он с какой-то странной интонацией. И Грехов понял.

— Нет... — почти зло ответил он. — Они не успели его... Из-за скалы вышел Молчанов, подошел к ним, внезапно обнял их за плечи, и они, не сговариваясь, посмотрели вверх, в зыбкую черноту ночной атмосферы Тартара, за которой где-то их ждали в тревоге товарищи. Земляне...

ФАЛАК

1

Низко плывущие над полями тучи то и дело принимались сеять холодным дождем, а когда заляпанная грязью машина въехала на окраину Булакбаши, пошел снег. В белой мгле потонули бурые холмы, лепящиеся по уступу речного берега саманные домики, и только голые ветви деревьев протягивались к дороге из снежной круговерти, как просящие милостыню руки.

Султан не отрывал взгляда от дороги, бежавшей под колеса машины, а сидевший рядом Асад в который раз уже пересказывал историю саркофага:

— Я уже домой собирался, а тут звонок. «Товарищ Муллаев, это из Булакбаши вас беспокоят. У нас какой-то ящик нашли — экскаватор рыл на старом кладбище и вывернул каменную плиту. Подошли посмотреть, а там буквы старинные...»

Плита была опоясана вязью арабских букв. Присев возле находки на корточки, Султан указал на еле заметную полосу, идущую вдоль саркофага:

— Шов замазан. Значит, крышка не сдвинута.

Асад склонился рядом и провел ладонью по шероховатой поверхности саркофага:

— Сколько же ему лет? Похоже, тимуридских времен.

Когда находку очистили от глины, Султан, медленно обойдя саркофаг, перевел опоясывающую его надпись:

— «Мир праху высокоученого Шамсибека, сына Исмаила, убиенного дервишами в ночь лунного затмения восьмого дня месяца хамола 835 года хиджры*. Аллах рассудит, чья правда... Воздвигнута гробница сия повелением всемудрого, всеблагого Улугбека, сына Шахруха, в тридцать девятый год его правления...»

* 1448 год.

Через несколько дней в Академии наук Узбекистана состоялось обсуждение булакбашских находок.

— Дорогие коллеги, — сказал Султан Умрзаков. — Мне выпала честь рассказать вам о самом замечательном археологическом открытии нашего времени.

Зал отозвался на эти слова возбужденным гулом.

— В одном из саркофагов, найденных в Булакбаши, обнаружено великолепно сохранившееся тело ученого Шамсибека, погибшего от рук религиозных фанатиков, современника и, судя по некоторым данным, сотрудника великого астронома Улугбека. При погребении труп убитого был погружен в мед, а кроме того, из саркофага был полностью выкачан воздух. В соседнем захоронении найдены останки жены Шамсибека, к тому же в ее гробнице обнаружен уникальный шелковый платок, очень напоминающий современный фалак — обязательную принадлежность приданого невесты. Но если знакомый нам всем фалак представляет собой симметрично расположенную по голубому фону россыпь цветов или цветных кругов, то рисунок платка из саркофага Махфузы сильно напоминает схему движения планет вокруг Солнца. Об этом говорит, на мой взгляд, то, что в центре этого «фалака» изображено золотое солнце с лучами, а не стилизованный цветок, как на современных фалаках. И предполагаемые «планеты» расположены вокруг этого солнца не симметрично, а так, как изображал их на своей гелиоцентрической модели Коперник. К тому же размеры этих планет относительно друг друга в точности соответствуют нашим сегодняшним представлениям о величине планет солнечной системы...

Профессор Биохимического института Ахмад Закиров говорил о том, что саркофаг Шамсибека являет нам неизвестный прежде способ захоронения в меду... История знает, что тело Александра Македонского, умершего в Вавилоне, было доставлено на родину в особой ванне с медом, но находок, подобных булакбашской, мы еще не встречали. Сразу после вскрытия саркофага мед имел прозрачно-желтый цвет, но уже через несколько минут посерел и кристаллизовался. Внутренности Шамсибека, в том числе и кишечник, с большим искусством были также заполнены медом, так что в нашем распоряжении оказалось совершенно нетленное тело человека, умершего почти шесть веков назад. Анализ меда выявил, что в его состав введен какой-то консервант, пока не поддающийся определению.

Но самое сенсационное сообщение сделал биофизик Джахангир Алиев:

— Присутствующие здесь знают, что в нашем институте уже много лет ведется работа по созданию элалломы — электронного робота, способного «снимать» с клеток коры головного мозга весь мир мыслей и чувств человека. До сегодняшнего дня наша задача представлялась нам узкопрактической — помочь

криминалистам восстанавливать по «воспоминаниям» погибших картину преступления. Это ограниченное применение элалломы диктовалось причинами физиологического свойства — клетки человеческого мозга начинают распадаться уже через несколько часов после смерти, и восстановить картину жизни погибшего возможно только в том случае, если его мозг будет заморожен после смерти или сохранен еще каким-либо образом... Первые опыты, проведенные нами, позволили узнавать мысли и зрительные образы людей за несколько секунд до их гибели. Элаллома может пока воспринимать только самые яркие, лежащие «на поверхности» мозга впечатления, относящиеся к последним моментам его жизни. Для того чтобы проникнуть дальше, в глубь виденного и осмысленного человеком, нам предстоит проделать еще огромную работу... Мозг Шамсибека сохранился достаточно хорошо, и это дает нам надежду на восстановление если не всех, то самых важных обстоятельств его жизни, наиболее сильно запечатлевшихся в сознании ученого. Нашему электронному мозгу нужно колоссальное количество энергии, которое можно сопоставить лишь с энергией, потребляемой мощнейшими ускорителями элементарных частиц. Успех работы зависит от того, сочтет ли Академия наук возможным отпустить нам на создание совершенной элалломы необходимые средства.

После горячих и долгих споров академия разрешила эксперимент,

Через два месяца новая элаллома была в основном смонтирована. Ее аппаратура помещалась в нескольких залах подвального этажа института. Джахангир Алиев, озаряемый россыпью разноцветных огней, бегавших по пультам управления, сновал из помещения в помещение, везде находя себе дело. Все последние дни перед опытом он спал урывками, а о еде вспоминал только тогда, когда жена напоминала ему об этом по телефону. Лицо ученого осунулось, на лбу прорезались глубокие складки. Друзья говорили ему: «Ты никак готовишься стать следующим объектом экспериментов для элалломы? Плюнь на все и выберись на неделю в горы — отоспись, бездельничай...» Джахангир с улыбкой отмахивался: «Вот закончим с работой — на два месяца уйду в личную жизнь. Тогда клещами меня не вытащите из санатория».

Наконец настал день, когда Алиев смог доложить, что элаллома готова к опыту.

— Вы думаете начать в ближайшее время? — спросил президент академии.

— Мы можем приступить к опыту хоть сейчас. Но без специалиста по истории средневекового Востока не обойтись. Элаллома «снимет» все впечатления и образы сознания Шамсибека в обратном порядке, и воспроизводить их мы будем пос-

де записи в ячейках памяти электронного мозга, «прокручивая» в хронологической последовательности. Вот здесь-то и необходим знаток истории мусульманского мира — ведь то, что для Шамсибека было привычной повседневностью, для нас, незнакомых в деталях с условиями тогдашней действительности, может оказаться совершенно непонятным... Я предлагаю, чтобы группу возглавил академик Джамшид Акбаров, могущий скорректировать наши впечатления. А вести дневник эксперимента будет молодой писатель Тулкун Мансуров...

II

К медресе * подошел, ведя на поводу лошадь карабаирской породы, молодой человек в новом шелковом халате. Остановившись, он завороченно оглядел здание. Огромное сооружение с четырьмя куполами и двумя минаретами поразило его. Вспомнились слова отца: «Когда минуешь дворец султана, увидишь стоящие друг против друга медресе и ханаку **. Их красоте, как говорят мудрые, завидует само небо...» Путнику казалось, что бирюзовые купола медресе сливаются с пронзительной голубизной вечернего неба и что громада здания, покрытая паутиной орнаментов, поддерживает не только эти купола, но и весь небосвод. И чудилось: под его тяжестью напряженно гудит земля. Глазурь на стенах и минаретах пламенела в лучах заходящего солнца...

Юноша направился навстречу вышедшему из медресе статному бородачу в длинном халате, с большой белой чалмой на голове. Почтительно поздоровавшись, путник услышал в ответ сказанное нарспев приветствие и тогда сказал:

— Уважаемый, не сочтите за дерзость, но я хотел бы видеть одного из воспитанников медресе...

— Кого именно?

— Муллу *** Абдулвахаба.

— Абдулвахаба?! — Бородач нахмурился и каким-то новым взглядом оглядел юношу с головы до ног. — Кем он вам приходится? Не брат ли?

— Нет, мы просто односельчане. Хочу передать ему весточку от отца.

— Абдулвахаба здесь нет, — сказал мужчина после недолгого размышления.

Молодой человек вопросительно смотрел на него.

— Ваш земляк проявил черную неблагодарность... — нехотя начал бородач. — Он был достоин виселицы, но, благодаря всевышнему, великий султан помиловал его... Учебе он предпочел безделье... Абдулвахаб ушел из медресе.

* Мусульманское духовное училище.

** Пристанище дервишей.

*** Образованный человек.

— Он вернулся домой?
— Вы можете найти его в ханаке.
— Здесь? — Юноша кивнул в сторону ханаки, расположенной против медресе.

— Нет, сюда он не заглядывает. Поищите его на окраине...

До вечерней молитвы оставалось еще немного времени, и молодой человек решил прежде всего договориться о месте в караван-сараях. Отправляясь в Самарканд, он рассчитывал на помощь Абдулвахаба: земляк в чужом городе — немалое подспорье. Теперь же приходилось обходиться своими силами...

Земли их родителей лежали рядом. Но угодья отца Абдулвахаба были в несколько раз больше. На его полях работали многие жители кишлака. А по предгорьям — от Андижана до Оша — паслись его стада... Шамсибек учился с Абдулвахабом в одной школе; сын бая уже тогда не отличался усердием и сообразительностью. Но тем не менее, повинаясь воле отца, он отправился в столичное медресе. Устроив сына, Байбува вернулся в свой кишлак очень довольным. С тех пор его отпрыска именovali не иначе как «мулла Абдулвахаб»...

Оставив лошадь в конюшне, молодой человек занял одну из верхних комнат. Затем спустился во двор и, умывшись из медного кумгана, отправился на молитву.

Дорогой он разглядывал всех встречающих в надежде отыскать знакомое лицо. Но Абдулвахаба не было видно ни на улице, ни в многолюдной мечети.

Прочтя молитву, юноша провел ладонями по лицу и вместе со всеми стал пробираться к выходу. Возле минарета он увидел двух дервишей и направился к ним в надежде разузнать про своего школьного товарища. Он уже открыл рот для приветствия, как один из дервишей воскликнул:

— Шамсибек!

Молодой человек с удивлением узнал в исхудавшем, почерневшем оборванце Абдулвахаба. Кожа на его выпирающих скулах шелушилась, глубоко запавшие глаза лихорадочно блестели...

Обнявшись, земляки отправились в ближайшую чайхану. Абдулвахаб был оживлен: не каждый день удается встретить односельчанина! Шамсибек же был опечален: в этом высохшем дервише почти ничто не напоминало о жизнерадостном и цветущем парне, который шесть лет назад покинул родной кишлак. Усевшись возле хауза *, приятели некоторое время молчали. Наконец Шамсибек спросил:

— Ты бросил медресе?

— Я отрекся от богопротивного суемудрия, насаждаемого

* Бассейн.

служителями преисподней! — вскричал Абдулвахаб. — Но вера в загробное воздаяние привела меня к пиру*. Блажен испрашивающий у всевышнего милости для людей — нет дела почетнее, чем вседневное, всечасное служение аллаху!

Чуть заметно улыбнувшись, Шамсибек сделал глоток зеленого чая из пиалы. Затем, глядя прямо в глаза дервишу, прочел:

Ты сам ведь из глины меня изваял! — Что же делать мне?

Меня, словно ткань, ты соткал. — Что же делать мне?

Все зло и добро, что я в мире вершу, ты сам предрешил,

Удел мой ты сам мне на лбу начертил! — Что же делать мне?

Пиала запрыгала в руке Абдулвахаб. В глазах его поплыл мрачный огонь.

— Побойся аллаха! — громко произнес он. — Моли его: да отпустит он тебе это прегрешение!

Сидящие на соседней суфе** с любопытством посмотрели в их сторону.

— О чем ты говоришь? — невозмутимо отвечал Шамсибек. — Это слова Омара Хайяма. Ведь поэт говорит: все, что ни есть в мире, все от бога. В том числе и наши грехи, и наши добрые дела. Какая польза в том, чтобы, предавшись богомолью, отречься навсегда от веселья? Разве не грех губить напрасно свою жизнь?

— Придержи язык! Не следуй наущению служителей ада!

— Пусть это слова чертопокклонника, а праведный путь — это путь духовного совершенствования Ходжи Ахрора. Но как же быть с твоими прежними занятиями? Неужели стяжание знаний — грех?

Абдулвахаб неприязненно взглянул на земляка, но промолчал. Разговор их прервался. Шамсибек посматривал на посетителей чайханы, а дервиш, уставившись в землю, перебирал четки.

Чайханщик принес свежего чая. Абдулвахаб поднял глаза на земляка:

— Зачем пожаловал в Самарканд?

— По велению его величества султана... А причины этого я и сам не ведаю.

— Придется тебе отправиться в Кухек.

— Что это такое?

— Султан проводит там почти все свое время. По ночам он беседует с чертями...

— Не понимаю.

— Он считает звезды.

— И далеко этот Кухек?

— Рядом.

* Духовный наставник.

** Земляное возвышение.

— Проводишь меня туда?

— Хорошо. Отправимся пораньше.

Утром они встретились возле мечети. Поздоровались довольно холодно. У Абдулвахаба не было лошади, поэтому Шамсибек зашагал с ним рядом, ведя своего карабаира на поводу. По дороге дервишу то и дело подавали — кто кусок лепешки, кто монету. Шамсибек чуть приотстал и следовал за Абдулвахабом, пока не вышли из города. Подойдя к небольшой речке, земляки свернули в придорожную чайхану. Умывшись холодной водой из арыка, они уселись на суфе под сенью ивы. Курносый хромой мальчик в выцветшей тюбетейке принес чай и лепешки.

Один из старцев, сидевших на суфе возле арыка, взял в руки тамбур *. Послышалась протяжная печальная мелодия. Круглолицый мужчина присел рядом и, положив на колено тюбетейку, негромко запел:

*Кто губам прекрасным улыбку беспечную дал,
Кто в удел скорбящим печаль сердечную дал?
Пусть он нам не дал счастья, — довольно с нас и покоя,
Ибо многим он слезы и муку вечную дал.*

Шамсибек заслушался певца, но Абдулвахаб тут же нарушил его сосредоточенность:

— Боже праведный! Мусульмане веселятся, не помня о будущем воздаянии!

Дервиш забубнил что-то непонятное, перебирая четки. Вдруг он пронзительно взглянул на Шамсибека:

— Дух царственного Кусамы ** проклял нашего султана!

— Замолчи!

— Нет! Всякий правитель обязан ежегодно посещать могилу святого. А наш владыка нарушил в этом году священный обычай. Он счел унижительным для себя преклонить колени перед царственными останками...

— Откуда ты это взял?

— Наш мухтасиб *** Саид Ашик молился в мечети, как вдруг среди ясного неба прогремел гром, а над дворцом сверкнула молния. С могилы праведного Кусамы поднялась его тень и, взглянув на мухтасиба, сказала: «Султан Улугбек пренебрегает святыми могилами — он испытывает волю аллаха. Оповести об этом мусульман. До тех пор, пока самаркандцы не смоют кровью этот грех, их будет преследовать рок!..»

В этот миг чья-то мощная рука опустилась на плечо Абдулвахаба. Овернувшись, дервиш увидел перед собой искаженное гневом лицо сипаха ****.

* Музыкальный инструмент.

** Султан. Родственный пророка Мухаммада, похороненный в Самарканде.

*** Лицо, наблюдающее за исполнением религиозных обрядов, предписываемых шариадом.

**** Придворный военачальник.

— Ну-ка пойдем со мной. Пусть султан услышит твои новости, — плечистый воин хорошенько тряхнул Абдулвахаба и указал ему на дорогу. Потом взглянул на Шамсибека: — Ты тоже пойдешь.

Абдулвахаб сразу прикусил язык и, втянув голову в плечи, последовал рядом с сипахом. Сидевшие в чайхане пытались было вступить: «Грех трогать дервиша!», «Отпусти слугу аллаха!» Но силач отвечал на это: «Если он настоящий дервиш, то пусть молится за род людской, а не грязнит священное имя».

Стража у ворот дворца беспрепятственно пропустила их — сипах имел, видимо, право свободного входа и выхода. Пройдя через роскошный сад, они оказались перед удивительным сооружением. Это было внушительное здание, окруженное колоннадой, поддерживавшей плоскую крышу террасы. Чуть дальше переливался на солнце прозрачный купол Хрустального дворца. Шамсибек на минуту замер перед колоннадой точно так же, как накануне перед медресе Улугбека. Толкнув его плечом, сипах сказал:

— Это Чилустун *. Пошевеливайся.

Пройдя еще немного в глубь сада, сипах передал дервиша и Шамсибека какому-то чиновнику в золотистом халате и на несколько минут исчез. Вернувшись, он повел своих арестантов назад к Чилустуну.

Теперь здесь было много народу. Вся терраса была заполнена богато одетыми вельможами, посреди которых восседал на ковре пожилой человек в голубом халате и с небольшой белой чалмой на голове. Шамсибек ощутил сильный тычок в спину и склонился перед террасой.

Когда юноша вновь поднял голову, он встретился глазами с проницательным взглядом неброско одетого человека и угадал, что перед ним сам султан...

— Зачем ты привел этих людей, Камариддин? — спросил горбоносый седобородый старец, сидевший ближе всех к Улугбеку.

Сипах поклонился, отступив на шаг, и произнес:

— Почтеннейший, эти псы поносили имя великого султана...

Улугбек пристально посмотрел на дервиша и усмехнулся:

— Ты привел старого знакомого. Только раньше он ходил в одежде слушателя медресе... Ну что ж, он нашел, может быть, свое призвание... Так о чем он говорил?

— Он жаждет крови... — сипах не решился говорить дальше. Но Улугбек и так все понял — это было ясно по его насмешливому взгляду, устремленному на дервиша.

У Шамсибека похолодело внутри. Он ожидал, что султан вот-вот разразится гневом, и даже зажмурился от страха. Но, к своему удивлению, услышал негромкий смех Улугбека.

* Дом с сорока колоннами.

— Всего лишь? Выходит, ты напрасно побеспокоил божьего человека, — султан весело посмотрел на сипаха. — Ну-ка расскажи нам, Абдулвахаб, с какой целью ты надел эту лохматую шапку и рубище.

— Дабы молиться за правоверных и приуготовляться к жизни вечной...

— Благая цель! Но ты забыл, что каждое слово дервиша тотчас достигает престола всевышнего. А значит, за словесный грех тебя постигнет тяжкая кара...

— Да сохранил меня аллах от всякого слова лжи. Забота о спокойствии мусульман, я возвещал им изволения царственного духа...

— Оставь мне заботу о подданных аллаха. И скажи, как тебе стали известны веления святого? Ты сам видел его?

— Его видел мой пир.

— Ах, он избрал в собеседники твоего пира! Бьюсь об заклад, что больше никто не видел тень святого... Сам всевышний свидетель — в тот день я молился у могилы Шахи-Зинда... * Можешь сам выбрать себе наказание...

За дервиша ответил сипах:

— О шахрияр, у нас не найдется такой толстой плети, которая могла бы вылечить безумца.

Улугбек знаком заставил его замолчать и вперил свой взгляд в Абдулхаба. Дервиш дерзко поднял глаза на султана:

— Моя жизнь принадлежит аллаху. Может быть, он сочтет нужным укоротить ее вашим мечом...

Улугбек с усмешкой покачал головой:

— Я не кровожаден... Мой дед завещал мне: не всякая шея стоит того, чтобы тупить о нее меч султана... Отведи его за ворота, Камариддин. Пусть сам аллах покарает нечестивца...

Камариддин кивнул служителям, и они бросились к дервишу.

Шамсибек торопливо проговорил:

— Почтенный, у меня есть просьба к великому шаху...

— Что такое?

Молодой человек достал из-за пазухи свернутое трубочкой письмо. Увидев печать султана, сипах сейчас же взял письмо из рук Шамсибека и с почтением поднес его Улугбеку.

Пробежав глазами несколько строк, султан поднял глаза на молодого человека:

— Так ты и есть Шамсибек, сын Исмаила-Хаджи?

Вместо ответа юноша еще раз поклонился. Улугбек передал письмо писарю и, облокотившись на подушку, спросил:

— Почему ты сопровождаешь дервиша?

— Мы односельчане, повелитель. К тому же мы вместе учились.

— Ну и выучились. — Улугбек с хитрой усмешкой оглядел

* Вечно живой царь (Кусам ибн-Аббас).

окружающих. — Один занимается подстрекательством к бунту, а другой обманывает легковых...

Большие и малые чалмы важно закивали.

— Но, может быть, это чья-то выдумка, что ты умеешь превращать медь в золото? — продолжал султан.

— Нет, покровитель наук... Я действительно могу превращать медь в золото...

— Велики ли те богатства, что ты собрал, обманывая людей?

— Я никогда не использовал свое искусство для обогащения. Если бы ваши слова об обмане были правдой, то мои сокровища превосходили бы казну повелителя вселенной... Но всякий раз, когда я приступал к работе, мой дед, настаивавший меня в великом искусстве, читал следующие строки:

*Беспечно не пил никогда я чистого вина,
Пока мне чаша бед была не подана.
И хлеб в солонку не макал, пока не насытился
Я сердцем собственным своим, сожженным дочерна.*

На губах Улугбека промелькнула добрая улыбка. Поглаживая бороду, он обратился к одному из окружавших его саванников:

— Ваша проницательность, почтенный, достойна похвалы. Мы не ошиблись в этом юноше.

Улугбек дотронулся до плеча Шамсибека и представил молодого человека присутствующим. Обернувшись к сипаху, который стоял в ожидании приказаний, султан сказал:

— Камариддин, ты захватил моего гостя — поручаю его твоим заботам. Своди Шамсибека в баню, дай новую одежду. И после того как он отдохнет, приводи его на вечернюю беседу.

Сипах и его подопечный поклонились и, не смея повернуться к султану спиной, долго шли пятясь.

* * *

На этот раз Камариддин повел Шамсибека не к Чилустуну, а в глубину сада. Миновав большой цветник, они вышли к овальной площадке, посреди которой бил фонтан. Косые лучи заходящего солнца, дробясь в струях воды, рассыпались жемчужными брызгами над кустами роз. В стороне от фонтана на усталой ковчеге суфее сидел Улугбек. Он был погружен в чтение огромного фолианта.

Шамсибек остановился поодаль, не желая мешать султану. Но Камариддин шепнул:

— Шахрияр сам распорядился привести тебя. Иди.

Молодой человек приблизился к суфее и преклонил колени.

Улугбек поднял голову. Теперь он был одет в простой жел-

тый халат и походил скорее на учителя медресе, чем на са-
модержца.

Шамсибек поцеловал край его халата. Султан молча указал
юноше место возле себя и жестом отпустил Камариддина.

— Сегодня ночью Миррих* начнет приближаться к Зем-
ле, — сказал Улугбек. — Я и мои астрономы готовимся к этой
встрече. Но, пока звезды не усеяли небо, у меня есть время
для более близкого знакомства с тобой.

— Моя жизнь принадлежит вам, повелитель.

— Когда мне донесли о тебе, то сказали, между прочим,
что ты заблудший безбожник... Чем вызваны эти слова?

Шамсибек молчал некоторое время. Потом, несмело глядя
на султана, сказал:

— Я прочел «Прodelки пророков» и «Хитрость лжепроро-
ков» и объяснил смысл этих книг некоторым друзьям.

— Ты осквернил святые имена пророков?

— Я по-своему истолковал мысли учителя, и только.

— Ты сказал: учителя... Прошло четыре сотни лет с тех
пор, как Абу-Бакир Мухаммед ар-Разий переселился в се-
ленья праведных. Абу-Райхан Беруни изрек о нем немало дра-
гоценных слов... Да, это достойный наставник.

Шамсибек бросил невольный взгляд на книгу, лежавшую
перед султаном. Улугбек заметил его любопытство и, улыбнув-
шись, сказал:

— Это «Канон Масуди» Абу-Райхана. А вот здесь, — он
указал на невысокий восьмигранный столик, заваленный кни-
гами и пергаментными свитками, — здесь ты видишь «Аль-Ма-
жистый» Батлимуса**...

— Ар-Разий — ученый, достойный сразиться на поприще
знаний с Батлимусом, Афлатуном и Аклидусом***! — повину-
ясь наплыву чувств, воскликнул Шамсибек.

— Ты сказал правду! — похвалил Улугбек, не обратив вни-
мания на то, что молодой человек перебил его. — Похвально,
что ты назвал ар-Разия своим учителем. Сам великий Ибн-Сина
склонялся перед этим славным именем... Но мало, к сожале-
нию, осталось тех, кто идет по стопам мудрого...

— Зато немало тех, кто ревностно служит астрономии...

Султан пристально посмотрел на юношу. Решив, что про-
изнес нечто неуместное, Шамсибек поднялся со своего места и
попросил прощения за дерзость. Улугбек жестом приказал
ему сесть.

— По-твоему астрономия ниже математики, химии или ме-
дицины? — спросил султан и, видя, что Шамсибек вновь по-
пычется встать, добавил:

— Так вот, звезды и планеты не рассыпаны по небосводу

* Марс.

** «Альмагест» Птолемея.

*** Птолемей, Платон, Евклид.

просто так. В их расположении есть какой-то порядок. Какие-то силы действуют между ними, эти силы — Любовь и Вражда... Изменения в положении звезд могут сказать нам, какая из сил в настоящее время господствует в мире... Вражда несет разрушение, раздоры между людьми. Любовь приносит мир человечеству.

Помолчав, он продолжал:

— Думаешь ли ты, что медицина способна удлинить человеческую жизнь?

— Нет, повелитель...

— Так ты считаешь, что учение Ибн-Сины ошибочно?

— Напротив! Учение мудрейшего из врачей — единственный путь к долголетию. Только... только никто не станет содействовать воплощению его мыслей на деле. И потом — надо победить телесное старение. А мы даже не знаем, с какой стороны приступить к этому.

— Значит, все-таки мысли ученого — красивый воздушный замок?

— Если говорить о возможности их осуществления сегодня же, то правда глаголет устами покровителя мудрых... Я думаю, что долголетия можно достичь, лишь получив ключ к душе человека. Если мы сможем лечить душу, то тело будет жить вечно...

— Но ключ этот в руке всевышнего! — подняв брови, заметил Улугбек.

— Быть может, аллаху угодно будет вручить его нам — да предстательствует за нас в том сам пророк Мухаммед...

— Достойные слова! — одобрил султан. — Твои силы открываются в твоих мыслях... Скажи теперь, каким образом ты превращал медь в золото?

— Я досконально изучил книгу «Тайное тайных», написанную учителем ар-Разием. Но главное раскрыл мне мой дед...

Он на мгновение умолк. Улугбек ободряюще кивнул, и юноша продолжал:

— Для того чтобы получить настоящее золото, необходима кровь человека.

— Кровь? — нахмурился султан.

— Да. Золото, из которого изготовлено посланное вам кольцо, я обработал сухой кровью.

— Где ты взял кровь?

— Это была моя кровь.

— Что же, всякий раз, когда ты делаешь золото, ты используешь собственную кровь?

— Я не так уж часто делаю золото. Учитель писал, что всякий, обращающий знания для наживы, будет наказан в будущей жизни...

В следующий миг послышался голос супи *, ссылавшего на

* Низший служитель мечети.

вечернюю молитву. Улугбек провел по лицу ладонями и поднялся с места. Молодой человек последовал примеру султана.

Улугбек сделал было несколько шагов в сторону сада, но вдруг остановился и, повернувшись к Шамсибеку, строго сказал:

— С этого дня запрещаю тебе использовать кровь для получения золота. В царствовании Улугбека ни единая капля человеческой крови не должна проливаться ради прихотей сильных. Жизнь того, кто ослушается этого запрета, будет недолгой...

— Слушаюсь, повелитель...

— Завтра можешь отдыхать. А с субботы приступишь к своим обязанностям: рассортируешь, как старший над ювелирами, золото и серебро в казне. Да подбери в городе место, где лучше всего построить больницу...

— О украшение ислама! — склонился Шамсибек. — Ваша милость не знает границ.. Прикажите еще зарезать несколько баранов.

— Зачем?

— Мясо надо будет развесить во всех концах города на открытых местах. Больницу лучше строить там, где оно сохранится свежим дольше всего...

— Твой ум достоин похвалы! Проси у меня все что хочешь!

— Мой повелитель, я попрошу только об одном: отпусти меня домой после того, как я справлюсь с вашими поручениями...

— Тебе не нравится в моем дворце? — Лицо Улугбека посуровело.

— Не пристало деревенскому воробью клевать с золотого блюда.

— Но на сельском поле он может стать добычей коршуна. Я не хочу отпускать тебя от себя. Если ты тоскуешь по родным, то можешь съездить домой и перевезти семью в Самарканд.

* * *

Через несколько дней, прочитав в мечети Биби-Ханум утреннюю молитву, Шамсибек и сопровождавший его Камариддин отправились в путь.

Вскочив на коня, молодой человек вдруг заметил дервиша, сидевшего на корточках возле запыленной ивы.

— Абдулвахаб! — воскликнул Шамсибек. — Где ты пропал? Я искал тебя все эти дни. Мы отправляемся домой — поедем с нами!

— Не успел приехать в Самарканд и уже скачешь назад? — вместо ответа спросил дервиш.

— Я еду за семьей и скоро снова вернусь.

— Думаешь, твои старики захотят сниматься с насиженного места?

— Привезу хотя бы жену и сына.

— Я не знал, что ты женат.
— Да, уже третий год. На дочери ювелира Щербека.
Лицо дервиша вдруг потемнело. Он отвернулся и проворчал:
— Поезжайте. Скатертью дорога...
— Абдулвахаб! — удивленно позвал Шамсибек. — Может быть, передать что-нибудь отцу?
— Скажи, что не видел меня, — не оборачиваясь, бросил дервиш.

Только выехав за городские ворота, Шамсибек догадался о причине внезапного гнева Абдулвахаба. Еще перед тем как отправить сына в медресе, Байбува сватал за него Махфузу, дочь Щербека. Но ювелир отказал — он предпочел в зятя своего ученика Шамсибека.

* * *

Путники присоединились к большому каравану. Около полусотни верблюдов шли размеренно, словно понимая, что впереди долгий и нелегкий путь. Колокольчики на верблюжьих ошейниках непрерывно позванивали, погонщики протяжно покрикивали — больше для того, чтобы побороть сон...

— Зачем ты хотел взять с собой этого грязного нищего? — спросил Камариддин.

— Пропадет парень в Самарканде.

— У тебя слишком добрая душа... Наш султан, да продлится его счастливое царствование тысячу лет, по своему добродушию дал слишком большую волю накшбандиям*. А они вместо того, чтобы возносить к аллаху благодарственные молитвы за покровителя правоверных, распространяют о нем самые нелепые слухи...

Помолчав, Камариддин добавил:

— Слышал, как султан посадил в лужу мухтасиба?

— Нет.

— Э-э, да об этом говорит весь Самарканд! Месяц назад, в пятницу, его величество пожаловал на молитву в Биби-Ханум. После молитвы мухтасиб при всем народе намекнул, что наш султан отступает от благочестия. Тогда Улугбек поднялся со своего места и направился к мухтасибу. Собравшиеся ожидали, что он прикажет наказать муллу. Но вместо этого султан обратился к мухтасибу: «Это правда, что Ходжа Ахрор сравнивал вас с пророком Мусой?» Саид Ашик подтвердил это. Тогда султан спросил: «Вы принимаете его уподобление?» — «О нет, — отвечал мухтасиб. — Я недостойн даже лобызать след пророка». — «Теперь скажите мне, — продолжал Улугбек. — Кто более велик — я или древние фараоны?» — «Вы, умиро-

* Члены дервишского ордена, основанного суфийским учителем Ходжей Накшбанди.

творивший вселенную!» — склонился Саид Ашик. Султан улыбнулся и сказал: «Всевышний дал наказ Мусе-пророку, чтобы он не величался перед фараоном, а, наоборот, был почитителен с ним. Так почему же тот, кто намного ниже пророка, смеет судить того, кто превосходит фараона?» Мухтасиб готов был сквозь землю провалиться.

Камариддин оказался умным и занятым собеседником. В разговорах с ним Шамсибек не замечал, как проходят дни. Сипах был одним из сильнейших людей Самарканда — мало кому удавалось положить его на лопатки. Глядя на могучую фигуру спутника, Шамсибек думал: «Если бы он не родился богатырем, то родился бы ученым».

* * *

Вечером четвертого дня, когда караван вступил уже на богатые земли Ферганской долины, путники заметили множество огней в стороне от дороги.

— Кажется, свадьба, — кивнул в сторону огней Камариддин.

— Непохоже, — возразил Шамсибек. — Не вижу большого костра. Мне сдается, в кишлаке что-то стряслось.

— В таком случае давай посмотрим.

Пришпорив коней, они поскакали в направлении селения. По мере приближения к кишлаку все слышней становился разноголосый гомон толпы, собравшейся вокруг костров. Подъехав ближе, путники различили в центре сборища глиняную стенку, а возле нее огромного роста парня в рваном халате и с синяками на лице. Руки и ноги его были связаны. Рядом сидела хрупкая девушка, прикрывавшая лицо косынкой. Чуть поодаль стоял, перебирая четки, чернобородый человек в большой чалме.

Привязав лошадей к дереву, Камариддин и Шамсибек протиснулись сквозь толпу к бородачу. Сипах поздоровался и спросил:

— Уважаемый, что случилось?

Оглядев богато одетых гостей, чернобородый осторожно сказал:

— Кто вы? Я должен знать, с кем говорю.

— По велению султана мы направляемся в Андижан, — отвечал Камариддин и достал из-за пазухи грамоту, подписанную Улугбеком. Поцеловав ее, он провел ею по глазам и передал грамоту бородачу.

Тот осторожно принял свиток, также поцеловав и проведя им по глазам. Потом развернул и, увидев подпись султана, низко поклонился:

— Готов служить вам, достопочтенные. Я местный кадий*,

* Судья.

Вслед за ним вся толпа склонилась перед гостями.

— Я хочу знать, — повторил свой вопрос Камариддин, — зачем здесь столько людей...

— Народ собрался покарать преступивших закон пророка.

— В чем их обвиняют?

— Девушка, которую вы видите, была помолвлена с джигитом по имени Ахмадбайвачи. Этот нечестивец, — бородач указал на покрытого кровоподтеками гиганта, — вскружил ей голову и сговорился убежать вместе с ней накануне свадьбы. Их схватили и привели ко мне. Я постановил предать их смерти.

В это время в толпе послышался шум, и через минуту к гостям протиснулся худой седеющий дехканин. Он упал на колени перед Камариддином:

— Выслушай меня, облеченный доверием величайшего из подданных аллаха!

— Говори! — сказал сипах.

— Девушка, которую ты видишь, — моя младшая дочь. Это я виновник ее прегрешения, я заставил ее согласиться на помолвку с Ахмадбайвачи. Прикажи казнить меня, а ее отпустить...

— Так ты не давала согласия выйти замуж за того джигита, о котором говорит твой отец? — обратился сипах к девушке.

Она, вздрагивая от страха, отрицательно покачала головой.

— Кто ты такой? — спросил Камариддин изукрашенного кровоподтеками силача.

Гигант угрюмо молчал, даже не взглянув на вопрошавшего.

— Это местный полван*, — поспешил объяснить дехканин.

— О, это любопытно, — промолвил сипах и подошел к силачу. — Как тебя зовут?

— Ганимурад, — мрачно ответил тот.

— В Самарканде мало молодцов, которые могут похвастаться победой надо мной, — сказал Камариддин. — Если ты окажешься в числе тех счастливых, что смогли припечатать к земле Камариддина, сына Ибрагима, ты будешь жить.

Сипах повернулся к кадию:

— Развяжите его.

Приказание было тотчас же исполнено, и Ганимурад принялся растирать затекшие руки.

— Дайте ему умыться и накормите, — сказал Камариддин. — Я не хочу победы над голодным джигитом...

Тем временем кадий успел распорядиться о ночлеге для важных гостей и, подобострастно кланяясь, сообщил об этом сипаху. Камариддин благосклонно взглянул на расторопного бородача и сказал:

* Богатырь.

— Прикажи накормить наших лошадей. Да пусть принесут пояс этому силачу, — он кивнул в сторону Ганимурада.

— Пояс! — крикнул кадий, и из толпы сейчас же протянули несколько поясов.

— Ну держись, парень, — улыбнулся Камариддин, передавая богатырю пояс.

Туго подпоясавшись, молодой человек вышел в середину круга, очищенного толпой для состязания. Камариддин снял свой халат, протянул его Шамсибеку. Освещенные пламенем костра, борцы начали сходиться. Бронзово-красные блики играли на их могучих торсах. По толпе прошел невольный гул восхищения — противники явно не уступали друг другу ни в красоте, ни в силе.

Взявшись за пояса, богатыри некоторое время не тревожили один другого и лишь редкими мощными рывками пробовали устойчивость соперника. Наконец Камариддин резко уперся подбородком в плечо Ганимурада и изо всех сил потянул его за пояс к себе. Тот не шелохнулся, словно врос в землю. Борцы быстро пошли по кругу, то и дело пытаясь оторвать друг друга от земли. Противоборство длилось несколько минут. Страсти накалились. В толпе слышались возгласы, подбадривавшие того или другого из противников. Казалось, что состязание кончится вничью. И вдруг — Шамсибек не сразу осознал случившееся — могучее тело Камариддина качнулось в сторону деревенского силача, приподнялось над землей, а в следующее мгновение гигант снова стоял на ногах.

Ганимурад мог бросить соперника на землю, но не сделал этого. Камариддин оценил великодушный жест и дружелюбно обнял молодого человека.

— Только истинный богатырь способен на такой поступок! — сказал сипах.

Затем Камариддин обратился к толпе:

— Люди! Ваши земляки — Ганимурад и эта юная девушка — они ведь так молоды. Простите им их прегрешение! Тем более что они любят друг друга, а юная подруга богатыря была просватана против своей воли... пусть они поженятся.

«Да что там!», «Простить, конечно!», «Правильно вы сказали, уважаемый!» — раздалось в толпе. Камариддин взглянул на кадия. Тот потупился и развел руками.

* * *

Наутро путники двинулись дальше в сторону Андижана. Около полудня Шамсибек и его спутник отделились от каравана и, прищипорив лошадей, поскакали в сторону большого селения, утопавшего в зелени садов.

— Твой Булакбаши — настоящий рай, — заметил сипах. — Теперь я понимаю, почему ты так упирался, когда шахрияр решил оставить тебя в Самарканде.

Ведя коней на поводу, путники прошли узкой улицей к дому Шамсибека. Толкнув низкую дверцу, молодой человек прошел в просторный дворик, затененный виноградными лозами. Первыми, кого он увидел, были годовалый младенец, ползавший возле суфы, и следившая за ним пожилая женщина.

— Мама! — негромко позвал Шамсибек.

Женщина обернулась на его голос и, вскрикнув, бросилась к сыну. Из дверей дома во двор устремились бабушка, тетка, жена Шамсибека.

— Жив, жив, сыночек! — повторяла мать, поглаживая его по плечу. — А мы уж столько слез по тебе пролили.

— Вы, женщины, всегда слишком много плачете, — с улыбкой промолвил Шамсибек и подхватил на руки ребенка. — Сын, ты уже совсем большой! Пора заводить для тебя коня...

* * *

Оказалось, что отец Шамсибека уехал на несколько дней по делам в Андижан.

До приезда отца молодой человек никому не говорил о поведении Улугбека переселиться в столицу. Когда Исмаил-Хаджи узнал волю султана, он сказал:

— Аллах милостив к тебе, сынок. Великий Улугбек призывает тебя для служения. Да хранит тебя на всех путях отцовское благословение.

Расстались на развилке дорог на холме. И долго еще стояли отец и мать, глядя, как маленький караван из нескольких повозок и двух всадников медленно тащится по большой торговой дороге, то и дело пропадая в клубах пыли.

Шамсибек и Камариддин договорились заехать за Ганимурадом и его женой. Сипах думал устроить богатыря в личную гвардию султана. Но когда через два дня путники прибыли в знакомый кишлак и остановились перед воротами дома новобрачных, никто не выбежал на шум. Камариддин привстал на стременах и заглянул через дувал во двор. Там никого не было. Тогда всадники спешили и, привязав коней, вошли во двор.

— Хозяева! — позвал Шамсибек.

За спиной его раздался какой-то шорох. Молодой человек резко обернулся — из-за занавески, закрывавшей вход на женскую половину, вышла жена Ганимурада. Лицо ее было не закрыто, волосы распущены. Шамсибек отвел глаза в сторону. Вдруг женщина вскрикнула и бросилась в угол двора. Через мгновение оттуда раздался безумный хохот.

Шамсибек и Камариддин недоуменно взглянули друг на друга. В это время отворилась другая дверь, и перед гостями появился седобородый старец. Он опирался на толстую палку, на лице его было написано страдание.

— Что с вами, аксакал? — бросился к нему Шамсибек.

— А-а, что я... Вы бы лучше спросили, что с нашим Ганимурадом.

— Что такое? — В один голос спросили Шамсибек и Камариддин.

— Если бы он уехал в тот раз с вами, — старик покачал головой, — наутро после свадьбы на нас напал Ахмадбайвача со своими головорезами. Они кричали, что свадьба незаконна... Ганимурада спасло только заступничество аллаха — другой бы на его месте давно распростился с этим миром... Но он очень плох и уже который день не приходит в себя.

— А что с вами?

— Болит нога... Я не знаю, как все это случилось. Помню только, что упал у порога невесты...

— У порога невесты?! Так они... входили на ее половину?!

Старик молча кивнул и поник головой.

Камариддин выхватил из ножен кривую саблю.

— Где эти шакалы?!

Шамсибек остановил его движением руки:

— Аллах уже осудил их на вечную муку. Да будет орудием его скорого мщения суд султана.

— Ты хорошо сказал! Пусть закон сокрушит этих слуг шайтана!

А вскоре из центра селения раздались гулкие удары барабана, и все население кишлака сбежалось к громадному костру, полыхавшему посреди площади.

Из толпы всадников отделился сипах на горячем жеребце. Грозно посверкивая белками, он обратился лицом к толпе и указал нагайкой на кучку растрепанных молодых людей, жавшихся вокруг Ахмадбайвачи. Голос Камариддина гремел:

— Эти нечестивцы посягнули на чужую жену! Какого наказания достойны они?

Толпа заревела:

— Только смерть!

— А что скажет нам муфтий? — спросил сипах.

Представительный старик в чалме шагнул из толпы и сказал:

— Народ говорит правильно. Так велит закон.

— Почему же вы не осудили преступников раньше? Вы, кадий и мулла, — вот кто несет ответственность за то, что злодеи не понесли никакого наказания.

Муфтий не ответил. Тогда к костру пробрался судья и заявил:

— Я вообще не слышал об этом деле.

— Ну так теперь вы о нем знаете. Преступники во всем сознались.

Камариддин повернулся к своим джигитам и зычно провозгласил:



— Именем закона! Преступников казнить! Укрывателям преступления — по пятьдесят плетей!
Толпа одобрительно зашумела.

* * *

Маленький караван, состоявший из двух всадников и нескольких арб, на которых разместился скарб Шамсибека, а также ехали его жена с дочерью и Ганимурад, добрался до Самарканда поздним вечером. Свернув в первый попавшийся караван-сарай, усталые путники прочитали вечернюю молитву и сразу же повалились спать.

Утром, оставив Махфузу с сыном и Ганимурада отдыхать после долгой дороги, Шамсибек и сипах отправились в резиденцию султана. Явившись в приемную Хрустального дворца, они попросили дежурного чиновника доложить о себе Улугбеку. К удивлению толпившихся здесь сановников, через несколько минут глашатай выкликнул имена только что прибывших Камариддина и его подопечного.

Первое, что увидел Шамсибек, когда за ним затворились высокие резные двери, был трон. Но, к удивлению молодого человека, он оказался пуст. Султан, одетый, как всегда, просто, стоял в стороне возле небольшого фонтана, окруженный группой молодых людей. Рядом с ними примостился писец, державший на коленях развернутый свиток.

Улугбек кивнул вошедшим и указал им место возле себя. Приблизившись, Шамсибек услышал слова одного из молодых людей, собравшихся возле фонтана.

— Вы говорили, шахрияр, что расскажете о вращении Земли вокруг Солнца. Я правильно понял ваше намерение?

Камариддин наклонился к Шамсибеку и шепнул ему на ухо:

— Этот юноша — один из любимейших учеников султана. Его зовут Мирам Чалаби. Он внук Руми.

Улугбек, улыбаясь, взглянул на задавшего вопрос:

— А не приблизим ли мы свой смертный час, если будем толковать о том, что Земля обращается кругом Солнца? — На минуту он задумался, потом, посерьезнев, продолжал: — Глупцы не поймут нас. Эта мысль может быть воспринята только самыми мудрыми. Так что... — Улугбек повернулся к писцу. — Запишем: «Земля есть центр сотворенного всевышним мира. И хотя у нее не обнаруживается той силы, которая могла бы приводить в движение прочие небесные тела, наука полагает ее сердцем вселенной». Отнеси это каллиграфам. Пусть к вечеру перенесут на пергамент.

Кивнув окружающим его молодым людям, он отделился от их группы и подошел к Шамсибеку и Камариддину.

— Как прошло путешествие?

— Слава аллаху. Благодаря вашему покровительству мы съездили благополучно. Кроме того, я привез вам послание от наместника Ферганы, — сипах протянул султану свиток.

Развернув письмо, Улугбек пробежал его глазами и сказал Шамсибеку:

— Наместник пишет, что возьмет твоих родителей под свое покровительство.

— Благодарю вас, повелитель.

— Шахрияр, позвольте занять ваше внимание еще на минуту, — обратился Камариддин.

— Я слушаю.

— Мы привезли с собой богатыря...

— Прекрасно. Завтра же устроим состязание в саду.

— Это невозможно, о могущественный.

Улугбек с недоумением посмотрел на сипаха.

— Дело в том, что богатырь ранен.

И Камариддин в немногих словах пересказал историю несчастной женитьбы Ганимурада. Узнав о казни Ахмадбайвачи и его сообщников, султан воскликнул:

— Видит всевышний, я не кровожаден! Но твоей рукой, Камариддин, двигала сама справедливость!

Улугбек два раза хлопнул в ладоши. В то же мгновение из-за шелкового занавеса возникла фигура писаря.

— Созвать лучших врачей Самарканда! Сегодня после полудня в Чилустуне.

Писарь низко поклонился и исчез.

Султан направился к трону. Усевшись, он со вздохом произнес:

— Сколько же еще бед принесет нам этот недуг?

— О чем вы говорите, шахрияр? — несмело спросил Шамсибек.

— Я говорю о фанатизме, мой мальчик, — печально улыбнувшись, ответил Улугбек.

Султан на минуту как бы забыл о своих посетителях и погрузился в раздумье. Сипах и Шамсибек почтительно молчали, боясь нарушить тишину. Наконец Улугбек поднял глаза на юношу:

— Да, чуть не забыл сказать, мулла Шамсибек. Место для больницы уже выбрано. Так что посоветуйтесь с архитектором и принимайтесь за работу. Во все концы страны отправлены глашатаи — они соберут искуснейших врачей. Это будет не просто больница, а храм медицинской науки, и слава его разнесется до крайних пределов земли на Западе и Востоке. Для такого дела моя казна всегда открыта. По всем вопросам, связанным с лечебницей, можете являться ко мне в любое время... А завтра вечером вы должны присутствовать на беседе мудрых.

Архитектор — уста * Хидир — оказался много старше Шамсибека. Он был невысокого роста, но крепкого сложения. На его открытом лице застыло выражение участия и доброты. Одет он был в синий шелковый халат, а на голове у него красовалась небольшая зеленая чалма. Сжав в своих широких крестьянских ладонях руку молодого человека, зодчий сердечно сказал:

— Я очень ждал вашего приезда...

Шамсибек почувствовал себя с уста Хидиром так легко и просто, словно они были знакомы много лет. Поэтому он сразу перешел к делу:

— Где выбрали место для лечебницы?

Архитектор развернул план города и указал кружок на окраине:

— Вот на этом холме. Здесь оказался самый здоровый воздух. Здание будет трехэтажным — так повелел шахрияр.

— Почему именно трехэтажным? — недоумевающе спросил молодой человек.

— Потому что так оно будет выглядеть величественно и украсит столицу.

— Простите, уста Хидир, но с какой целью строится здание?

— Об этом вы должны знать лучше меня. Мне было сказано, что здесь будет лечебница.

— В том-то и дело. Народ будет приходить лечиться, а не для того, чтобы подивиться на высоту больницы. Достаточно и одного этажа.

! — Не совсем понимаю вас.

— Вокруг здания обязательно должен быть сад. Кроны деревьев будут укрывать лечебницу от палящих лучей солнца. А в трехэтажном сооружении больные будут страдать от жары больше, чем от своих недугов. К тому же подниматься на третий этаж им будет не так легко, как здоровым.

— Мудрые слова, — кивнул зодчий. — Надо будет доложить об этом султану. Его величество сам будет утверждать проект...

* * *

Солнце уже садилось, когда Шамсибек явился на беседу в Чилустун. На террасе собралось около двух десятков людей всех возрастов. На коврах были постелены скатерти, поставлены яства. Возле восьмигранного столика, заваленного фолиантами, примостился писарь.

— А вот и наш юный алхимик! — улыбнулся султан, увидев Шамсибека. — Кажется, все в сборе?

Молодой человек, которого Шамсибек видел в прошлый раз

* Мастер.

во дворце, указал ему место возле себя и, когда юноша опустился на ковер, представился:

— Я Махмуд ибн Махмуд по прозвищу Мирам Чалаби.

— Вы внук Казизаде Руми? — вежливо спросил Шамсибек. — Мне говорили о вас.

Мирам сдержанно кивнул и устремил взгляд в сторону Улугбека, который кого-то искал глазами.

— Не хватает еще одного, — сказал султан. — Где мой сын Алладин Али Кушчи?

— Я здесь, мой повелитель! — раздалось из зарослей роз, и на повороте тропинки, ведущей к обсерватории, появился высокого роста смуглый мужчина в простом одеянии, похожий скорее на ремесленника, чем на ученого.

Али Кушчи торопливо приблизился к террасе и, тяжело дыша от быстрой ходьбы, поклонился Улугбеку.

Султан указал ему место рядом с собой. Теперь Шамсибек получил возможность ближе рассмотреть счастливицу, которого повелитель нарек своим сыном.

Улугбек обвел собравшихся взглядом и сказал:

— Вот уже шесть лет, как патриарх мудрейших, Афлатун наших дней Салахиддин Муса Казизаде Руми переступил порог рая. После его смерти, а также после кончины Гиясиддина Жамшида мы сильно обеднели. Для того чтобы восполнить уход многомудрых учителей, я решил следующее... — султан на минуту умолк, как бы собираясь с мыслями. — Я решил основать в Самарканде Байтул-хикма*. Если в ней объединятся силы всех ученых и мудрецов, которые будут освобождены от забот по добыванию хлеба насущного, то науки и искусства процветут в Мавераннахре так, как ни в одной державе прошлого и настоящего.

По террасе прошел одобрителный гул.

— Наша земля освящена великими именами, — продолжал султан. — Это Абу-наср Фараби, аль Хорезми, аль Беруни, Ибн-Сина. В годы правления ханов, которые желали счастья только самим себе, эти люди были чужаками на родной земле. Свой долг я вижу в том, чтобы сделать Самарканд отечеством всех ученых, а не только тех, кто родился на этой земле. Сюда будут съезжаться лучшие умы со всего света...

* * *

Одно из первых занятий академии Улугбека было решено провести в обсерватории. Много наслышанный об этом чуде Самарканда, Шамсибек с волнением подходил к трехэтажному зданию, возвышавшемуся над деревьями дворцового сада. Возле входа ему встретился уста Хидир.

* Академия.

— Вот и славно, что вы пришли раньше назначенного часа, — сказал архитектор. — Я успею поводить вас по обсерватории.

Когда они поднимались по широким мраморным ступеням, зодчий без умолку расхваливал достоинства этого уникального сооружения, которое возводилось, конечно, под его руководством.

— Представьте себе — это здание несколько не пострадает даже при самом сильном землетрясении...

На каждом этаже было по несколько десятков комнат, а по середине располагались залы для собраний. На стенах были изображены все созвездия видимого из обсерватории неба. А на центральном плафоне верхнего этажа Шамсибек увидел изображение солнца и семи планет, располагавшихся вокруг него.

— Давайте выйдем на террасу и полюбуемся видом города, — предложил уста Хидир...

* * *

Время шло. К началу зимы фундамент лечебницы был готов, и каменщики приступили к возведению стен. Каждый день, возвращаясь со своей основной службы в казне, Шамсибек заглядывал на строительную площадку. Поговорив с уста Хидиром, который бессменно руководил работами, молодой человек заворачивал к Камариддину — у него на время выздоровления поселился Ганимурад. Богатырь почти совсем поправился и довольно быстро передвигался по двору на костылях. Но, когда наступила чилля*, Ганимурад опять слег — на ноге его образовалась опухоль. Осмотрев посиневшую лодыжку силача, Шамсибек сказал:

— Нужно приготовить мазь. Завтра я пришлю вам ее. К тому же ногу необходимо оберегать от холода.

Когда гость направился к воротам, провожавший его сипах спросил:

— Что-нибудь серьезное? Увидев опухоль, ты изменился в лице.

— Это гангрена.

— А как ее лечить?

— Боюсь, что никак. Надо отрезать ногу.

— Да смилостивится над ним аллах! Такие богатыри, как Ганимурад, — великая редкость. Какое несчастье, что именно ему выпало испытать горькую чашу!

Друзья помолчали, горестно повесив головы.

— Кстати, — вспомнил Камариддин. — Я встретил твоего землячка.

-- Абдулвахаба?!

* Период самых сильных холодов.

— Да, именно этого бездельника...

Придя домой, Шамсибек был невесел. Махфуза подошла к мужу и ласково спросила:

— Что омрачает ваше лицо?

— С Ганимурадом опять худо. Бедняга, видимо, останется безногим калеккой.

— Плохая новость, — поникла Махфуза. — А я хотела порадовать вас...

— Что такое?

Не говоря ни слова, Махфуза вышла из комнаты. Через минуту она возвратилась с голубым шелковым платком в руках и развернула его перед мужем. Шамсибек увидел вышитое в центре его золотое солнце, вокруг которого располагались семь разноцветных планет.

— Ты сама вышила это?

— Да. На меня ваш рассказ о росписях обсерватории произвел такое сильное впечатление, что я решила вышить их на платке.

— Как ты назовешь этот узор?

— Фалак *.

— Я покажу султану, — с этими словами Шамсибек бережно свернул платок.

Махфуза несмело взглянула на мужа:

— У меня тоже есть неприятное известие...

— Слушаю, — Шамсибек нахмурился.

— По нашей улице все время шатается Абдулвахаб с ватагой каких-то оборванцев.

— Это накшбандии.

— Они ведут себя вызывающе — выкрикивают угрозы каким-то грешникам, которые предались в руки шайтанов. Когда я слышу их дикие вопли, мне делается страшно...

— Ничего, — успокоил ее Шамсибек. — Бездельникам прос- то нечем заняться.

— Не затаил ли Абдулвахаб злобу на вас?

— Ему надо бы злиться прежде всего на самого себя.

* * *

После одной из бесед в академии Шамсибек подошел к султану.

— Повелитель, позвольте похитить у вас минуту вашего драгоценного досуга?

— Я слушаю тебя, мой юный алхимик.

— Наш Ганимурад, о котором вы так много наслышаны, стал поправляться. Все шло как нельзя лучше, но вот теперь внезапно у него началась гангрена.

* Небо.

— Какое несчастье! — покачал головой Улугбек.

— Я задумал изготовить для него лекарство, шахрияр. Но для того чтобы мой замысел удался, мне нужно кое о чем узнать у вас...

— Спрашивай все что угодно.

— На одной из ваших лекций, о ведающий пути светил, вы говорили, что если бы Луны не было, то ход жизни на Земле был бы совсем другим, и силы, действующие на нас, совершенно изменились бы.

— Ты говоришь сущую правду.

— Я подумал, мой повелитель, что во время затмения Луны ее сила исчезает и что свойства веществ изменяются на это время. Животные, например, чувствуют какие-то перемены в мире, которых не ощущает человек, — собаки начинают лаять как бешеные, ослы ревут, кони ржут в своих конюшнях. Сама природа в дни затмений сходит с ума — на морях бушуют ветры, по земле прокатываются бури и ливни...

— Что ж, твои соображения заслуживают внимания.

— И я решил, о шахрияр, изготовить лекарство для Ганимурада во время лунного затмения, в момент, когда свойства веществ изменяются. Может быть, это снадобье принесет излечение нашему богатырю... Но для этого мне хотелось бы знать, скоро ли будет такое затмение, — ведь вы говорили, что можете предсказывать их сроки.

— Да, мой пытливый ювелир, на твое счастье, затмение должно быть совсем скоро — в восьмой день хамола*. Я объявлю об этом Самарканду. Весь народ будет молиться в мечетях о даровании победы свету над тьмой. И ты тоже должен будешь присутствовать на молебне. Иначе тебя сочтут еретиком.

— О украшенный премудростью, неужели аллах не вернет нам Луну, если я буду отсутствовать на молитве? Я думаю, ему угодно будет помочь излечению невинно пострадавшего.

Улугбек тонко улыбнулся и промолвил:

— Я ничего не слышал... У тебя все?

— Нет, повелитель. Я хочу показать вам вот это, — Шамсибек достал из сумки платок, вышитый Махфузой, и развернул его.

Улугбек издал удивленный возглас и спросил:

— Кто сделал это?

— Платок вышила моя жена.

— Но откуда ей известны вещи, доступные лишь разумению мудрых?

— Я рассказал ей о росписи в вашей обсерватории, шахрияр. И она с моих слов представила себе все точно так, как оно есть на самом деле.

Султан на минуту задумался. Вдруг лицо его осветилось:

— Мне пришла в голову одна мысль. Я постановлю, чтобы

* Первый месяц мусульманского нового года, начинающегося 22 марта.

всякая невеста приносила с собой в дом жениха такой платок... Как он, кстати, называется?

— Фалак.

— Вот-вот. Чтобы каждая девушка, собирающаяся замуж, имела такой фалак. Иначе же людей не заставишь покупать эти платки, я не говорю уже о картах звездного неба или схемах движения планет. Ничего не нужно объяснять на первых порах, ибо нас могут обвинить в связи с шайтаном. Представления о Солнце как центре мира медленно, постепенно закрепятся в сознании народа — ведь каждый день, глядя на висящий на стене фалак, человек незаметно для себя усвоит то, что добыто нами научным путем. И только тогда он сможет принять и объяснения ученых... Предоставляю тебе исключительное право на изготовление фалаков. Пусть твоя жена присмотрит несколько хороших мастериц и заведет мастерскую. Это, думаю, и поможет вам поправить свои денежные дела...

Шамсибек поклонился.

* * *

Настал вечер восьмого дня месяца хамола. За несколько часов до начала затмения Шамсибек приготовил на столике посреди двора различные травы и снадобья. Все это он собирался растереть в ступке и смешать в тот момент, когда тень Земли закроет ночное светило...

Подул легкий ветерок. Край лунного диска, сиявшего в безоблачном вечернем небе, вдруг заалел, словно прикоснулся к горящим углям. Шамсибек немедленно подкинул дров в костер, разведенный рядом со столиком, и сунул в огонь медный сосуд с настоем из трав. А когда красный цвет залил половину Луны, юноша сложил в ступку различные снадобья — в их числе мумийё, воск, жженные перья орла — и приготовился истолочь все это, как только наступит полное затмение.

А над городом нарастал невыносимый гвалт: овцы блеяли в загонах, собаки истошно лаяли, а люди — те, кто не смог по немощи отправиться в мечеть, — изо всех сил колотили у себя во дворах по металлическим тазам и выкрикивали заклинания, чтобы отпугнуть шайтана, покусившегося на Луну.

Среди этого грохота Шамсибек не услышал, как отворились ворота и в его двор хлынула толпа дервишей. Молодой человек только что взял тяжелый пестик, чтобы истолочь приготовленную смесь. В этот момент кто-то бросился на него сзади и вырвал пестик из руки. Обернувшись, ученый увидел искаженные гневом лица оборванцев. Один из них, закружившись на месте, дико завизжал:

— Правоверные! Этот сын ада хочет вызвать светопреставление! Он в сговоре с самим шайтаном и заклинает нечистую силу!

Из толпы выдвинулся высокий дервиш. Шамсибек тотчас

узнал в нем односельчанина. Абдулвахаб взмахнул над головой тяжелой дубиной и крикнул:

— Божьи люди! Не допустим свершиться злему делу! Только уничтожив служителя преисподней, вы спасете светило...

Страшный удар опустился на голову Шамсибека. Последнее, что он увидел, был огромный шар Луны...

III

Стояла поздняя осень. Но дождей было мало; часто выдавались ясные прохладные дни, и тогда из окна санатория видны были во всех подробностях горные цепи Памира.

Джахангир Алиев подолгу бродил по окрестностям, играл в теннис и... ничего не читал. Это последнее требование главного врача санатория было самым категорическим. После всех тревожных последних месяцев, после эксперимента и связанного с ним вживления проводов в мозг ученому необходимо было несколько недель не давать себе никакой интеллектуальной нагрузки. Именно поэтому врач полностью запретил Джахангиру принимать посетителей, а также дал указание отправлять назад адресованные ему письма.

И все-таки в один из таких прозрачных холодных дней к Алиеву явился гость. Несмотря на бдительность персонала, в номер к ученому пробрался Тулкун Мансуров. Увидев его, Джахангир радостно вскочил с кресла. Друзья обнялись и прошли к окну.

— Да здесь прямо рай, — сказал писатель, обозрев открывшийся перед ним пейзаж.

— Сомневаюсь, чтобы в раю могло быть так скучно, — улыбнулся Алиев. — Даже газет не дают. Совсем одиноко к исходу месяца.

— Когда вернешься в Ташкент, устроим для тебя лекцию: что случилось на белом свете за время твоего отсутствия.

— Ты надолго? — спросил Джахангир. — Может быть, сбежим на пару дней в горы? Я познакомился с чабанами. Можно будет пожить у них, если, конечно, они еще не спустились со стадом в долину.

— Нет, дорогой. Пробуду только до вечера. Ведь я у тебя проездом — меня ждут в Оше.

Разговор перешел на другие темы, и незаметно друзья вернулись к событиям, происшедшим в ночь лунного затмения, когда Шамсибек упал, сраженный рукой фанатика.

— Знаешь, Тулкун, у меня иногда болит голова в том месте, куда пришелся удар, — сказал Джахангир.

— Да и я, признаться, постоянно путаю свои воспоминания с воспоминаниями Шамсибека. Даже решил как-нибудь приготовить мазь, которую не удалось сделать ему. Может быть, она действительно будет обладать чудодейственными свойствами?

— Ну это ты зря. Понятно, что Шамсибек разделял заблуж-

дения своего времени, — достаточно вспомнить, что он всерьез верил в целебные свойства жженных перьев. Но тебе-то должно быть ясно, что многие его представления были антинаучны.

— Может быть, здесь ты и прав — я не ученый и спорить с тобой не буду. Но скажи тогда, как быть с превращением меди в золото? Все научные авторитеты в один голос заявляют, что эта затея с сухой кровью какая-то чепуха... Но ведь юноша не стал бы лгать султану, мы-то с тобой знаем, насколько он был честен...

— К сожалению, ударом был поврежден именно тот участок мозга, который ведает трудовыми навыками человека, — это, так сказать, «технологический отдел». Потому-то мы и не смогли узнать многое из секретов ученого. А в разговоре с султаном, в котором «принимали участие» и мы с тобой, он, по сути дела, не открыл никаких подробностей. Я подозреваю, что Шамсибеку каким-то образом удавалось изменять атомный вес меди. Хотя это не под силу и современной науке. Остается предположить, что где-то в Булакбаши у него было нечто вроде термоядерного реактора... Надо провести серьезные раскопки.

— Но техника того времени — и... реактор?!

— Согласен. Но я просто не нахожу других объяснений всему этому... Может быть, дед Шамсибека был наследником тайных знаний халдеев?

— Выходит, наш эксперимент принес мало пользы науке?

— Ты, я вижу, подразумеваешь под наукой только химию, физику или медицину. Но ты забыл об истории. Ведь мы знаем теперь, что Улугбеку за много лет до Коперника была известна схема движения планет вокруг Солнца. Однако султан не мог открыть своих знаний в эпоху, когда кругом царил дикий религиозный фанатизм. Со смертью Улугбека мусульманская реакция погасила светильники знания, зажженные просвещенным правителем. Мы знаем о той нетерпимости к занятиям наукой, которая создавалась такими духовными вождями, как Ходжа Ахрор. Ведь султан пал жертвой фанатиков на следующий год после Шамсибека... Слабые всходы просвещения были затоптаны, и одним из немногих свидетельств происшедшего оказались современные фалаки. Но это можно было понять лишь из названия — за много веков вышивка фалака претерпела такие изменения, что мы ни за что не узнали бы в сегодняшнем узоре из цветов модель солнечной системы, некогда украшавшую обсерваторию Улугбека.

— Ты прав, — согласился писатель.

— А кроме того, не забывай, Тулкун, что в **нашем** научном отчете немало такого, что не вошло в твой **дневник путешествия** во времени...

Перевод с узбекского С. Плеханова

ЗНАКОМЫЙ СОЛДАТ

Недалеко от Плишкяя, чуть выше устья безымянного ручья, по правому берегу Немана тянется болото. С других трех сторон его опоясывает лес, глухой сырой ельник: земля здесь жирная; но грунтовые воды стоят у самой поверхности. А на самом болоте растут корявые, чахлые сосенки. Они и умирают недорослями; подгнившие стволы падают на белесый торфяной мох, пропитываются водой и вскоре истлевают; так в болоте напластовывается торф. Сейчас этот пласт уже толст, окон в трясине осталось немного, и ступать по болоту можно без опаски. Здесь находят пристанище звери, а вот местные жители почти не заглядывают на болото, хотя клюквы на нем видимо-невидимо.

Болото пользуется дурной славой. Полно в нем неразорвавшихся снарядов и бомб, оставшихся в трясине с войны. Когда в тот засушливый год загорелся торфяник, взрывы два месяца сотрясали окрестности. Не нашлось смельчаков, которые бы сунулись на болото, и пожар в конце концов погас сам собой. Но и сейчас люди обходят болото, ведь неизвестно, какие еще в нем таятся опасности.

На южной стороне болота есть островок — песчаный пригорок на самом его краю, который местные жители называют Кочкой. От тропы, петляющей по берегу Немана, отделяет его метров двести трясина. Если здесь взобраться на сосенку, можно окинуть взглядом все болото. Все в голубых клочках открытой воды и зеленых купках хилых сосенок, простирается оно без конца и края — не отличишь, где же вдали кончается топь и начинается твердь, сухой лес или небо. А на юге, рукой подать, спокойно несет свои воды Неман, скрытый за зарослями ивняка, а чуть поодаль, ниже по течению, торчит из этих кустов искаженный металлический остов. Там когда-то был мост; его взорвали еще в сорок первом, а потом не восстановили — шоссе прошло стороной.

В тот день на болоте оказались шестеро: Вилюс Арвидас, лесничий, и Ричардас Станюлис, журналист, — оба с женами

и сыновьями. Попали они сюда по воле случая. Приехали отдохнуть в Палангу, поселились по соседству и подружились. Скверная погода — дождь лил каждый день с утра до вечера — помогла им сойтись, и вскоре соседи помогали друг другу коротать скучные дни запоздалого отпуска. С курорта они решили уехать, Ричардас Станюлис предложил по дороге домой насобирать клюквы. Он знал славное для этого местечко — по рассказам...

Утром ненастное небо снова обещало дождь. Однако к концу дня ветер разогнал тучи, оголив по-осеннему тусклое небо, и лишь на западе еще алели прозрачные перья, сплетенные в кудрявые, взъерошенные по краям гирлянды. Они висели неподвижно. А может, так только казалось — облака были очень уж далеко, наверно, над морем.

Голубые тени, отбрасываемые негустыми кронами сосенок, все удлинялись, наконец слились воедино, рваным покрывалом застав порыжевшие кочки. Клюквы прятались в пропитанном водой мху и казались бурыми, как болотная вода. А извлеченные на свет, алели, словно капли крови.

Клюквой была густо усыпана каждая кочка. Мужчин охватил неумный азарт, возникающий в такие минуты, когда времени в обрез, а работы еще непочатый край, и ты спешишь, зная, что все равно не успеешь...

А маленькие сыновья не столько собирали ягоды, сколько прыгали наперегонки с кочки на кочку. Одно горе с ними — оба уже успели промокнуть до пояса; правда, не зябли, только покраснелись от беготни на чистом воздухе. Отцы все унимали их, страшая змеями, для которых здесь на самом деле было слишком мокрое место. Хорошо, что дети скоро устали.

* * *

Мужчины собирали клюкву у самого островка, женщины готовили ужин. Горел костер, шипел пропитанный водой хворост, хотя на первый взгляд сучья казались совершенно сухими. Странное дело — трава на острове, несмотря на дожди, так и не ожила после летней засухи, рыжела высохшими пучками.

В ожидании мужчин женщины успели сделать бутерброды и вскипятить чай. Вместо стола расстелили на земле газеты, припилив их по углам сучками, а скамьи заменял прикрытый травой валежник.

Наконец-то вернулись мужчины. Поставили ведра, до краев заполненные клюквой, поручили детей опеке мамаш и усьелись отдохнуть.

В тишине раздавалось лишь потрескивание огня. А со всех сторон обступали их сосны, багровые в свете костра и закатного солнца. Ветер играл отшелушившимися пластинками коры на стволах; они уютно блестели в этом вечернем освещении.

Над болотом поднялся густой белесый туман. Исподволь закрывая до половины сосенки, полз он к реке, а от Немана уже надвигался другой вал. Туман колыхался, и казалось, что деревья медленно уплывают в речную долину, покачиваясь на полупрозрачных волнах.

Вилюс Арвидас глядел на стелющийся туман, на ярко пылающие облака, опустившиеся до самой земли, и думал, что он тысячи раз видел закат — в лесу, в поле, и обязательно в эти минуты любовался им; любовался, когда никого рядом не было, ни души, когда кругом царила тишина... Как прекрасна первозданная природа!.. А вот с Ричардасом не поделишься этим чувством, даже не скажешь: «какая красота!», потому что журналист приведет к случаю изречение какой-нибудь знаменитости, и вся красота сразу померкнет. Почувствуешь, что не умеешь так точно и (изящно) выразить свое чувство, рассердишься, и даже пройдет охота любоваться...

Ричардас Станюлис, кажется, почувствовал, о чем задумался Вилюс. Посматривал на него с усмешечкой. Немного деланной, правда; Вилюс подметил эту иронию уже в первый день их знакомства. Вот и сейчас Ричардас с привычной насмешливостью предложил:

— Ладно уж, поделись воспоминаниями, как в детстве на болоте клюкву собирал!..

Вилюс вытянул ухотившиеся за день ноги, потер ладонью икры.

— Могу придумать, если нужно для твоего очерка. Хотя по правде — клюквы не собирал, вокруг нас были сосняки. Песок. А всей воды — мелкий ручеек, больше смахивающий на канаву. Я даже плевать толком не научился.

— Тогда поделись, как по грибы ходил. Подосиновики, подберезовики, лисички и всякие там маслята... Почему молчишь? Обстановка-то ведь подходящая: вечер тихий, даже комары не кусают, — не унимался Ричардас.

— Не хочется. Прошное... Ты больше мог бы рассказать всякого, ведь ездил много.

— Ничего путного не могу придумать.

— А зачем придумывать? Ты ведь журналист... — бесстрастно сказал Вилюс.

Ричардас только плечами пожал.

А Вилюс усмехнулся. До сих пор Ричардас мало говорил о своей работе. Разумеется, много ли интересного видит журналист, пишущий о сельском хозяйстве? Во всех статьях одно и то же: больше молока, мяса, зерна; сев, уборка, кормление, дойка; позор разгильдяям и расхитителям... Слушателя этим тодько отпугнешь, Вилюс так и сказал Ричардасу, когда разговор зашел об этом.

— А эти развалины могли бы и убрать, — сказал Вилюс,

решил сменить тему. — Хотя они и сживляют пейзаж, напоминают о былом.

— Ты о мосте?.. История простая: взорвали наши, во время отступления.

— Оказывается, и ты кое о чем знаешь!.. — удивился Виллос. — Не только сочинишь в своих статьях...

— Случайно узнал. Ездил в соседний колхоз к мелиораторам. Прораба не застал, а без материала возвращаться не хотелось. Заглянул к следопытам восьмилетки. Хороший музей они создали — я об этом писал... — Ричардас помолчал. В его голосе не было всегдашней иронии. — А вообще-то толком знаю только главные сражения, как и ты. Школьный учебник истории, страница такая-то, несколько строчек. О мостах в учебниках не пишут. Места бы не хватило...

— Мужики, хватит воевать! — окликнула их жена Виллоса. — Чай стынет!

— С женщинами, ясное дело, не повоюешь? — пошутил Виллос. — Они велют вовремя есть, вовремя спать... Буры когда-то проиграли войну с англичанами только потому, что таскали с собой пожитки и своих жен...

Его слова прервал сухой щелчок. Невероятно громким был этот щелчок, наверное, потому, что никто не ждал его в этой тишине.

Виллос поднял голову.

На другом краю островка, шагах в двадцати, стоял его сынишка и сжимал в руке гранату. Фигуру мальчика освещало трепетное пламя костра.

Над костром как бы застыл огромный темнокрылый мотылек. Крылья его уже лизнул яркий огонь, а мотылек падал и все не мог упасть, повис в воздухе. Мотылек не махал крыльями, и пламя не занималось ярче. Мотыльку было страшно — так долго падать в жгучее солнце.

Ветер совсем затих, и было темно вокруг. А вылетевшая из костра искорка горела без треска, ровным огнем, как подвешенный на парашюте фонарь, такой яркий на фоне черного неба.

После щелчка прошла минута, другая, третья.

Граната должна была взорваться через три секунды. Виллос знал это, бросал точно такие гранаты в армии, из глубокого окопа, и едва успевал нагнуться, выпустив ее из пальцев, как осколки со свистом проносились над бруствером... А сейчас он не мог шевельнуться, кинуться к сынишке. Три секунды — очень много и очень мало, но надо успеть...

И человек в заляпанной грязью солдатской одежде, видно, знал это назубок. Бросился к оцепеневшему ребенку, вырвал из руки гранату и, почти не замахиаваясь, зашвырнул ее в болото.

Тотчас взлетел столб воды и ила. Эхо взрыва не вернулось назад.

Чай был горячим. Солдат пил не торопясь, сжимая в ладонях кружку, словно грел озябшие руки. А вечер был теплый, и костер горел жарко. От мокрой одежды солдата шел пар.

Женщины предлагали солдату колбасы, нарезанного ломтиками окорока, но тот отказался, только попросил еще кипятку. Достал из кармана галету, жевал ее, то и дело макая в чай. И женщины замолчали, боясь обидеть солдата преувеличенным радушием, не зная, как отблагодарить его.

Тишина длилась долго; всем стало даже не по себе.

А Вилюс давно уже хотел спросить, что здесь делает солдат и как он столь незаметно и, главное, вовремя оказался на островке. Вилюс даже подумал, что это актер, что где-нибудь поблизости, может у взорванного моста, обосновалась съемочная группа, ставит фильм про войну; но человек так решительно схватил гранату... Как настоящий солдат — уметь надо.

— Надо уметь... — вслух подумал Вилюс.

— Служба, — ответил солдат.

— Служите, значит?

— Воюем... Все воюем. Но лучше тем, что наступают. Отступать очень уж тяжело...

Солдат сосредоточенно глядел на темно-бурую, в темноте совсем черную воду болотного окна и думал, что побурела она не только от таящихся в земле вездесущих частиц железа: шли века, а в болотах тонули закованные в железо рыцари, редели здесь разноязыкие полчища. Ведь только за последних полвека два раза прокатился по болоту огненный вихрь, каждый раз оставляя в нем частицу своей нескончаемой ярости. Ярости, которую подавляли не болота.

— А мне почему-то подумалось — вы здесь на съемках. — Вилюс рассмеялся, ему почему-то стало легче, когда узнал, что солдат — настоящий солдат и просто исполнил свой долг. Да и актеры — народ интеллектуальный, с ними и разговор другой, да и обхождение не то. Чувствуешь себя не в своей тарелке, когда общаешься со знаменитостями. — Хотя фильмы про войну — тоже вещь хорошая. Люди должны знать о войне, о солдатской профессии. — Вилюс на секунду запнулся, подумав, что неверно выразился. — Да, тогда ничто не забудется. Сейчас много хороших картин о войне. — По правде, Вилюс не любил картины про войну, ходил на них редко, разве что на отмеченные на фестивалях. Но сейчас, когда солдат спас его сынишку, не с руки было говорить иначе.

Вилюс посмотрел на исчерна-бурую воду и подумал, что война кончилась давно. Если начать вспоминать, придется вспоминать очень о многом, а все было так давно, что скоро нигде на нашей земле не останется невзорвавшихся гранат — их уничтожит время...

— В кино войну показывают, — сказал солдат.

— Смотреть страшно, — добавил Вилюс.

Звезды мерцали тускло, по-осеннему. За кругом, очерченным пламенем костра, застыла, напрягшись, темнота, лишь кое-где испещренная неподвижными огоньками — отраженными небесными светилами.

— Мне пора, — сказал солдат и посмотрел на звезды. — Пора.

— Переночевали бы с нами, — предложил Вилюс. — Места хватит, спальный мешок найдется. Куда вы теперь пойдете — тьма кромешная, чего доброго, в трясины угодите.

— Надо. — Солдат встал. — Служба, опаздывать не положено.

Солдат шагнул в темноту. Черный силуэт растворился в тумане. Мелькнул еще раз, закрывая отражение звезд в воде, и исчез. Вроде и не было человека.

— Я тут не заблужусь.

Эти слова прозвучали отчетливо, будто сказанные рядом, и люди на островке вздрогнули.

* * *

Мужчинам не спалось. Легли они вместе со всеми, провоцировались с боку на бок битых полчаса, но сон не брал. Сейчас они сидели на валежнике у погасшего костра. Пойдут покурить — так сказали женам.

Вилюс дымил уже не первой сигаретой, все оборачиваясь к палатке, темнеющей в густом тумане. Изредка находило непреодолимое желание взглянуть на сынишку, он вставал и, подкравшись к палатке, прислушивался. Внутри было тихо. Сынишка спокойно сопел, наверное, так и не поняв, что ему грозило час назад.

— Противная работа у этого солдата, — сказал Вилюс. — Даже ошибиться нельзя.

— Как вовремя он подоспел... — наверно, в десятый раз повторил Ричардас.

— Вовремя...

Туман сгущался, плавающие в воздухе капельки увлажняли одежду, но мужчины не чувствовали ни сырости, ни холода. А за Неманом глухо грохотали взрывы, по небу блуждали лучи прожекторов — неяркие, размытые, как светлые полосы, прочерченные на плохой бумаге. Грозно рокотали тяжелые самолеты. Видно, там проходили маневры, и тысячи человек — солдаты, офицеры, генералы — не спали этой ночью.

— Даже ночью человеку выспаться не дают!.. — буркнул Вилюс.

— Бывает, эти занятия нужны и в мирное время... А тебя, видно, мало старшина гонял.

— Я санитаром был, — огрызнулся Вилюс.

Ричардас промолчал.

— Лучше вообще не было бы армий! — снова сказал Вилюс.

— Может, и не будет когда-нибудь. Забудут люди про войны. Станут...

— Журналистами!.. — торопливо вставил Вилюс, обрадовавшись случаю сменить разговор. И почему он сам не бросился тогда к сынишке?..

Вдали все грохотали взрывы, а ночные птицы на болоте молчали.

— Это уж кто кем захочет... — протянул Ричардас.

В стороне моста внезапно взметнулся слепящий столб пламени. Белый неестественный свет озарил болото, и мужчинам показалось, что остов моста ожил, взметнулся в воздух и застыл — в одно мгновение.

Долетела запоздалая взрывная волна.

— Неужели... ошибся? — прошептал Вилюс.

— Наверно, учебная грохнула. Или зверь какой на мину напоролся, — спокойно возразил Ричардас.

— Завтра с самого утра уходим отсюда.

— Да уж, после этого клюкву собирать не станешь... Такое впечатление, будто на фронт угодили.

— Какое счастье, что можно идти спать и завтра мирно проснуться, — улыбнулся Вилюс.

Этот взрыв был последним. Стало совсем тихо. Погасли лучи прожекторов — одновременно, вместе с эхом взрыва.

Опять тоненьким голоском пискнула иволга и тут же замолкла — видно, решила, что не годится ей, дневной птице, распевать среди ночи.

* * *

До шоссе было далеко. Гуськом шли они узкой тропой, протоптанной через поле, и Вилюс шагал последним. Дети скоро уgomонились и стали ныть, но матери молча тащили их за ручонки, будто боясь опоздать. А спешить было некуда.

Наконец-то показалось шоссе. Издали светилась автобусная остановка, отмеченная желтым диском.

Доска с расписанием облупилась. Но Ричардасу удалось кое-как разобрать, что автобус на Вильнюс придет через час. Он огляделся.

Вилюс стоял в стороне от всех и глядел куда-то вдаль.

— Послушай... — сказал, подходя к нему, Ричардас. — Нет, пожалуй, не стоит...

— Да, говори.

— Ерунда, — махнул рукой Ричардас. — Правда, иногда

всякая чепуха в голову лезет. Даже странно... Давай погуляем, чего тут торчать...

Вилюс послушно последовал за Ричардасом.

Шагали они по обочине шоссе. Прошли довольно далеко, но Вилюс ни о чем не спрашивал — куда они идут, что хотел сказать Ричардас. Пожалуй, Вилюс даже не заметил, как далеко они ушли от остановки.

— Мне все время кажется, что я уже видел этого солдата, — наконец заговорил Ричардас. — Действительно странно.

— Надо было спросить.

— Я только сегодня вспомнил.

— Много ездишь. Встречаешься с людьми.

— Вот именно, встречаюсь...

Чуть поодаль от шоссе стояло длинное кирпичное здание, обнесенное живой изгородью из боярышника. Во двор вела посыпанная щебнем дорожка.

— Школа, — пояснил Ричардас. — Зайдем?

Вилюс только пожал плечами. Времени еще было много, и ему все равно, куда идти. Не хотелось возвращаться на остановку, ему не о чем было говорить с женой.

Коридор с белыми стенами, на которых висели плакаты, диаграммы и стенгазеты, пустовал. Только в классах, за дверями, на которых чернели таблички со светлыми римскими цифрами, приглушенно звучали голоса учителей.

— Все на уроках, — сказал Вилюс и почему-то грубо добавил: — А ты, конечно, вздумал корреспонденцию написать? На автобус не успеем.

— Надеюсь, дверь не заперта...

Вилюс не понял.

Ричардас толкнул одну из дверей, и она приоткрылась.

На полках были разложены искореженные шлемы, ржавое дуло пулемета, осколки снарядов, пожелтевшая тетрадка. Напротив, на стене, висел большой портрет солдата, видно, перенятый со старой фотографии.

— Я знал, что это он, — негромко сказал Ричардас. — Не ошибся...

Под портретом чернела надпись: «Погиб 22 июня 1941 года, взрывая мост с фашистскими танками».

— Нет! — закричал Вилюс. — Нет!..

Перевод с литовского В. Чепайтиса

ЖИВАЯ ВОДА

— Не давайте Марьину открывать шампанское, он всех обольет.

— Кто, я оболью?

Через стол протягивается огромная пятерня Гречкова и крепко обхватывает бутылку.

— Дай мне. У меня все же тонкие пальцы хирурга, а ты у нас теоретик. Зинка, не подставляй свой фужер, ты достаточно валерьянки перед экзаменом наглоталась.

Хлопает пробка. Бутылка взрывается пенистым фонтаном. Девчата с визгом вскакивают, отряхивают платья. Потом все хохочут.

— Предлагаю выпить на антибрудершафт, — смахивая с пиджака капли, говорит франтоватый Лебедев. — Хочу тебя, Марьин, на «вы» называть.

— Вот подожди, сделается Володька академиком, вообще не поговоришь запросто. Встанет в дверях этакая пышнотелая секретарша и проворкует: «Владимир Андреевич заняты. Они важные научные проблемы решают».

— А я скажу, что академик Марьин задолжал мне еще со стипендии пять рублей.

— Ой, мальчишки, неужели уже наступил другой год? Наш последний студенческий.

— У тебя, Зинка, все шансы его продлить, если опять завалишь зачет у Гаврилова.

— Не завалю. Надену такую мини-юбку, что старика инфаркт хватит.

— Инфаркт хватит, — передразнивает Гречков. — Эх ты, мини-врач!

Хрупкая, похожая на подростка Зиночка Дорохова замахивается кулачком на крупного Гречкова...

— Честное слово, Юрка, ты у меня уйдешь отсюда с гематомами. Третью степень не обещаю, но больно будет.

— Зин, это неблагоприятно, у нас ведь разные весовые категории.

— Бей его, Зинуля! Когда поженитесь, будет поздно. Тогда он чуть что побежит в местком жаловаться.

Смеясь, Гречков сгребает Дорохову в охапку и целует в нос.

— Осторожно, Гречков! Ты же ее сломаешь. И вообще, что у нас, в конце концов, Новый год или свадьба?

Маленькая общежитская комната, где сидят прямо на кроватях, тесно прижавшись друг к другу, так переполнена весельем, что кажется, будто оно вот-вот вырвется наружу, как та струя шампанского, и забрызгает всех, кто попадется, яркими каплями радости.

Вера в который раз подумала, что не зря согласилась с Сергеем встретить Новый год в студенческой группе. До чего все они славные! И эта изящная Зинка, и большой добродушный Гречков, и умница Володя Марьин — надежда и гордость всей группы.

О Марьине Вера слышала и раньше. Однажды даже прочла в нем очерк в молодежном журнале. Очерк был восторженным, с длинным заносчивым названием «Он сказку сделал былью». Сергей долго потом сердился: «Эти твои коллеги ради красного словца черт знает что наобещают. Владимир пока лишь принцип открыл, а до «живой воды», как они ее называют, еще многие годы. Морочат людям головы своей писаниной».

Сергей вообще не одобрял Вериной профессии. Считал, что сестра изменила семейной традиции, хотя врачами у них были только он да мать. Отец же имел весьма косвенное отношение к медицине: преподавал философию в мединституте. Сам Сергей закончил здесь ординатуру, затем профессор Гаврилов пригласил его на кафедру и дал читать лекции по анестезиологии. Попутно брат занимался теоретическими исследованиями акупунктуры, переписываясь с десятками врачей, практически осваивающими иглотерапию, и считал себя очень занятым человеком. Когда ему поручили руководство учебной группой, Сергей взялся неохотно, но вскоре сдружился с ребятами, увлек их научной работой. Марьин и Лебедев едва ли не ночевали в его лаборатории. Пристрастился было и Гречков, но его буквально отвоёвал Евгений Осипович Собецкий, суливший Юрию будущее блестящего хирурга. На третьем курсе ребята уже выступали на научных конференциях с самостоятельными докладами. Вот тут-то Марьин и выдал свою идею.

Зал, как рассказывал потом Сергей, слушал сначала со снисходительной насмешливостью, не принимая всерьез запальчивые студенческие фантазии, пока кто-то не выкрикнул удивленно: «Да ведь это возможно!» Поднялась целая буря. Марьин из запальчивого фантазера произвели в гении, затем два раза разжаловали и опять произвели. Наконец встал молодой член-корр. из Киева и резюмировал: дескать, идея, конечно, крайне интересная, но практическое ее воплощение весьма со-

мнительно, ибо само средство должно обладать столь необычными функциональными свойствами, каких в природе, увы, не наблюдается. И все же последнее слово осталось за Марьиным, который звонко объявил с трибуны, что он с друзьями готов посвятить этому жизнь, пока не создадут такой эликсир, пусть даже природа ничего подобного никогда не предполагала, и сошел в зал под одобрительные аплодисменты.

Позднее его идею восприняли серьезнее. Кто-то из медицинских светил заявил, что ее осуществление изменит всю лечебную практику, сведя количество специализаций до минимума. Некоторые поговаривали, что и подготовка врачей понадобится менее обстоятельная. Вера плохо во всем этом разбиралась, даже очерк в журнале не дал ясного представления. Сергей же популярно объяснять не любил и раздражался от всякого упрощения научных понятий. Ей хотелось расспросить самого Марьина, но она стеснялась, так как была здесь впервые и не совсем еще освоилась в их компании. Да и время для таких разговоров казалось неподходящим.

В комнате сделалось шумней. После шампанского ребята разлили в те же фужеры воду. Лебедев включил принесенный им же магнитофон и танцевал с красивой молчаливой Заремой Кудяровой, умудряясь в такой тесноте легко кружить свою даму. А за столом уже завязывался спор — какая же студенческая вечеринка без спора!

— Вот, нам еще школьникам внушали, что в жизни всегда есть место подвигу. И сочинения на эту тему, и комсомольские диспуты. Начинили героизмом, а куда его теперь девать? — горячится маленький очкастый Лева Печурин. — Ну, Гречков может, к примеру, хулигана задержать. Так разве это подвиг? Просто у Юрки кулаки пудовые.

— Ты неправильно слово «подвиг» понимаешь, — вмешивается Зиночка. — Самоотверженный честный труд — вот что это значит. Помнишь Аллу Александровну из второй хирургии? Она, говорят, еще самому академику Самойлову ассистировала. И сейчас, если у нее отгул, Собецкий нервничает. А ведь, казалось бы, вся работа — «Подайте скальпель!», «Зажим!».

— Чепуха, Зинуля! То, что буднично, не подвиг. Он романтики требует. Взрыва эмоций. Думаешь, почему так часты стали разговоры о стрессовых ситуациях? Просто большинству людей некуда свой духовный заряд выпалить. Тот самый, который их смолоду наполнили. Вот он их и распирает.

Лебедев, меняющий в это время пленку на магнитофоне, заговорил спокойно, не подымая головы:

— У тебя, Печурин, обо всем в жизни какое-то медицинское представление. Даже подвиг вроде скопления газов. Недаром ты философию трижды пересдавал. А она как раз учит судить несколько шире. — Лебедев наконец разогнулся и обвел всех взглядом, словно проверяя, все ли слушают внимательно. —

Я тоже не согласен с привычным пониманием подвига. Вернее — с тем, какому нас учили и продолжают учить сегодняшних школьников. Спросите у филологов, они вам объяснят происхождение этого слова: подвиг — значило подвинуть, заставить общество сделать шаг вперед. А в нынешних условиях для этого нужны не столько моральные качества, сколько смелая оригинальная мысль, огромный запас информации. Будь Эйнштейн безнравственным человеком, он все равно создал бы теорию относительности и тем самым подвинул науку на новый рубеж. И не делай, Дорохова, страшные глаза, я вовсе не отрицаю мораль, но к современному подвигу она не имеет никакого отношения.

— Ну ты загнул, — засмеялся Гречков. — И зачем тогда Марьину его золотой характер?

— Я ничуть не против того, что Володя отличный парень, только его делу это несколько не поможет. Впрочем, ему не помешало бы побольше честолюбия.

Атмосфера накалялась. У спорящих все зазорней посверкивали глаза.

— А духовная культура человека? Разве тот же Эйнштейн не играл на скрипке? — наступала Зиночка.

— Он с тем же успехом мог увлекаться вышиванием...

— А помните очерк Аграновского «Однолюб»? Там ученый даже в кино не ходил и красоту природы не замечал...

Вера наклонилась к брату и тихо спросила, показывая глазами на Лебедева:

— Неужели он всерьез, Сережа?

— Генка-то? Да нет, пожалуй. Всех их во время споров заносит. А Лебедев к тому же перед тобой оригинальничает. Старается привлечь внимание, вот и умничает. Ты ведь у меня красавица. Смотри, и Володька глаз с тебя не сводит.

Марьин действительно сидел тихий и глядел на нее. Он, вероятно, даже не услышал напоминания о себе в кипящем вокруг споре. Смотрел неотрывно, не прячась, но не было в этом взгляде какой-то настойчивости, требующей ответного чувства. «А он на Алешу Карамазова похож, — удивилась вдруг Вера. — Вот таким надо изобретать «живую воду». Добрым и святым. Ох, я, кажется, опьянела и рассентиментальничалась». Вера поднялась и незаметно вышла в коридор.

Длинный неосвещенный коридор общежития кончался с обеих сторон окнами. У одного, обнявшись, стояла парочка. Вера направилась к противоположному. Оно выходило во двор школы, где стояла большая новогодняя елка, на которой забыли выключить разноцветные огни. Вокруг нее толпились забавные снеговики: все с морковками вместо носов. «И откуда зимой столько морковок?» — подумала Вера. На снеговиках красовались цифры: видно, каждый класс лепил своего. Под одной из цифр — «5-й «А» было еще выведено: «Вера+»

[+ Вова». Стало очень смешно от этого совпадения. Где-то открылась дверь, выплеснув на мгновение шум из комнаты, потом слышались шаги и замерли за спиной. «Марьин или Лебедев?» — загадала Вера, сдерживая желание обернуться, но тут же сама поняла кто и, прижавшись лбом к холодному стеклу, тихо засмеялась. Он осторожно сел на подоконник и сказал:

— А знаете, это «окна влюбленных». Если кого-то увидят здесь вместе с девушкой, считают, что между ними что-то есть.

Вера опять засмеялась, не оборачиваясь.

Марьин помолчал, тоже глядя на неостывшую елку, на смешные снежные фигурки с морковными носами — на весь этот остаток детского веселья и спросил:

— Почему, когда испытываешь серьезное чувство к женщине, не хочется о нем говорить вслух?

— Считайте, что за вас уже объяснились, — кивнула Вера на снеговика пятиклашек. — Расскажите-ка лучше, что за «живую воду» вы создаете?

— Вы не медик?

— Нет, журналистка.

— Тогда трудновато. Знаете хотя бы, что такое реанимация?

— В общих чертах. Это когда выводят из состояния клинической смерти.

— Правильно. Только существующие способы реанимации сложны и малоэффективны. Вот наш препарат и должен их заменить. Причем он будет способен полностью восстанавливать жизнедеятельность организма после... Ну как бы это вам попроще сказать?.. После довольно долгой смерти.

— Действительно, как в сказке. Сприснул он Ивана-царевича живой водой...

— Нет, так не пойдет. Скорей всего придется делать инъекцию.

— Ну хорошо. Сделал Серый Волк Иванушке инъекцию, и ожил царевич во всей своей красе.

Оба громко расхохотались.

Вышел Сергей и, закуривая на ходу, приблизился к ним.

— Медицину на фольклор переводите? Несерьезное дело. Ты бы, Владимир, вот о чем подумал. Может, не состав надо искать, а какие-то еще неизвестные китайские точки? Есть ведь тут аналогия с акупунктурой.

— Вам всюду, Сергей Сергеевич, эта аналогия чудится. Конечно, все системы жизнедеятельности организма связаны между собой. А вегетативная — лишь часть всей нервной системы...

Дальше в их разговоре посыпались сплошные термины, и он стал совершенно непонятным Вере. Ей сделалось скучно так молча стоять, и она перебила:

— Вы, Володя, остаетесь на кафедре?

— Нет, его приглашают в институт вакцин и сывороток, —

ответил за Марьина Сергей. — И по-моему, он напрасно согласился. Это намного сузит поиск. Все вы держитесь за сказку о «живой воде», и боюсь, она уведит в сторону. А сейчас пойдите в комнату, невежливо надолго покидать компанию.

Марьин и Вера неохотно побрели вслед за ним.

Их встретили веселыми возгласами. Только Лебедев посмотрел строго и отчужденно и опять склонился над своим магнитофоном, меняя очередную кассету с пленкой.

* * *

В этот приезд Вера не узнала родного города. Последний раз она была тут семь лет назад. И тогда еще здесь многое изменилось. Даже старинное здание мединститута, когда-то гордо возвышающееся своими башенками над площадью, словно поникло и совсем потерялось среди исполинских новых корпусов, построенных в современном архитектурном стиле.

Но больше всего Вера заметила изменение в знакомых людях. Первым удивил ее брат, который в тот год получил звание профессора и созвал по такому случаю всех своих друзей. Среди них не было ни одного, с кем провели они ту памятную новогоднюю ночь. Вера постеснялась сразу спросить о Марьине и начала с Зиночки.

— Какая еще Зиночка? — удивился Сергей.

— Та, на которой Гречков собирался жениться. Ну, маленькая такая, озорная.

— А, Гречков! Я что-то слышал. Он действительно стал великолепным хирургом и уехал, чудак, в какой-то новоотстроенный город.

Помнил Сергей еще Лебедева.

— Этот далеко пошел. Нынче докторскую защищает. Да он, наверно, будет сегодня. Кстати, не раз о тебе спрашивал.

— А Марьин?

Сергей поморщился.

— Знаешь, я до сих пор считаю, что он талантливый малый. Но, видно, из неудачников. В институте вакцин им очень недовольны. Уперся в свою «живую воду», а дело оказалось мертвое.

— И с остальными не встречался? Помню, ты говорил, что здорово к ним привязался.

— Работа, сестренка. Да и они все повзрослели, обзавелись семьями, у каждого свои дела. Вот только Геннадий Лебедев не забывает.

Сейчас, сидя в автобусе, везущем ее из аэропорта, Вера во всех подробностях восстановила и этот разговор с братом во время чествования его профессорской должности, и дальнейшие встречи. Лебедева она увидела в тот же вечер. Он пришел с опозданием и принес цветы.

— Узнал, что вы сегодня прилетите, и выпросил в Ботаническом саду. У меня теперь с университетскими биологами крепкие связи. — И вручил ей букет роскошных роз, галантно склонив голову. Вера заметила, что у него пробивается седина, и, хотя Лебедев выглядел молодо, была в нем достаточная солидность. — А как журналистские успехи? Читал ваши последние очерки из Италии. Я сам два месяца назад вернулся оттуда с симпозиума и, знаете, кое в чем с вами не согласен. Правда, у нас, ученых, несколько иной взгляд на заграничную жизнь, не столь политически категоричный.

Вера вновь ощутила ту давнюю неприязнь и, вероятно, поэтому стала сразу расспрашивать о Марьине. Даже теперь, семь лет спустя, она хорошо помнила, какое выражение мелькнуло на лице Геннадия. Мелькнуло и тут же уступило место печальной озабоченности чужой судьбой.

— Мне жаль Владимира, но его идея оказалась ему же не по силам.

— Кажется, вы собирались претворять ее вместе, отдавая этому свободное время?

— Ах, Вера Сергеевна, в студенчестве с его неэкономной энергией все кажется осуществимым, но обычно жизнь распоряжается иначе. У меня возникли свои научные цели, они потребовали всего меня полностью. И потом, знаете ли, Марьин стал совсем не тот. Замкнулся и, простите, опустил. Видимо, неудачи сломили его. За все это время он не смог сделать даже кандидатской диссертации, многие совсем молодые коллеги обогнали его. В институте Владимира считают настолько бесперспективным, что до сих пор не решились дать ему квартиру, и он поселился у родственников. Попробуйте в такой обстановке добиться с ним коммуникабельности: малейшее предложение сочтет за проявление жалости, я уж его знаю.

Самого Марьина Вера в тот раз встретила лишь перед самым отъездом. Он только что вернулся из леспромхозов и колхозов, где читал лекции по путевке общества «Знание». До его возвращения Вера навела о нем кое-какие справки на работе. Воспользовавшись корреспондентским удостоверением, она побеседовала с директором НИИВСа, якобы интересуясь лишь судьбой марьинской идеи.

— Вначале мы очень поверили в нее. Выделили в самостоятельную тему, создали небольшую группу во главе с Владимиром Андреевичем. Но прошли годы — результатов никаких. А у самого Марьина ни степени, ни научного авторитета, чтобы надолго доверять ему людей и оборудование. В общем, тему закрыли. Правда, я слышал, он продолжает ею заниматься в ущерб основному делу, однако, признаюсь, язык не поворачивается пожурить за это. Кроме того, что-то у него со здоровьем неважно. Часто, как говорят, бюллетенит.

Хотя, догадываюсь, он и это время тратит на свои эксперименты.

Марьин и впрямь выглядел плохо. Он очень обрадовался и в то же время смутился, спрятав под столом руки: уже потом Вера увидела, что рукава его рубашки сильно потрепаны. Лицо выдавало или сильную усталость, или болезненность. Набрякшие мешки под глазами делали его значительно постаревшим.

И все же Марьин не был сломлен. Он еще верил.

— Во всех неудачах виноват только я. Мне надо было сначала самому получше продумать направление и систему поисков, а уж потом просить группу, оборудование, средства. Вместо этого мы скопом тыкались, словно слепые котят, портили нервы.

Болодя, забыв о своих обтрепанных рукавах, разгорячился, заходил по комнате, сопровождая слова жестами.

— Понимаете, Вера, она, эта «живая вода», оказывается, должна быть действительно живая. И как я сразу не додумался? Ведь в природе всегда одни организмы помогают другим. Есть, например, маленькие санитарные рыбки, которые, ничуть не пугаясь, постоянно выются вокруг акул, очищая им жабры. А тысячи видов необходимых бактерий! Да мало ли аналогий? Дело лишь в том, что сама природа не догадалась создать микроорганизм, нужный нам в данном случае. Что ж, надо ей помочь.

Прощаясь, Марьин опять смутился, убрал руки за спину и проговорил:

— Вы уж извините, Вера. Домой пригласить не могу. Тет-ка захворала, и все там не прибрано.

Она не сказала, что и у нее нет такой возможности, так как на встречу с ним было отведено лишь тридцать-сорок минут.

Теперь Вера ехала сразу к нему. Из аэропорта она позвонила брату.

— Может, за тобой машину прислать? Тут у меня сидит Геннадий Александрович, очень хочет видеть.

— Какой еще Геннадий Александрович? — злорадно переспросила Вера, хотя отлично знала, о ком идет речь.

— Да Лебедев. Он у нас уже проректор и транспортом самостоятельно распоряжается. Так подослать авто?

— Нет, не надо. Я все равно сначала к Марьину отправлюсь.

— Вот как? — удивился Сергей. — А мы ведь семь лет не виделись. Ну да ладно, ждем тебя сегодня к ужину. Кстати, у Марьина кое-какие интересные статьи появились. И все на ту же тему.

— Знаю, — ответила Вера и повесила трубку.

В институте вакцин ей сказали, что Марьин болен, но

сегодня звонил по телефону, значит, дело пошло на поправку. Вера узнала адрес и отправилась к нему домой.

Дверь открыла пожилая полная женщина.

— Мне бы Владимира Андреевича, — робко спросила Вера. — Если, конечно, он не очень плохо себя чувствует.

Женщина внимательно поглядела на нее и крикнула в комнату:

— Володька! К тебе, по-моему, та самая Вера приехала!

И тут же в коридор вылетел сам Марьин, сильно похудевший, но оживленный.

— Не удивляйтесь, — проговорил он весело, забирая чемодан и помогая снимать плащ, — тетка по моим рассказам так хорошо вас представляла, что не могла ошибиться. Ну вот, а теперь официально познакомьтесь.

— Варвара Михайловна, — протянула женщина мягкую руку. — По отчеству-то как будете?

— Сергеевна. Вера Сергеевна.

— Тетка, — перебил церемонию Марьин. — Чаю и пару бутылок сухого.

— Тебе-то, с твоими почками?

— Тихо, тетка, при гостях об этом не говорят. В общем, накрывай стол, а я пока кое-что покажу Вере.

— Очень ей интересно твои пробирки посмотреть.

— Интересно, тетка. Очень даже интересно, — и он повлек Веру в комнаты.

Собственно, комната была одна, и лишь перегородка образовывала маленькое помещение без окна. Тут умещались стол, тахта, а всю стену занимал стеллаж, на котором стояли и книги, и какие-то приборы, и штативы с пробирками. Единственным источником света являлась настольная лампа на гнущемся кронштейне. Был еще небольшой самодельный сейфик, притулившийся в углу. К нему-то Марьин и направился, усадив Веру на тахту.

— Вот сейчас, Вера Сергеевна, вы ее увидите. Причем первая, если не считать меня самого да тетки Варвары.

Он достал коробку от фотоаппарата, раскрыл ее и извлек что-то закутанное в вату. Развернул, и на столе оказалась маленькая колбочка, чуть заполненная жидкостью.

— Это и есть она. Впрочем, скорее он. Мутант. Все семь лет я выводил его и получил, можно сказать, случайно. По крайней мере, не представляю до тонкости этот процесс, а малейшая неточность дает уже совершенно иное. Теперь вся надежда на естественное его размножение. Пока здесь нет и грамма, но за десять-двенадцать дней он увеличивается вдвое. Через год речь пойдет уже о тоннах. Представляете, Вера, тонны «живой воды»!

Марьин говорил все возбужденней, и Вере показалось, что

его лихорадит. Пальцы, держащие колбочку, слегка подрагивали.

— Вы, конечно, поинтересуетесь, каков он в действии? — торопливо говорил Владимир. — Я провел несколько опытов, истратив большую часть запаса. Результаты поразительные. Собака ожила через двадцать два часа. За сутки, за одни только сутки обезьяна излечилась от туберкулеза. У кролика регенерировалась ампутированная часть легкого. По всей вероятности, мутант способен и на большее, но нельзя было его растрчивать. Остальное я храню как зеницу ока.

Потом они пили чай — вино Варвара Михайловна так и не подала, — вспоминали, шутили, но Вера все с большей тревогой смотрела на Марьина. Теперь она была почти уверена, что он болен, и серьезно. Наконец она не выдержала и сказала, от волнения и беспокойства перейдя сразу на «ты»:

— Володя, тебе надо лечиться. Бросить пока всю работу и заняться своим собственным здоровьем. Я поговорю с Сергеем, тебя обследуют лучшие специалисты.

Вера намеренно не напомнила о том, что Марьин и сам мог бы обратиться к ее брату или Лебедеву, зная, как трудно ему воспользоваться остывшей дружбой.

— Спасибо. Но скоро приедет Юра Гречков. Ему я больше всех доверяю.

— Что, так серьезно?

— Почки. — Марьин вдруг встряхнул головой и оживился: — Знаешь, а ведь это помогало мне в работе над мутантом. После каждого приступа дают отлеживаться несколько дней, вот я их и использовал. Видела, в той комнате все под рукой, много двигаться не надо.

Он проводил ее в переднюю. Хотел и до автобусной остановки, но Вера не разрешила: на улице было сыро, опасно для него. Володя смотрел, как она одевается, и печально молчал. Взяв протянутый им чемодан, она подошла вплотную и, не стесняясь выглянувшей Варвары Михайловны, поцеловала Марьина.

— Самое главное — поправляйся, И, ради бога, не работай после приступов.

На улице Вера заплакала и так, всхлипывая, шла под морозящим дождем, не вытирая слез. Было уже темно, и никто этого не заметил.

Сергей встретил ее весело.

— А мы просто заждались тебя, сестренка. Ну-ка покажись. Э, да ты стала еще красивей. Геннадий Александрович, Ириша, встречайте гостью! — Он снова повернулся к Вере и объяснил: — Ирина — это жена. Я писал тебе. Она секретарем у Лебедева работает.

Первое, что Вера увидела, войдя в гостиную, роскошно заставленный стол. Искрился гранями хрустальный графинчик

с водкой. Золотились этикетки на коньяках. Восковато отсвечивали балыки, ярко пестрели салаты. В серебряном ведерке лениво полулежала бутылка шампанского. И над всеми этими соблазнами грациозно летали красивые руки женщины, украшенные несколькими драгоценными камнями.

— Вера Сергеевна, голубушка, что же вы так долго? Мне так не терпелось вас увидеть. И Геннадий и Сергей очень много о вас рассказывали.

Женщина обошла вокруг стола и торопливо чмокнула Веру в щеку. Она была молода: лет, пожалуй, на двадцать моложе Сергея, но держалась на равных. В общем-то, внешне все в ней Вере понравилось, кроме рук, которые казались хищными из-за длинных заостренных ногтей, покрытых перламутровым лаком.

Лебедев поздоровался сдержанно, словно и не дожидался весь вечер ее прихода. Вообще он был суховат и корректен: видно, должность наложила свой отпечаток. Только за столом Геннадий несколько оживился, взял из ведерка шампанское и повертел бутылку в руках.

— Помните, Вера Сергеевна, как мы открывали такой вот огнетушитель на новогодней вечеринке в общежитии? Я тогда еще собирался с Марьиным на антибрудершафт пить.

— Ох этот Марин! Ни один ужин не пройдет без упоминания о нем, — вмешалась Ирина. — Ну повезло человеку. Да, да, не спорь, Сергей, тут совсем не в таланте дело, потому что, будь у него талант, не сидел бы до сих пор без ученой степени. И мне кажется, что и Геннадий и ты превозносите его из чисто дружеских чувств.

Веру не покорила такая невежественная безапелляционность, она заметила другое: Ирина во второй раз первым упоминала Лебедева, а уж потом мужа.

— Ты не права, Ириша, — благодушно возразил Сергей, разливая из графинчика водку. — Володька — это голова! Главное, что он до конца верил в свою идею и, чего уж там скрывать, утер-таки нам нос.

Они сидели до двух часов ночи, вкусно ели, пили и много говорили о Марьине, о его открытии. Вера почти все время молчала.

На следующий день Вера улетала в Ялту: у нее был отпуск и путевка в санаторий. Перед самым выходом из дома с работы позвонила Ирина.

— Верочка, — она еще вчера почти сразу приняла ласково-родственную форму обращения к золовке. — Геннадий Александрович хочет тебя проводить, он сейчас подъедет.

Вера не стала объяснять, а просто торопливо оделась и, выскочив на улицу, поймала такси. Ей очень хотелось заскочить хоть на минуту к Марьину, но она постеснялась попросить водителя: это было совсем в противоположном конце города.

«Из Ялты напишу ему, — решила Вера, — а после отпуска попрошусь сюда в командировку».

Начался дождь. По ветровому стеклу машины с усилием заходили «дворники». «А молодец, Володя! Задел он их самолюбие. Каждая похвала так завистью и отдаёт».

* * *

В Москву из санатория Вера вернулась с поездом. До конца отпуска оставалось еще четыре дня, и она решила в редакцию не ходить, даже не напоминать пока о себе. Но буквально через час позвонила редактор отдела Софья Калугина.

— Вера? А я боялась, что ты еще не приехала. Тут тебе утром телеграмму принесли. Приедешь? Или прочесть?

— Прочти, — попросила Вера.

— Сейчас. Где-то она здесь среди гранок была. Ага, вот. Ну, слушай... — Калугина вдруг замолкла.

— Чего молчишь? Что-нибудь неприятное?

— Кажется, да. Читаю текст. «Скончался Марьин. Шестого похороны. Вылетай. Гречков».

Вера прижала трубку к лицу. Трубка стала влажной и теплой, будто живая. Из нее доносилось: «Вера! Вера! Что с тобой! Я сейчас к тебе приеду».

Калугина приехала через полчаса. Она ни о чем не расспрашивала. Заказала билет на самолет, помогла Вере собраться. Только в аэропорту, обняв ее за плечи, сказала по-бабьи:

— Ты выплачься как следует по дороге, может, полегчает.

...Дверь Володиной квартиры открыла Зиночка. Она ткнулась лицом в Верино плечо и всхлипнула. Потом появился Гречков, осторожно обхватил их обеих своими огромными руками и повел в ту комнату, где Вера совсем недавно разговаривала с Марьиным.

— Тут уже покопалась комиссия, собирая все, что связано с Володиной работой над препаратом. Я отобрал только его личные бумаги. Их, видите, совсем немного. — Юрий кивнул на папку, лежащую на столе. — Тут ваше письмо из Ялты и его недописанный ответ. Простите, что прочел, но иначе это сделали бы посторонние.

Он поднялся, еще более огромный, чем Вера его помнила, и потянул жену за руку.

— Пойдем, Зиночка. Надо еще помочь Варваре Михайловне.

Гречковы вышли, и Вера тут же торопливо развязала папку. Сверху лежало несколько листов, исписанных незнакомым почерком. Вере вдруг стало странно, что почерк Марьиной ей незнаком, что за столько лет они не обменялись даже поздравительными открытками. Она опустила на тахту и принялась читать.

«Вера, милая! Я впервые решаюсь написать тебе. Это правда дало мне твое письмо и еще одно обстоятельство — мы уже вряд ли сможем увидеться. Во время последних приступов я понял, что наступает конец. Оказывается, правду говорят, что умирающий чувствует свою смерть, для этого даже не нужно никакого медицинского образования. Ну а мне, врачу к тому же, ясно, какие процессы происходят в моем организме и что их не остановить ни самым искусным хирургическим вмешательством, ни любыми медикаментозными средствами.

Впрочем, вру. Есть одно средство. Вот оно, стоит передо мной на столе. Это мой мутант, мой всемогущий эликсир. Но его еще так мало!

...Когда меня несколько отпускает, я принимаюсь философствовать. Вероятно, это вызвано ощущением своего финала и твоим письмом. А думаю вот о чем.

Тринадцать лет я создавал средство, возвращающее жизнь. Не буду скромничать, равных этому открытию в медицине немного. Но я не дождался славы, наград, почета... и что там еще положено в таких случаях. Даже не успел стать кандидатом наук (а помнишь, мне друзья пророчили академика) или хотя бы получить свою квартиру, чтобы не ютиться у тетки.

Долгие годы я любил тебя, считая свое чувство безответным и не питая никакой надежды. И вот, когда смерть оказалась столь близко, что ты уже не сможешь опередить ее, получаю твое признание. Снова мне совсем немного не удастся дотянуться до своей судьбы.

Спрашивается: был ли я счастлив? Удалась ли вообще моя жизнь?

Был, Вера. Причем очень счастлив.

Я перебирал в памяти очень много моментов и понял, что они — вершины душевных праздников. Большого жизнь и не могла подарить.

Я был счастлив своей любовью. Честно сказать, не знаю, принесла бы она столько необыкновенных мгновений, превратившись в обычный брак? Помнишь окно в коридоре общежития, у которого мы стояли? Я несколько раз приходил туда и испытывал такую грусть, такое волнение, что после этого ходил как охмелевший, прислушиваясь к затихавшей внутри сладкой боли. А однажды в том же школьном дворе увидел елку и окружавших ее снеговиков. Зашел и написал на одном из них те же слова. Меня шугнула сторожиха — пришлось удирать через забор. Зато потом, глядя из общежитского окна, можно было представлять, что это тот же новогодний вечер и все повторяется снова. Попадая в компании и глядя, как милуются, ссорятся, мирятся разные пары, я всегда ощущал, что у меня нечто большее.

Счастьем была и моя работа над созданием «живой воды». Когда, уже засыпая, я вдруг обнаруживал удачное реше-

ние, вскакивал и до утра возился за своим столом, удивляясь, как гениально просто все получается, мне было необыкновенно хорошо. Я на цыпочках, чтобы не разбудить тетку, выходил из своего слепого «кабинета», открывал форточку и вдыхал светлеющий рассветный воздух. В этот момент мне казались прекрасными даже серые одинаковые крупнопанельные дома, которые составляют постоянный пейзаж, видимый из окна теткиной комнаты. А представляешь, какие чувства охватили меня, когда я убедился, что мой препарат действительно способен воскрешать...»

На этом письме обрывалось. Так же неожиданно, нелепо, перед самым главным, как оборвалась Володина жизнь.

Опустив последний лист, Вера уперлась взглядом в свет настольной лампы. Свет расплывался, делился, все вокруг теряло реальность. словно со стороны она услышала, как повторяет одну и ту же бессмысленную фразу: «Надо что-то делать! Надо что-то делать!» Понимала всю несуразность этой фразы, всю необратимость случившегося и все равно продолжала твердить ее. И вдруг умолкла, потрясенная догадкой. Фраза, стучащая в мозг, сразу обрела смысл. Да, да, делать надо было. Делать то, на что не рискнул сам Марьин. Как она раньше не додумалась до этого, как не додумались все остальные?

Неслышно вошел грузный Гречков, и Вера подняла на него вопрошающие глаза. Юрий, очевидно, ждал этого вопроса, поэтому опередил ответом:

— Он все предусмотрел, Вера. Запер колбу и все материалы о своей работе в сейфе, оставив лишь короткую записку: «Вскрыть не раньше, чем через двое суток после моей смерти». Никто не знал, что препарат уже создан. А эти двое суток нужны были Владимиру, чтобы друзья-коллеги не истратили всю «живую воду» на его воскрешение: за сорок восемь часов в человеческом организме наступают такие изменения, против которых, увы, бессилён даже марьинский эликсир. Володя точно рассчитал его предел, он всегда был скрупулезным ученым.

На следующий день Марьина хоронили. Гроб вынесли из актового зала, и он медленно, торжественно поплыл по мединститутским коридорам. На всех этажах и лестницах, пропуская его, прижавшись к стене, молча стояли люди. И так же молча лилась между ними процессия, словно темная суровая река среди хмурых, безмолвных берегов. Впереди шли академики в строгих ритуальных одеждах, профессора, преподаватели, студенты. Шли мимо печальных лиц, мимо распахнутых пустых аудиторий.

«Когда же Володю успели узнать и полюбить столько людей?» — думала Вера. И вдруг поняла: со всеми случилось то же, что и с ней. Это его светлая, молчаливая любовь к ним отозвалась в каждом сердце. Уж она-то знала ее силу.

ПЕРЕКРЕСТОК

Подберезовик был крепкий, плотный, на высокой, изогнутой у земли ножке, в светлых пятнах по черной шляпке. Толику нравилось даже его название — обабок. Зацепившись свитером за куст, так что ветки пружинисто потянулись за ним, Толик продрался сквозь заросли, стал на колени, аккуратно подрезал во мху грибную ножку.

— Что вы нашли, дядя Толя? — заставил его выпрямиться завистливый Лоркин голосок.

— Поганку... — Толик усмехнулся.

— А ну покажите!

Толик протянул племяннице корзинку.

— Ничего себе поганка! Мне бы такую! А я вон хожу-хожу, только донышко закрыла. Так нечестно.

— Зато у тебя два белых. Хочешь, поменяемся?

— Ага, хитренький какой, дядечка Толечка! Чтобы мои толстопятики тоже к вам перешли?

— Ну и нечего задаваться, грибы хвастунов не любят. Иди лучше сюда, укуси черничку...

— Нетушки-нетушки, сами там, у муравейника, ползайте.

— Подумаешь, испугалась!

— А вот и не испугалась! Я, если хотите знать, даже комаров не боюсь. Уже тридцать три штуки прихлопнула. Нет, тридцать пять: вот сразу два попались. Сейчас запишу.

Лорка достала из-под куртки блокнотик, шариковый карандаш, поставила пару черточек в чистой клетке. Потом, вздохнув, опять взялась за корзинку:

— Дядя Толя, понесите, а?

— Выйдем из лесу — так и быть, выручу. А пока сама таскай!

— Тогда хоть спойте что-нибудь... Печору. Или про Отелло... Ой, а вы сыроежку пропустили!

— Я их не беру. Осторожно, тут болото, не зачерпни сапогами! Ступай по корням.

— Я застряла,

— Потому что ты нытик. Ну, смелее!

Толик прошупывал палкой качающуюся, залитую черной жижей тропку. В кедах хлопало, однако шерстяные носки не давали ногам застыть. Лорке в резиновых сапожках все было ничем, но она примолкла, несколько волосков выбилось из-под капюшона, и она их не поправляла. Остренький носик брезгливо морщился: здесь пахло гнилью, листья ивняка покрывала ржавчина, кое-где торчал мохнатый от старости и мха сухостой. Липкая паутина неприятно щекотала лицо, а летучие пауки, падая сверху, копошились в волосах, впивались в шею. От них долго зудело и чесалось тело.

— Дядя Толя, лес не любит людей?

— С чего ты взяла?

— Ну вот в парках белки не боятся брать сахар из рук, а в лесу ни одна не покажется. И еще там деревья прирученные. А здесь дикие, хмурые. Вроде задумались...

— У тебя фантазия как у наших предков. Древние считали, в каждом дереве по человечку живет. Срубишь дерево — загубишь живую душу. Из-за таких дремучих местечек и насочиняли сказок...

— Значит, про лес ерунду говорят?

— Конечно. Что здесь есть? Глухие деревья да комары. Пусто...

Толик размахнулся и гулко стукнул палкой по стволу березы.

— Ну на тропинку мы выбрались. Теперь строго по солнышку — и дома!

Вдгонку им зашелестели листья. Хрустнула ветка. Чуткая предзакатная сырость уже подстерегала лес.

Тью вздрогнула от удара по дереву и, выглянув, успела поймать краешек солнца. Она знала, что потом заболят глаза и кожа на лице будет саднить и искриться, и колющим нытьем ответит на перегрев фолль — складка термолокатора у горла. Она знала это — и все-таки на секунду раньше, чем следовало, оторвалась от шершавой березовой коры. Холодный багровый луч царапнул по глазам так, что виски заломило. Тью зажмурилась и не увидела, как солнце покатилося под горизонт.

Роса уже пала на траву, лес пробудился, синицы торопливо дотягивали обязательную вечернюю звень, и по своим извилистым путям поплыли тоненькие голоса запахов. Пахло мухомором, таволгой, мокрой паутиной, золой, а откуда-то издалека желтенький мотылек сильно звал свою подругу.

Тью отделилась от ствола, дунула вдоль ветки — послушать, как поворачиваются листья, — и тихо скользнула вниз. Из-за толстого корневища выглядывал, улыбаясь, заяц, которо-

го она неделю назад вызволила из капкана. Лапку зайцу пришлось заговаривать, потому что шерсть, и кровь, и нервы — все в организме перессорилось между собой. Увидев ее, зайчик из всех сил забарабанил по дереву.

— Поиграй, малыш, один, некогда. Тави сегодня очень заняты.

Заяц горестно опустил одно ухо.

— Иди-иди, нечего притворяться! — Смеясь, Тью потеребила пушистый заячий загривок. Звереныш с поддельным ужасом заверещал и сиганул за куст.

День угасал. Юная тавья легко шелестела меж деревьев, не так больно и шумно для них, как это делают люди, даже идя по тропинке, а плавно и естественно отгибая каждую ветку вроде легкого ветра или змеи в траве. На холмике у Кривой Осины задержалась. Деревце монотонно покачивало листвою.

— Вставай, соня! — Тью звонко шлепнула ладошкой по стволу.

Осина замерла. Над развилкой показалась славная заспанная мордашка Миччи.

— Я уже давно не сплю, — сказал Миччи, тщательно прикрывая рот. Так тщательно, что Тью тоже не удержалась от зевка.

— Веснятам рассказывай, может, они поверят. А мне тебя колыбельная выдала.

Осина прислушалась и перестала баюкать листьями тишину.

— Ну-ну, не ворчи! — Миччи съехал по стволу, прихватил по дороге росы на пальцы, протер глаза. — Грагги еще не били?

— Нет, но нам пора! — раздалось у самых ног, и из-под валуна вынырнул худенький стремительный Зииц.

— Как спалось? Не жестко было? — насмешливо спросила Тью.

— Ничего, спасибо.

— Муравьи не донимали?

— Да рыжие воевать соседей бегали, им не до меня было. А вот корень твоей осины целый день жужжал, в мою сторону пробивался. Припугнул малость. Она не жаловалась?

— Не помню, — неопределенно ответил Миччи.

— Нашел кого спрашивать. Ему и Грагги над ухом бухнут — не добудятся, — пояснила Тью.

— Во, расщебетались, тему себе по зубам нашли! С вами того гляди опоздаешь! Идем?

— Без завтрака? Миччи, ты заболел! — Тью направила на него фолль и мгновенно заслонила рукой: — Так и есть. Температура — минус!

— По дороге перекусим, — пообещал Миччи. — Я вчера смотрел место, где кипрей медом наливается.

— Это ж другое дело, — обрадовался сластена Зииц. — Веди!

И все трое заструились к Поляне.

Темнело быстро. Прежде чем поблекнуть на ночь, краски еще разок вспыхивали, а потом впитывались внутрь травы и листьев, уплывали вверх. Зелень набухала и тяжелела, обретая синие глянцевого тона. Небо светлело, выравнивалось, таяло в глубину. А для тави с их фольмами занимался рассвет: все вокруг испускало тепло, и контуры предметов прорисовывались тонкими оттенками на общем белом фоне. Скоро кожа тави тоже стабилизирует цвет. А пока по ней — мгновенная мимикрическая смена пятен под проносящиеся мимо кусты.

Тью закинула руку за голову, прострекотала что-то легкое и, не останавливая бега, обернулась всем туловищем назад:

— Знаете, мальчики, если все пройдет удачно, я буду страшно счастлива. А вы?

— По мне и так хорошо, по-старому, — невнятно пробормотал Миччи, на ходу поднося ко рту горсть незрелой, едва начавшей кое-где белеть брусники. Ягода оказалась кислее, чем он предполагал, и лицо его сморщилось.

— Рядом с тобой и березовый сок забродит, бука! — Тью засмеялась. — А вот я, мальчики, жду не дожусь, когда расширится наш мир. Я его чувствую, этот мир света и красок. Мы возьмемся за руки, выскочим под раскаленное небо и запоем: «Солнышко, солнышко, выгляни из облачка!»

— Да, найти общий язык с людьми — это на привычной планете обрести братьев по Разуму, — вмешался Зиц. — Хвала и трижды хвала Совету, который наконец решился на эксперимент.

— Не понимаю, чему вы радуетесь? — не сдавался Миччи. — Неизвестно, чем все кончится...

— Ну это ты брось! — Зиц остановился. — Предсказатели по многу раз всякие варианты перечувствовали. Старые даже положили несколько младенцев в строгую спячку — на случай, если мы все-таки утратим себя...

— Видишь ли, самые необратимые изменения подкрадываются и накапливаются постепенно. И не заметишь, и назад не повернешь. Вдруг мы, новые, кинемся уничтожать прошлое? В том числе и спящих младенцев?!!

— Ишь куда загнул! Не настолько же переломится наше сознание!

— Много ты знаешь об Излучении!

Миччи вздохнул и покатился под горку, такой кругленький, взъерошенный и несчастный. Разве он, бедняга, виноват, что волнуется за свои привычки, за настроение тави и особенно — за одну молоденькую симпатичную тавинку с ресницами, как тычинки спирей?.. А еще, вероятно, он просто боится Излучения: говорят, в какой-то момент наступает боль... Вот Зиц — тот совсем другое дело. Для Зица безоговорочно хорошо все новое. Ему нравится быть чуточку впереди остальных. К тому

же росой не пой — дай покомандовать. Он по уши влез в подготовку и ждет лишь сигнала Граггов. Тью тоже всей душой за эксперимент. Но ведь и разделять мнения можно по-разному!

За мыслями Тью замедлила шаг, чем тут же бессовестно воспользовался Миччи. Ворча и стеная по поводу раннего вставания, он повалился под кустик и мгновенно захрапел. Хлопотливый Зиц вынырнул из-за пня, прикрикнул на соню и, не ожидая, пока Миччи кончит переминаться с ноги на ногу, умчался доругиваться с занудливым комаром-вегетарианцем, который до лихорадки изводил всех рассказами об отвращении к горячей крови. Вернувшись, Зиц отослал ошалевшую от радости услужить совку с вестью, что с минуты на минуту придут на Поляну. Затем прямо с середины продолжил спор:

— Вы себе не представляете, как это здорово — тави и человечество лицом к лицу! Излучение расщатает наши организмы, и мы выйдем под солнце из позорного ночного одиночества!

— А дальше? — возразил Миччи, аппетитно посасывая горловку кипрея.

— Что «дальше»? — не поняла Тью.

— Ну предстанешь ты перед человечеством — такая шустренькая, юркая, с полупрозрачной кожей, слабенькими четырехпальными ручками и уродливыми, по их понятиям, глазами — неужели ты думаешь им понравиться?

— А почему нет? — Тавинка искренне удивилась. — Они ведь тоже одни-одинешенки на планете! Вот и будем дружить. Вы слышите, люди? Примите нас в братья!

Последние слова прозвучали безнадежно-отчаянно, как крайний аргумент в споре, как неожиданная петушиная нотка в голосе подростка. Солнце манило Тью крепко и непонятно. Она любила дневные краски, которые урывала для себя ценой обожженных глаз. Потом все тускнеет, сереет, выцветает, но эти первые мгновения Тью ухитрялась растянуть в памяти, дополняя солнечными бликами однотонный спектр фолля. Не меньше ее манили и люди. Но кому объяснишь внезапное желание сегодня остановить ту девчонку-грибницу, поболтать с ней, познакомиться со смысленным зайцем вместо ожиревшей парковой белки? Тью цеплялась за ее курточку, окликала, держала выбившуюся из-под капюшона прядь, но человеческий детеныш ее не понял. Вдруг и потом не поймут? Нет, лучше об этом не думать. В конце концов, даже Миччи ничего не хочет понять из тихой любви к уюту. Он не любит нового. Ни в большом. Ни в малом. Подскажи ему кто, он и своей осине запретит подрастать, чтоб дом ему ненароком не портила. Если, разумеется, не поленится. С ним и это случается...

Тью замолчала, но слова ее задела Миччи:

— «Братья», говоришь? Послушай, вон там топают твои будущие «братья». Хочешь стать похожей на них?

— Миччи, будь объективен! — возмутился Зиц. — Мы должны смотреть на людей с вершины нашей цивилизации, быть достойными встречи...

— Погоди. Я попробую сама. Ладно, Ми?

— Валяй. Только вы все равно меня не убедите. — Миччи приямл траву и лег, вяло отстранив от локтя неосторожного светлячка.

— Не понимаю, почему мне надо отказываться от внешности? — Тавинка повернулась к Миччи и сердито пристукнула ножкой.

— Тью, да или нет? — настойчиво переспросил Миччи, не открывая глаз.

Тью насупилась, отпрыгнула в сторону, взлетела на валун, сильно наклонилась к земле. Невдалеке сонная малиновка чиркнула коготком о намокший край гнезда. Малютка обабок хрустко расталкивал шляпкой мох. Жук-листорез в дурном настроении переползал на соседнюю ветку. Из-за деревьев вынесло шум проходящего вдали поезда, и тотчас, все сметая, налетел запах перегретого рельса.

— Пожалуй, нет. Но...

— Достаточно. Меня не интересует, почему нет. — Миччи сладко зевнул и повернулся на другой бок. — Взять хотя бы тебя, Зи. Я не верю, что тебе нравится спать под валуном...

— А почему ты решил, что нравится? Вовсе нет! — Зиц независимо стрельнул язычком, слизнув с продолговатой шишки горьковатую капельку клея. — Даже сухая елка приятнее безразличного камня. Но, не растеряв своего, мы должны научиться всему тому, что умеют люди.

Он подпрыгнул, распалстался вдоль соснового ствола и завис, ритмично цапая пятками чешуйчатую кору. Неудивительно поэтому, что из дерева тотчас высунулась недовольная физиономия дядюшки Дилля. Поскольку никто его не заметил, он положил голову на руки и прислушался.

— Видишь, тебе мертво, сухо, но ты решил во что бы то ни стало догнать человека, — монотонно продолжал делиться сомнениями Миччи. — А вот надо ли стараться? Ты об этом подумал? Человек глух к природе, он нас не слышит и не желает услышать. К тебе может забрести на пару слов крот. И осиновый корень прибьется с приветом и благодарностью, только помани. Лишь одно не под силу нормальному тавну: власть над машиной. Но, может, не такое уж это и великое преимущество?!

— Bravo, юноша! Немножко назойливо, зато наглядно! — Дилль оперся о разлапистую ветку, кряхтя, извлек помаленьку все туловище. Он был очень стар, желт и свои ослабевшие глаза непомерно увеличивал настоем бересклета.

— Здравствуй, будь вечен, дядюшка Дилль! — виновато приветствовала старика Тью. — Мы не знали, что ты отдыхаешь.

— Я догадался...

— А Грагги? Ой, вечник, тебе давно пора быть на Поляне! — Зиц, не отлепляясь от ствола, быстро обернулся.

— Мальчик мой! — Дилль укоризненно понизил голос. — Ты же знаешь, как я отношусь к опрометчивой возне с «Перекрестком», кому только в голову пришло такое дурацкое название! К сожалению, все тави разделились вроде вас: двое из трех «за»... Спрашивается, куда же деваться нам, которые не верят в человека? Вот не верим — и все. Так, Миччи?

Миччи молча кивнул.

— Да и что нам, собственно, даст человек? Он роет и режет там, где бы мы просочились. Его окружают мертвые камни, металл, стекло. Даже дерево он сначала убивает, чтобы сжечь или в лучшем случае построить дом. Мне, старику, смешно искать с таким существом контакта.

При этих словах Зиц съежился, соскользнул с дерева, махнул рукой. Какой смысл тратить время, если все давно решено? Пока они тут спорят, серебряные паучки на Поляне довязывают нити антенн. Старые уже подвели к поверхности толстые рудные жилы и теперь стягивают в узел пойманное солнце. Через несколько минут тонкое излучение, никого больше в мире не замечая, ударит по организмам тави и превратит их в дневные существа. О чем же тут спорить и причитать? Все ясно...

— Я побегу, — сказал Зиц. — Мне поручено муравейник изпод экрана переселить. И вы не очень задерживайтесь...

Он скакнул на тропинку, догнал стайку шумливых детишек с пожилой невозмутимой тавьей-наставницей впереди, быстро перестроил их тройками, взял самого маленького на руки и бодренько со всеми вместе исчез. Дилль посмотрел им вслед, натужно сполз на землю, охнул, наступив на брошенную бутылку заскорузлой от старости подслеповатой ступней и оттого еще больше распалился:

— Когда-то на Земле царили рептилии. Среди многих суетились маленькие юркие ящерицы — наши предки. Внезапное космическое излучение убило гигантов, а мы скрылись в леса, отгородились деревьями от дневного света. Старые считают, следовало вытерпеть, приспособиться, и сейчас в мире было бы две братские цивилизации. Вопрос только: допустили бы мы развитие соперников из каких-то млекопитающих? — Дилль неодобрительно фыркнул.

Грагги на Поляне ударили первый раз.

Миччи приподнялся на локте и, склонив голову, рассматривал одним глазом принесенный ветром клочок бумаги. Тью придвинулась, свесившись с валуна почти параллельно земле, и с большой притрунулось к этой раздробленной, вываренной и засохшей жизни. Ей стало жаль незнакомое загубленное дерево, ведь в лесу хватает всякой бросовой хвои и листьев. Она подкинула клочок на ладони, дунула, бумага взлетела, едва не зацепив Дилля. Старик с отвращением изогнулся, пропуская ее ми-



мо, и следил за ней до тех пор, пока ее снова не принял и не умчал ветер. Потом тяжело вздохнул:

— Сорят люди. Однажды выпускают по недомыслию злую силу — и тью-тью наша планета! Вместе с нами. Мне-то в мои годы не страшно. За вас обижаюсь. Я тут на досуге задумался. Вот человек подминает природу, а сам изменяться не хочет. Тави, наоборот, так гнулись и сливались с ней, что почти потеряли себя. И теперь потихоньку угасают. А ведь мы живем на одной Земле. И путь у нас с человеком в общем один. Неужели же мы не можем помочь друг другу? Чувствую сердцем, права молодежь, вместе держаться следует, вместе веселей. А разумом не могу принять человека с его солнцем и его скоростями. Нет, жили мы без него пять миллионов лет — и еще проживем!

— Оно конечно, в родных лесах тави еще ого-го! — сказал, появившись невесть откуда, Зиинц. — А вот в космос голышом не выбежишь! Так что устарели твои теории, дядюшка. Кончай брызжаты!

И, не слушая тяжелого стариковского вздоха, накинудся на бедного Миччи — задевать Тьюу ему не хотелось.

— А ты когда-нибудь сдвинешься с места? На Поляне все готово, ждудт вот таких остороженьких...

— Ох и суетливое поколение! — Дилль сердито засопел. — Где гарантия, что Излучение не убьет наш изнеженный Разум?

— Человек наша гарантия, вечник! Человек Думающий!

— Да-да-да. То самое теплокровное существо, которому в жару жарко, а в холод не согреться, которому ничего не стоит смахнуть с планеты целые семейства растений и животных... Для него остальной мир просто не имеет значения...

Дилль задумался, стоя на одной ноге и потирая ушибленную ступню. Тьюу укоризненно посмотрела на Зиинца, взяла старика под руку:

— Тебе по-прежнему не хочется на Поляну, дядюшка?

— Чего я там не видел, девочка? Высаженный вашими руками экран? Нам повезло: излучение не успел открыть человек. Оцепленные свинцом и бетоном, здесь пролегли бы километры радиоактивной аппаратуры. Такова цена однобокой машинной логики.

— Но ведь мы старше людей на пять миллионов лет!

— И вдруг возмечтали о молодости? Оставь, милая. Сказки хороши, пока они не превращаются в быль. Чего нам сейчас не хватает?

— Общения, добрый ты наш злюка! — Тьюу обняла Дилля за плечи, но он вырвался и отступил:

— Без этого мы, старики, в общем, можем уже обойтись. А вы... Ладно, ребятки, шагайте. Вот и матери с веснятами потянулись. Скоро начнется. А мои дурные мысли пусть останутся здесь, со мной...

«Эх, оптимисты! Любопытство в вас всегда впереди опасения!» — Дилль безнадежно махнул рукой и попятился в свою покосившуюся, скрипучую, засыхающую сосну. Прежде чем скрыться окончательно, он сказал:

— Мы веселый, жизнерадостный народ. Для нас естественны мечты о дружбе. Но человек никого не хочет, кроме себя. Он неконтактен. И едва мы откроем свое существование, объявит нам войну. Ради собственного счастья, в угоду беспечному эгоизму, из зависти — какая разница? Главное — он не успокоится, пока не изведет и не сможет после этого навсегда забыть последнего из нас. За перекрестком улицы снова расходятся — имейте это в виду...

Деревья вокруг пушились легким белым маревом отдаваемого тепла. Дорога, которую им предстояло пересечь, успела остыть и лежала впереди темной полосой с тлеющими кое-где на ней черточками корней. Под яблочным дичком хозяйственно фыркал еж.

— Жалко старика, — задумчиво проговорила Тью после некоторого молчания. — Один остается...

— Привыкнет, — неуверенно предположил Зиц.

— Скорее всего завянет... — Миччи сильно растягивал слова, сдерживая зевоту: грусть снова навеяла на него сон.

— Идем, идем, лежебока! — Зиц ухватил его под мышку. — А то задремлешь!

— Я не сплю. Я думаю.

— Истинный тави, ленивый и созерцательный! — Тью взяла Миччи с другой стороны и вдвоем с Зицем поставила его на ноги. — Для тебя лишнее беспокойство даже просыпаться и двигаться, не то что с человеком дружить! Ну, работай, работай ножками, миленький...

— Уж если искать лентяев, то не среди нас, — возразил Миччи, уныло покоряясь друзьям. — Мы против людей метеоры! Вон там, послушай, петляют по лесу твоя девчонка с приятелем. Еле-еле до дороги добрались — полчаса километр. По мне, лучше до смерти на солнце вялиться, чем так ползать. Стремительные и беззвучные дельфины во время плавания не расталкивают и не рвут воду — они скользят в ней, слегка колебля. Вот так же мы ходим по лесу. А у человека волны, брызги и шум...

— Но ведь он сухопутный, Ми!

— Хорошо. А в лесу?

Тью прислушалась. Далеко на Поляне Грагги ударили дважды. Зиц ахнул и, будто подстегнутый, кинулся на звук.

— А в лесу? — переспросила тавинка и снова замерла, наполовину высунувшись из кустов. Стало слышно, как нежится листва под лунными лучами, как за ближними деревьями выбирают на дорогу Лорка и Толик. Посыпалась земля, крикнул

берег канавы от грузного прыжка, зашуршали камешки. Скрипели и терлись одна о другую недогруженные корзинки.

— Дядя Толя, а почему вы бороду носите?

— Ой, ты не поверишь. Собирал в прошлом году грибы, упал, мох к подбородку и приклеился. Не оторвать.

— Ну вы же и выдумщик! Прямо Фантомас какой-то!

Они приблизились, и Тью бесшумно попятилась.

— Быстро стемнело, правда, дядя Толя? Только луна, задев деревья, качается. И дорога будто ледяная светится. — Лорка поехала.

— Замерзла?

— Нет. Я подумала, как леснякам ночью скучно в лесу. И мокро, если дождь...

— Может, у них кожа непромокаемая? Из плаща?

— Да, вы шутите, а сами небось в дупле и часа не просидите?

— Зачем же в дупле, когда есть палатка? Ярко-желтая, с алюминиевыми стойками...

Навстречу с радостным визгом выкатился черный комок:

— Ой, смотрите, кто нас встречает! Чуня! Чунька!

— Отыскал!.. Откуда ты, лохматый?

Широкие, щеточками, собачьи лапы оттолкнулись от земли, послышались мягкие шлепки и счастливый Лоркин голосок:

— Ну уж, сразу и в нос лизаться! Не стыдно?

«Еще чего! — визгливо проскулил Чунька. — Я знаешь как по тебе соскучился? Говорил ведь, чтоб взяла с собой. Мало ли какие звери в лесу?»

— Ишь-ишь, разошелся. А когти убери, песенка, куртку порвешь.

«До куртки ли, если в ней хозяйка?»

— Юрца не обижал? — Толик потрепал пса по шее.

«Да ну его, вашего Юрца! Вцепится в шерсть — и катит его по траве. Или приляжешь в тенечке, а он тут как тут».

Люди пошли быстрее, и голоса начали затихать. Тью выпрямилась, приказала псу:

— Поди сюда!

Чунька будто споткнулся, повернул морду, зарычал.

— Кого ты там заметил? — поинтересовался Толик.

«Чужие, чужие», — отрывисто пролаял пес.

— У нас же свобода, чудак! — настаивала Тью.

Чунька презрительно опустил уши, боком, на четырех лапах отпрыгнул к ногам Лорки:

«А кто вот ее будет защищать? Иди-иди, куда цела!»

И, закрутив хвост кольцом, победно затрусил впереди. Лорка разбойничьи гикнула, захохотала, кинулась вперед, и они вдвоем с собакой помчались наперегонки, намного оторвавшись от Толика.

— А ведь есть, братец, что-то такое притягательное в человеке, а? — Тьюу затормошила своего нахохлившегося друга. — Мы сколько тысячелетий бились, чтоб научиться всех понимать. А человек шутя подарил собакам язык. И не осознает этого...

— Тебе тоже служить ему захотелось? Вроде собачонки?

— Не служить, а дружить, улавливаешь разницу? С ними. И с другими...

— Боюсь, трудно тебе придется. Вот смотри, топают напролом наш задушевный родственник. — Миччи показал на Толика. — Он едва не расшибся о корягу, потому что слеп ночью. Впрочем, и дневной свет бесполезен для его незрячих ног. Вот он обломал розетку у ромашки. Просто так, под руку подвернулась. А теперь... Ой! Помнишь того жука-рогача, который повздорил с муравьями из-за крылышка капустницы? Он на него...

— Не надо, Миччи. Я вижу.

— И все же будешь рассуждать о дружбе?

— Буду, буду, буду! И ты сам когда-нибудь над собой помеешься. Ну да, кое в чем наша цивилизация сильнее. Но это не помешало ей зайти в тупик. Мы можем и должны принести человеку культуру доброты. Два брата, два солнечных народа — ради одного этого стоит пойти на эксперимент!

— Ах, Тьюу, милая, взгляни еще раз. Он обернут мертвой тканью, и мертвая твердь отделяет его от живой земли. Он согнут под тяжестью ноши, потому что и пищу и знания ему приходится таскать отдельно. Глухой и бронированный, он всегда закрыт от природы.

— Нет, Ми, ты не очень хорошо знаешь человека...

— Постой, куда ты?!

Залитая луной, легкая, стройная, о громадными мерцающими глазами, с бледным лицом и яркими губами, Тьюу забежала вперед и вдруг стала на пути человека.

— О господи! — пробормотал Толик, перекладывая корзинки в левую руку, чтоб хоть такой ненадежной преградой заслониться от привидения. — Зря все же по асфальту не пошли.

— Здравствуй, брат! — громко и отдельно проговорила Тьюу. — Женщина свободного племени тави ищет дружбы. Вот моя рука!

Но человек уловил только шелест ветра в листьях придорожного куста. Он вытянул корзинки перед собой и с бьющимся сердцем двинулся на неясный силуэт, пока не уперся пальцами в гладкий березовый ствол. Он был по-своему храбр, этот бородатый Толик. Как и всякий нормальный современный человек, он не верил в чертовщину и леших. Но подсознательный ночной страх уравнивает всех. Даже тех, кто на спор ночует на кладбище. Столкнись такой храбрец с чем-то непризнан-

ным, бесплотным, как дуновение, с чем-то официально не открытым и все-таки существующим, — он просто тут бы на месте и умер. А если бы даже остался жив и не утратил рассудка, то искал бы вполне естественное, общепринятое объяснение.

— Примерещилось. — успокоил себя Толик. Поскольку никакая реальность не подходила под увиденное, а это слово всегда все объясняет. — Рассказать на работе — засмеют!

Он с облегчением провел ладонью по коре березы и удивился и обрадовался почти женственной ее теплоте:

— Надо же, где ночью солнышко задерживается!

Прижался к березе щекой. Потом, не отрывая взгляда от ствола в том месте, где в него скрылась Тью, шагнул назад, споткнулся о корневиче. И вдруг что-то холодное и серебристое блеснуло в лунном свете, вскинулось, ударило в ногу повыше кеды, острая боль обожгла щиколотку, а в сторону неторопливо потекла гибкая полоска змеи. Толик настолько растерялся, что дал ей уползти. Лишь после этого боль и страх вырвали у него крик, заставили опуститься на землю.

Лорка примчалась сразу. Она как-то мгновенно ухватила взглядом сидящего Толика, опрокинутую корзину, закатанную штанину джинсов и даже две капельки крови на ноге, о которых могла скорее догадаться, чем заметить. Лорка присела на корточки и с такой пронзительной участливостью посмотрела на Толика, точно у нее самой сейчас звенели от боли жилы. Собственно, боль у Толика не была пока уж такой нестерпимой, и эти черные круги в глазах, ощущение раскаленных проволок внутри ноги, стиснутые против крика зубы были вызваны просто отчаянием, жутким ужасом перед ядом змеи, еще даже и не начавшим действовать. Это было предчувствие беды, оказавшееся мучительнее самого мучения.

— Нож... И спички в кармане... Живо! — прохрипел Толик.

На миг Тью забыла о Поляне, готовой высеять Излучение, о народе тави, ожидающем перестройки, о Миччи, так и застывшем в движении остановить ее — в неудобном полуобороте с протестующе вытянутой рукой. Тью видела только страх человека, которому могла помочь, не могла не помочь. Она раскрыла ствол перед носом Лорки, шагнула вперед, лицо ее тоже подергивалось от чужого страдания. Лорка, не оборачиваясь, подвинулась, дала место рядом с собой. А рычащего Чуньку обняла за шею, уткнула мордой себе в колени. Девчонка положила четырехпалую ручку на Толину рану и застыла. По лицу ее ходили тени.

Боль в ноге билась толчками. Толик сопротивлялся ей, но она протянулась через голень и бедро, пронзила бок. Если прокушена вена, то яд через кровь попадет в сердце... Нет сил и смысла прокалывать нож, надрезать рану...

Появление из дерева силуэта Толик принял за продолже-

ние бреда. Лорка что-то говорила, удерживая одной рукой пса, а другой обнимая леснянку. Боль быстро сошла, стекая в четырехпалую ладошку. Щиколотку слегка покалывало. Он больше не чувствовал ноги, как не чувствуешь здоровой части тела.

Толик не поверил себе. И если бы не березовый ствол за спиной, повалился бы навзничь, чтобы ничего не видеть и тихо ожидать новой и последней волны боли. Но раз уж не мог ни отвернуться, ни упасть, то вынужден был смотреть, как малолетняя племянница налаживает немудрящую дипломатию:

— Тави — хорошо. Тьюу — хорошо. Человек — хорошо.

— Я пойду, — спохватилась тавинка.

— Приходи завтра, — попросила Лорка. — Я буду ждать.

— Завтра? Хорошо — завтра...

Тьюу поднялась, прошла через ствол, и Толик, слышавший только Лоркин голосок и не понимавший ответов гости, неотличимо похожих просто на шелест листы, внезапно уловил в себе неясный, но заметный след в виде смутно рождающихся стихов. Он теснее прижался к березе плечом, зашептал:

Раскрой мне свои ладони, деревце:
Я хочу быть с тобой на «ты»,
Со мною солнце, земля и дождик делятся,
Отливаясь в твои плоды.
Ты памятник жизни.
Ты — мое право надеяться.
Ты — формула высоты...
Раскрой мне ладони и сердце, деревце;
Я хочу быть с тобой,
Как с любимой, на «ты»...

Тьюу отделилась от ствола и на цыпочках отошла к замершему в отдалении Миччи.

Грагги на Поляне ударили третий раз.

УЛЫБКА НИКИ САМОФРАКИЙСКОЙ

Оставался последний объект экскурсии — памятник «Свершившемуся тысячелетию России». Лишь бы погода не помешала — небо над Новгородом подозрительно хмурилось...

— 8 сентября 1862 года, — привычно начал Антон Кутозов, — под гром артиллерийского салюта ровно в полдень состоялось открытие памятника, олицетворяющего тысячелетнюю историю России. Он был сооружен по проекту талантливого художника Михаила Осиповича Микешина.

В чем конкретно проявился его талант? Внимательно рассмотрим памятник, на котором представлены бронзовые фигуры исторических деятелей России с древнейших времен до первой половины XIX века...

И Антон Кутозов начал рассказывать о скульптурах, размещенных вокруг громадного «шара-державы».

— Наконец, — говорил он, — перед нами фигура Петра Первого. Сосредоточенно смотрит он на север. Всеми помыслами своими устремлен он к берегам Балтики, к своему любимому городу. И напрасно швед, закованный в латы, пытается остановить победную поступь Петра к морю, путь к которому указывает крылатый гений...

Тамара слушала с явным интересом.

— Вынужденный выполнять приказ царя, — проникновенно говорил Антон, — скованный тисками утвержденного проекта, Микешин все же сумел показать и свое отношение к царской историографии и выразить свои демократические идеи.

Взгляните, скульптор как будто смеется над ограниченностью царского окружения. «Вы считаете, что Русское государство начинается от иноземного пришельца Рюрика? Ну что же, вот вам Рюрик-варяг!» Но смотрите: Микешин изображает Рюрика... русским дружинником. Ведь норманны имели на вооружении круглые щиты. А у Рюрика, в трактовке Микешина, щит овальный, заостренный книзу, то есть типично славянский. Славянские у него кольчуга и шлем...

Между тем небо потемнело, подул ветер. Стараясь успеть, Антон начал говорить быстрее:

— И в скульптурных портретах нижнего яруса Микешин последовательно и находчиво отстаивает свои демократические убеждения. Видите: фигуры всяких святителей, царских министров и вельмож он композиционно прячет на задний план, стараясь на первый выставить действительно великих людей России. И смотрите, с какой любовью он их показывает! Но это еще не все, что сделал Микешин. Ведь ему...

И тут брызнул дождь. Антон в огорчении развел руками. Хуже нет, когда экскурсия обрывается вот так, на полуслове. Но люди не ушли. Прикрывшись яркими плащами, зонтами, они еще теснее сгрудились вокруг Антона.

Раздались голоса:

— Продолжайте! Мы вас с удовольствием слушаем! — Кто-то протянул Антону зонт.

— Спасибо, друзья, — растроганно сказал Антон. — На чем я остановился? Так вот, Микешину было дано задание составить список лиц, чьи портреты, по его мнению, желательно представить на горельефе. Царь Александр I самолично проверил список и вычеркнул прославленного флотоводца Ушакова, Шевченко и Гоголя. Тогда Микешин вступил в спор с царем. И в результате? Давайте посмотрим этот маленький, всего из шестнадцати скульптур, отдел.

Вот Михаил Ломоносов. Рядом с ним — Фонвизин и Державин. Позади них — архитектор Кокорин и отец русского театра Федор Волков. Их слушают Жуковский, Лермонтов, Гнедич и Грибоедов.

А там смотрите: рядом с Лермонтовым — Пушкин и... Гоголь. Это тоже победа Микешина. Ему не удалось отстоять кандидатуру своего друга Шевченко, но Гоголь все-таки на горельеф попал!..

— А вы не ошиблись? — робко спросил кто-то.

— В чем?

Антон по-прежнему стоял спиной к памятнику.

— Шевченко-то ведь на горельефе имеется!

— Быть этого не может!

Антон обернулся к памятнику. Взглянул и обомлел.

Третьим в группе Лермонтова и Пушкина стоял Тарас Григорьевич... Характерные запорожские усы, густо нависшие брови... Наклонив лобастую голову, он, казалось, прислушивался к пению птиц кремлевского парка. В правой руке зажата книга.

— Извините, товарищи, но Шевченко никогда здесь не было. — Антон совсем растерялся.

— Не переживайте, — утешил старичок из группы. — Когда вы сказали: «В нижнем ярусе сто девять малых скульптур», — я из-за недоверия специально пересчитал. Точно,

так оно и есть! А какие там фигуры — не мудрено и запутаться.

— Да не запутался я! — возмутился Антон. — Скульптуры Шевченко никогда здесь не было. Она появилась буквально за эти два часа!

Теперь уже все смотрели на Антона с нескрываемой жалостью.

— Вероятно, новичок, — расслышал он, — решил приукрасить.

«Уже новичком стал», — горько усмехнулся Антон. Кое-как закончив экскурсию и отдав зонт, он остался у памятника один. Глядя на невесту откуда появившуюся скульптуру, Антон пытался понять, что же все-таки произошло? Он мучительно старался вспомнить что-то очень важное. И вспомнил!

Старичок утешитель упомянул о ста девяти скульптурах второго яруса. Он еще подчеркнул: «точно подсчитал!» Но почему же общее количество фигур осталось прежним, если одна прибавилась?

Антон обежал вокруг памятника. Так и есть. В группе «Государственные люди» не двадцать шесть фигур, а двадцать пять. Невероятно!

Он опять пробежал около «Государственных людей» и нашел пропажу! Бесследно исчез царь-вешатель Николай I.

Потеряв всякое самообладание, по лужам, напрямик Антон устремился в экскурсионное бюро. Как вихрь, ворвался в него и, едва не опрокинув стол Гулина, провозгласил:

— Николай Иннокентьевич, в шею гони меня с работы! Позорно провалил экскурсию!

— Год постройки Софийского собора забыл или Грановитой палаты? — ухмыльнулся Гулин. — Не разыгрывай, не выйдет.

— Забыть — это не страшно, всяко бывает. Дело гораздо хуже тут, оказывается. Такие события, а я и не знаю! Да еще и с памятником... Мне это совершенно непростительно... Понимаешь, скульптуры Шевченко, — говорю я туристам, — на памятнике два часа тому назад не было. А они не верят. В их глазах я оказался лжецом, безответственным фантазером!

— Но ты правильно сказал, только как-то странно, с вертом. Почему это «два часа назад»? Ты же сам прекрасно знаешь, что скульптуры Шевченко на памятнике никогда не было.

— Я так и сказал. А надо мной смеются.

— Почему?

— Но ведь Шевченко-то на памятнике появился! Вчера еще не было, утром сегодня не было, а сейчас стоит. Задумчивый такой стоит...

Гулин засмеялся и добродушно сказал:

— Сегодня не первое апреля. Пошутил — и хватит, иди домой, отдыхай. Мне и без твоих фантазий дел хватает: вон еще два автобуса подкатили и опять без заявок. Хотя самому экскурсию води.

— Какие фантазии! — рассердился Антон. — Ты сам войди в мое положение: что я мог ответить, если одна скульптура появилась, а другая исчезла?

— Это какая еще исчезла? — уже безразличным тоном спросил Гулин.

— Царя Николая I. Помнишь, такой пучеглазый стоял, в форме казачьего офицера?

Гулин схватился за голову:

— Что с тобой?

— Не веришь? — вскричал Антон. — Тогда пойдем к памятнику, и ты все увидишь собственными глазами! Я не шучу. Идем!

Между тем дождь усилился. Когда они подбежали к памятнику, с их плащей струями лилась вода.

— С кого начнем? — сквозь шум дождя крикнул Гулин.

— С писателей, — отозвался Антон. — Полюбуйся, какой тут великолепный Шевченко.

— Где же он?

Антон похолодел: на памятнике Шевченко не было, фигуры в группе писателей стояли в прежнем составе. Он метнулся к «Государственным людям» — среди них, как и всегда, Николай I таращил глаза.

— Убедился, что все без изменения? — мягко спросил Гулин.

— Неужели мне это показалось, даже реплики туристов?

— Ну конечно! Я так и подозревал. Ты же жаловался, что в «голове туман», а я не придавал этому значения. Прости, пожалуйста... И не волнуйся — отдохнешь, и все придет в норму. Отправляйся в отпуск. Здоровьем рисковать нельзя. А сейчас — домой и в постель!

Ободряюще похлопав Антона по плечу, Гулин вернулся в бюро, пообещав никому не рассказывать о случившемся. Антон поехал домой. На календаре значилось 24 августа 1976 года. Войдя в квартиру, Антон, не раздеваясь, как подкошенный плюхнулся на кровать...

...— Репортаж программы «Новости науки» мы начинаем из древнего Новгородского кремля. Наши телекамеры установлены у памятника «Свершившемуся тысячелетию России». Через пятнадцать минут вы будете свидетелями реализации проекта «Ника»... Но простите, к нам только что подключились телезрители «Парящих островов». Поэтому мы задаем вопрос автору проекта Лукьянову.

— Артем Сергеевич, поясните инопланетным зрителям, в чем сущность вашего проекта.

— Очевидно, — улыбнулся Артем, — вы уже знаете об открытом несколько лет тому назад «Эффекте Дага»? Позвольте коротко напомнить о нем. Воспользуюсь простейшим примером.

Прежде чем из глыбы мрамора высечь какую-то скульптуру, в своем воображении скульптор уже имеет образ этой скульптуры. Он видит ее так, будто она уже воплощена в мрамор. Творец лишь стремился наиболее полно приблизиться к воображаемому эталону. Причем такой эталон он длительное время хранит в своем воображении. Иначе говоря, воображаемая скульптура существует во времени и пространстве. Но материальна ли она? Можно ли считать ее реально существующей? И да, и нет.

Художественный образ — это всего лишь упорядоченный вихрь электромагнитных полей, порожденных биоплазмой мозга. Но поля-то эти вполне материальны. И когда образ рождается где-то, образно говоря, приходится потесниться: в ее хаос вторгается организованное Нечто.

И вот что важно: раз возникнув, художественный образ не исчезает бесследно, даже если сам творец и не «овеществил» его в привычные нам материалы. И пусть человеческий мозг, породивший его, давным-давно истлел: образ остается навсегда впечатанным в «пространство — время».

Именно на этом свойстве сохранения «впечатываний» художественного образа и его нахождения в «пространстве — времени» основан «Эффект Дага», который мы используем в своем проекте. А сегодня нам впервые предоставляется возможность проверить его на практике.

— Но почему вы избрали памятник «Свершившемуся тысячелетию России»?

— Прежде всего нам хотелось бы вернуть ему облик первоначального замысла Михаила Осиповича Микешина. Вправе ли мы так поступить? Думаем, что да.

В самом деле! Полотна великих художников восстанавливают, освобождая от более поздних слоев красок, нанесенных кистью ремесленника. И это воспринимается как должное.

А как же монументальная скульптура? По сравнению с другими видами искусств она была бедной Золушкой.

Всевозможные обстоятельства изменяли первоначальный замысел скульптора, но обществу последующих поколений ничего уже не удавалось изменить. И это еще счастье! Сколько вообще изумительных шедевров не дошло до нас. Взять хотя бы скульптуры Парфенона, творения Фидия... А сколько их дошло до нас поврежденных людьми, стихийными бедствиями или временем! Если наш проект будет осуществлен, люди получат по-

истине чудодейственное средство для возвращения миру гениальных творений всех эпох и народов.

Вторая причина такова.

Памятник позволит проверить, будет ли воссоздан истинный замысел автора! До нас дошли документы, позволяющие предположить, что хотел сделать Микешин. Мы знаем, например, что его заставили к готовым скульптурам горельефа добавить фигуру царя Николая I. Знаем и то, что Микешину не удалось поместить на горельефе скульптуру Тараса Шевченко. Но как желал его изобразить Микешин, мы можем судить по эскизу, опубликованному самим художником в календаре на 1862 год.

Если мы на правильном пути, вы, уважаемые телезрители, увидите на измененном памятнике бронзовую скульптуру Шевченко, соответствующую этому эскизу.

Что же касается чисто технической стороны проекта «Ника», то она весьма сложная, и я не буду утомлять вас подробностями. Уясните лишь суть.

Исполнительная система, получив солидную порцию энергии, находит в «пространстве — времени» «впечаток» первоначального замысла Микешина и, руководствуясь им как образцом-эталонном, уже в нашем XXI веке производит на молекулярном уровне воссоздание скульптур памятника и его корректировку. Во избежание помех при проведении эксперимента памятник от окружающей среды будет отделен силовым полем.

— Почему проект называется «Ника»? — спросил репортер.

— Ника — древнегреческая богиня Победы. А разве не победы желает весь наш коллектив? — отшутился Артем. О настоящей причине, почему так назван проект, он умолчал. Разве о ней, глубоко личной, поведаешь торопливому репортеру?

...А случилось это давно — сорок лет назад. Тогда, как и теперь, школьники третьего класса, занимаясь по теме «Искусство древнего мира», обязаны были вместе со своим учителем побывать во всех крупнейших музеях планеты.

Никогда не забудет Артем пасмурный, ветреный день — один из тех, что частенько случаются в Париже в конце осени.

И вот долгожданный Лувр, его парадный вход — лестница Дарю. Здесь-то школьник Артем впервые и увидел Нику.

Конечно, он заранее знал, что скульптура, вероятно, высечена учеником великого Скопаса, возможно, в честь победы Птолемея над египетским флотом; что была установлена в 306 году до нашей эры на острове Самофракия в Эгейском море и что подобные изображения богинь украшали корму боевых греческих и римских судов в древности. Но одно дело знать, а другое — видеть! Он стоял и смотрел, забыв обо всем на свете...

Ему чудилось — крылатая богиня, изображенная в виде прекрасной женщины, не стоит на постаменте, а стремительно, в пенных брызгах неудержимо и смело мчится вперед! Он будто различал шум ее развернутых крыльев.

Когда-то скульптура Ники купалась в солнечной лазури родной Эллады, плыли над ней белоснежные облака, а у ее ног неумолчно рокотал морской прибой. Теперь же, перенесенная в холодный Париж, она словно сохранила солнечное сияние: так тепло в лучах подсветки золотился ее мрамор.

И казалось мальчику, что он слышит плеск южного моря, свист ветра в туго натянутых снастях корабля. Перед ним открывался безбрежный голубой простор, и хотелось лететь, как Ника, вперед, наперекор всем бурям и опасностям. И сердце переполнялось радостью от предчувствия такого полета...

Лишь потом он заметил, что у скульптуры отбита голова, нет рук и ступней ног. «Неужели никогда она не обретет свой первоначальный облик? — задумался Артем. — Неужели ничего нельзя сделать, чтобы увидеть лицо Ники, ее необычайную улыбку? Ведь она, конечно, улыбалась...» И тогда он поклялся, что жизнь потратит, но вернет людям улыбку Ники!..

— Скажите, пожалуйста, Артем Сергеевич, — торопил репортер, — а в случае сегодняшней удачи каковы дальнейшие планы вашего Института Проблем?

— Лет за десять постараемся воссоздать четыре мировых шедевра древнего искусства: после памятника «Свершившемуся тысячелетию России» Нику Самофракийскую. Затем скульптурный портрет египетской царицы Нефертити — творение гениального скульптора Тутмоса. Он не успел закончить самый великолепный портрет всех эпох и народов, потому что фанатики жрецы, ворвавшись в мастерскую Тутмоса, убили его.

Далее мы намерены воссоздать четырнадцатиметровую статую Зевса. О ней, лучшей из всего, что создал великий Фидий, мы знаем лишь по свидетельствам его современников. Сама статуя не сохранилась.

И наконец, мы хотим вернуть человечеству прекраснейшую из всех скульптур, когда-либо созданных за всю его историю: Афродиту Книдскую — самое бесценное сокровище Праксителя, его вдохновенный гимн красоте и любви.

— Но почему такой долгий срок — десятилетие?

— Манипуляции с «пространством — временем» чрезвычайно энергоемки. К тому же чем дальше в прошлое, тем энергии надо больше... Но, извините, начинаем включение Системы поиска.

— Историческое событие началось! — торжественно сказал телекомментатор, сидящий позади Артема. — Поток энергии по-

глощается Системой жадно и непрерывно. Уже не поток — океан энергии!.. Однако на постаменте, — разочарованно добавил комментатор, — ничего особенного не происходит...

Артем улыбнулся. Он представил, с каким удовольствием комментатор говорил бы примерно такое:

«Над памятником закружил розовый туман. Его длинные, извивающиеся, как змеи, космы коснулись скульптур, обвили их — и темная бронза стала прозрачной. Мгновение — и они вновь появились, но уже другими и в иной композиции...»

Все будет гораздо будничнее. Предварительное моделирование процесса позволяет представить, что сейчас случится. Никаких эффектов не предвидится. Скульптуры прозрачными не станут. Изменение памятника будет таким молниеносным, что фазу перехода из одного его состояния в другое человеческий глаз уловить не сможет...

«Контакт с эталоном произведен. Через пять секунд — фаза перехода!» — вспыхнуло на табло. Начался обратный отсчет секунд: «четыре, три, два...»

Артем привстал с кресла: «Один... Один ноль-ноль!»

— Смотрите, памятник изменился! — воскликнул комментатор. — Скульптура Шевченко появилась!

И в ту же секунду оглушительно взвыла сирена тревоги, а приборы отметили резкое усиление защитного поля памятника. Наверное, возникла особо опасная ситуация. Но какая, в чем? И почему расход энергии больше обычного ровно в два раза? Откуда такая ошибка в прогнозировании?

Электронный мозг Системы начал давать отчет о происходящем. И люди у пульта управления убедились, что «мозг» уклонился от принятия какого-либо решения, предоставив это сделать людям.

А произошло непредвиденное. Вначале все шло точно по программе. Система все-таки смогла в «пространстве — времени» разыскать «впечаток» того образа памятника, каким его задумал Микешин.

Затем Система «разобрала» памятник и, сделав необходимые изменения для полного соответствия с эталоном — «впечатком», вновь собрала его.

Но тут-то и случилось неожиданное.

По какой-то причине памятник изменился не только в настоящем времени, но и в прошлом, а именно, 24 августа 1976 года в новом измененном облике он существует уже целых три минуты двадцать с половиной секунд!..

Система, отметив неладное, продолжает подачу к памятнику энергии, не решаясь его стабилизировать, держит его как бы во «взвешенном состоянии». Вот отчего, и перерасход энергии.

«Что делать? — спрашивает Система. — Начать стабилизацию?» Ответить должен Артем. Стабилизировать памятник — значит оставить его преобразенным и в XX веке. Но это же будет катастрофой!

Артем представил себе самочувствие людей, которые в XX веке стояли возле монумента в момент его изменения. Они, конечно, считали себя очевидцами какого-то чуда. Вероятно, их было немного, и, надо надеяться, их рассказам об увиденном никто не поверит, как и фотографиям, если они успели сфотографировать измененный памятник. Какая-то, мол, фотошутка, умелый фотомонтаж, коллективный розыгрыш... Но продлись странный для них феномен дальше, и он неизбежно привлек бы внимание. От ученых потребовали бы объяснения, а что они могут сказать?

«Сколько требуется энергии, чтобы трансформированный объект привести в первоначальный вид?» — задал Артем вопрос ЦЭМСу.

«Мощность десяти энергостанций Антарктиды», — последовал ответ.

«Колоссально много, — подумал Артем. — Тратить столько энергии, уничтожать плоды трудной победы ради спокойствия людей далекого прошлого? Нужна ли подобная жертва?»

«Три минуты двадцать четыре секунды, — вспыхнуло на табло, — медлить далее не могу. Прошу указаний или через минуту начну стабилизацию объекта», — напомнил ЦЭМС.

Артем больше не колебался.

«Объект не стабилизировать. Подачу энергии Антарктиды продолжать», — приказал он Системе и без сил откинулся в кресле.

— Памятник опять стал прежним! — изумленно констатировал комментатор.

— Так и должно быть, — спокойно отозвался Артем.

— Но что все-таки произошло?

— Природа задала нам еще одну интересную загадку. Видимо, в общих чертах она вот в чем заключается. В мире существует причинно-следственная связь. И то, что было в прошлом, неминуемо перейдет в наше настоящее. Если бы, скажем, в XX веке кто-то повредил памятник, это бы повреждение дошло бы и до нашего, XXI века.

Такую временную зависимость условно можно назвать прямой или положительной. До сих пор мы только с ней и сталкивались в повседневной жизни.

Однако, как мы сегодня убедились, существует и другая временная зависимость: обратная, или отрицательная, проявляющаяся лишь при каких-то чрезвычайных условиях, а при каких — еще предстоит разобраться. Она проявляется в том, что при изменении, например, нашей Системой памятника в

настоящем, в XXI веке, он получает точно такое же изменение в XX веке, как это сейчас и случилось.

— Но почему отрицательная временная зависимость при этом реализуется ровно через сто лет? — спросил репортер.

— Еще загадка, — сказал Артем, — ее тоже надо решать.

— Следует ли считать, что от реализации проекта «Ника» теперь нужно отказаться?

— Нет, конечно. Будет только отсрочка. Мы вернемся к проекту, как только научимся не вызывать одновременные изменения памятника в настоящем и в прошлом. И смею вас заверить: Ника обязательно улыбнется нам!

...Сквозь протуманенные окна Антон Кутузов с удивлением смотрел на родной город. Улицы еще не просохли от ночного ливня, но небо было ясным и чистым. Свежий ветерок сбрасывал с деревьев сверкающие водяные искры. Вдалеке, озаренный ярким восходящим солнцем, золотился Новгородский кремль, могуче возвышался монумент «Свершившемуся тысячелетию России». Антон Кутузов почти наяву ощутил его близость и величие.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ

Нежным июньским утром, по колено в ромашках, клевере, мяте и ржавом конском щавеле стоял Координатор Святополк Лосев, подняв глаза к ясному небу. Руки Координатор глубоко всунул в карманы кожаных брюк, ноги твердо расставил, словно готовился простоять так сутки. За спиной Лосева пилот Мухамед аль Фаттах делился воспоминаниями со старшиной Центра Прямых Контактв Марчеллой Штефанеску.

— ...Когда переходишь границу контроля — это почти световой год от оболочки — двигатель сразу выключается, а тебя охватывает жуткая слабость. Просто падаешь навзничь и лежишь, пока корабль буксируют в порт... Можно умереть со страху.

Марчелла терпеливо кивала, не отрывая глаз от неба. Только оператор телевидения показывал профессиональное безразличие, сидя с камерой на груди и выстрегивая ножом свисток из ольховой ветки. Святополк попробовал долго не мигать, почувствовал резь и зажмурился. Наперебой, верещали кузнечики; дивная акустика безветренного утра приблизила к самому уху фырканье коней за рекой, и посвистывание прибывающих гравиходов, и шорох луга под ногами любопытных.

Возникнув странным образом, словно не извне, а в самом сознании, покрыл всю пестроту звуков мелодичный звон басовой струны. Лосев разжал веки, но все-таки упустил момент появления гостя. Впрочем, этот миг остался неуловимым, как погружение в сон, и для всех встречавших, и для телезрителей, и даже для тех, кто просматривал потом тысячекратно замедленную видеозапись.

В небо же смотрели, по земной привычке ожидая корабля или, по крайней мере, какого-то видимого приближения. Но гость, неоспоримо реальный, в ярко-голубой рубаше и белых брюках, возник ниоткуда. Он зашагал по траве навстречу внезапно налетевшему порыву ветра и без колебаний протянул руку Святополку. Координатор уважительно стиснул и потряс цепкую холодную кисть, решив, что такой шелковистой кожи не

бывает даже у пятилетних детей. Конечно же, гость был настоящим человеком, хорошо сложенным и красивым мужчиной. Может быть, даже слишком красивым, вернее — каким-то эталонным, с утрированно-правильными чертами лица.

Ветер стих. Гость поцеловал руку Марчеллы и сказал, что Центр Контакта имеет образец совершенного существа в лице своего старшины. Невероятно пластичный и точный в каждом движении, он прямо-таки весь переливался, как сделанный из дыма. Пилот Мухаммед аль Фаттах был радостно узнан, обнят и спрошен: как добрался обратно? «Ничего, знаете ли... У вас рука легкая», — замешкавшись, ответил пилот Мухаммед. Белозубая улыбка оператору — тот давно уже на ногах, ищет наилучшие ракурсы съемки. Затем обе руки гостя поднимаются над головой и, соединясь, энергично встряхиваются — это предназначение любопытной толпе за рекой. Оттуда крики, аплодисменты.

Святополк подумал с неожиданной неприязнью, что и гость умеет, все умеет. Не успев появиться на Земле, как ни в чем не бывало отпускает комплименты, целует ручки, раскланивается с публикой, изображая на лице именно то, что следует изображать. Вероятно, они привыкли перевоплощаться, попадая в чужие цивилизации, особенно в такие, как наша, — моложе на десятки тысяч лет... Пилот Мухаммед аль Фаттах, чьи предки два века назад царапали деревянным плугом сухую землю в Аравии, случайно напоролся на его родину.

«...Так я и поверю, что ты не знаешь, как он летел обратно. Небось сами же и вычистили ему дорогу до самого Солнца, опекали корабль Мухаммеда — первобытную пирогу, занесенную в ваш космопорт...»

Они там сблизили чуть ли не двадцать звезд, полторы сотни планет переплавили в Круги Обитания, окружили все это мощной скорлупой напряженного пространства. А мы в этом месте отметили на картах гигантский «коллапсар» и обходим его десятой дорогой. Мухаммеда занесло дрейфом после аварии отражателя, он уже по экстренному каналу связи попрощался со всей родней.

Приветственная речь лилась быстро и свободно, как по написанному тексту, — отточенные формулировки, емкие образные фразы, местами почти стихи. Неудержимая экспансия разумной жизни, слияние отдельных ручейков разума в единую реку, в перспективе — вступление Земли в Галактический Союз Систем.

В перспективе... Пожалуй, до тех пор, пока Земле выдадут удостоверение Союза Систем, над прахом Святополка Лосева сгниет не один слой мертвых деревьев, а уважаемый гость, вечно молодой и энергичный, шеголяя идеальной дикцией, будет держать речь на галактическом собрании, с неизбежной иронией вспоминая свой первый визит к землянам..

Открыв подкупающе-широкой улыбкой великолепные зубы, гость опять соединил руки над головой. Святополк жестом велел прекратить телепередачу. Упругим балетным движением гость повернулся к Лосеву:

— Ну, какая у нас на сегодня программа, Координатор?

«Скорее всего он читает наши мысли, но если гостю угодно задавать вопросы — поддержим эту игру».

— Прежде всего: вы нуждаетесь в отдыхе?

«Честное слово, его физиономия стала чуть ли не виноватой».

— Думаю, что не нуждаюсь. — «Конечно, прогулялся в белых брюках через Галактику».

— Отлично. Тогда мы сначала проведем маленький диалог в Совете Координаторов. Затем, если вы, конечно, позволите, вас обследует комиссия ксенобиологов на Мальте.

— Я, конечно, позволю. Не думаю, чтобы мы с вами захотели что-нибудь скрывать друг от друга.

— Конечно, это не в наших интересах. Ну а с Мальты, если успеем до ночи...

«Не думаю, чтобы мы с вами захотели что-нибудь скрывать друг от друга...»

Тут Святополку пришла в голову настолько шальная, захватывающая мысль, что он даже забыл про ласковые светлые глаза гостя, глаза, лишенные возраста и, возможно, читающие в чужих мозгах. Он сам толком не знал, почему внезапная идея показалась ему настолько удачной. Чувствовал одно: если он, Святополк, не выполнит задуманного, его странная неприязнь к гостю вырастет до размеров nepoзвoлитeльных... Неприязнь, в которой стыдно признаться самому себе и которая очень похожа на голос ущемленного самолюбия. Все-таки привык человек считать себя совершеннейшим из существ.

— ...Если успеем до ночи, посетим один... памятник, мемориальный комплекс.

Они шли к ожидавшему гравиходу Совета, и Лосеву казалось, что ласковые глаза стали жестче и все лицо гостя приобрело новые, более твердые очертания. Неужели угадал? Странная, невообразимая встреча... Летящие шаги гостя с легким зависанием в воздухе были изящнее любого балета, и туфли, сплетенные красивым узором из полосок белой замши, тоже представляли шедевр, несмотря на то, что Круги Обитания до сегодняшнего дня не имели представления о замше...

Диалог в Совете получился превосходный. Координаторы ликовали: встреча с посланцем Галактического Союза открывала новую эпоху, едва ли не самую серьезную в мировой истории, и неуклюжему застенчивому пилоту аль Фаттаху уже готовился пьедестал в галерее благодетелей человечества.

Один только Святополк Лосев, хотя и понимал причины такого ликования и сам подписался под восторженным посла-

нием Совета ко всем землянам, сохранял в душе глухие, щемящие сомнения. Ему удалось подробнее разобраться в себе, когда машины биоцентра в Ла-Вальтте подвергали гостя обследованию. Ни бездонные энергетические ресурсы гостя, ни его неуязвимость и бессмертие, ни способность путешествовать между звездами без всяких машин не вызвали у Лосева обострения неприязни. Значит, вовсе не зависть управляла Координатором, не попраиное самолюбие землянина, еще вчера мыслившего себя пупом вселенной. Чудилась в изысканно-правильном, нежном лице, осененном густыми ресницами, некая... нет, не фальшь, божественная мудрость и могущество были несомненны... а некая нехватка очень важных свойств, которые человеку безусловно присущи, а вот гостю — кто его знает! Святополка бес дергал за полу, собственная шальная идея стала для него совершенно понятной, и он едва дождался окончания кибернетического шабаша на Мальте.

...Осторожно, чтобы не задеть юные деревца, Лосев приземлился гравиход возле березовой рощи. За белыми, праздничными стволами в медном предзакатном свете начинались бархатные переливы ровного до горизонта поля высокой травы. Тонкая роща была, видимо, в несколько раз моложе старинного рва, прямой линией распоровшего степь, — рва, чьи отвесные стены давно сгладились, мягко слились с дном, утонули в могучей траве, лопухах, бесчисленных одуванчиках.

За рвом зеленый и рыжий мох весело испятнал бетонные столбы с верхушками, изогнутыми прочь от рощи, и целые ковры выюнков шевелились на ржавой многоярусной проволоке, протянутой между столбами, на странной проволоке, подобной злему растению, через рваные промежутки ошетинившемуся пучками шипов. Кое-где проволоку оборвал своей тяжестью вековой виноград. Уцелевшие фарфоровые изоляторы на столбах блестели, не поддаваясь разрушению.

Святополк первым перепрыгнул через клубки сухих виноградных стеблей, спутанных с железом в месте обрыва проволоки. Гость, почему-то утративший элемент полета в походке, стал перелезать, высоко подобрав брюки.

Унылым шахматным порядком ютились вросшие в землю, почернелые кирпичные бараки с двускатными крышами. В тылу барачков плоское широкое здание подпирало высоченную дымовую трубу. Трава освоила за два века жесткий щебень плаца, и буйный кустарник врывается в распахнутые двери барачков.

Лосев молчал, щурился в сторону. Хрустя щебнем, подтянутый и стройный гость шагал вдоль угрюмой стены. Перейдя ржавые, словно запекшейся кровью покрытые рельсы узкоколейки, они вошли в широкие, обитые железом ворота здания под трубой. И гость, не сказав ни слова, с лицом строгим и неподвижным, прогулялся вдоль длинного ряда душевых колонок и потрогал на полочках каменные кубики мыла, так

ни разу и не использованные двести лет назад, потому что не вода начинала литься при повороте ручки, а то, о чем сейчас думал Святополк, своими мыслями заставляя гостя поднимать глаза к дырочкам душа и подолгу стоять так, изучая остатки облупившейся краски.

А потом они поднялись к печам; поднялись по ветхой лестнице, потому что огромные грузовые площадки — лифты, некогда поднимавшиеся к печам из душевой, давно приросли к фермам своих шахт, да и не поехал бы на них никто из землян, будь они трижды исправны.

Многочисленные печи встретили гостя по-разному. Одни — наглухо прикрыв и задвинув засовом толстые стальные заслонки, другие — распахнувшись настежь и обнаружив затхлое нутро, где, кроме пушистой пыли, ничего уже не было на острых ребрах колосников.

Гость провел холеным пальцем по ребру, счищая пыль, и оттого показался Лосеву чуть более близким, человекоподобным.

Но ничего не было сказано ни возле печей, ни после спуска на первый этаж, в демонстрационный зал музея. Гость бегло осмотрел стенды с пожелтелыми фотографиями, документы, увенчанные изображением птицы. Задержался перед витринами.

Там, за стеклом длиной в пятьдесят метров, давно слежалась бурой массой женская, мужская и детская обувь — она и в новом-то виде была такой нелепой, тяжелая старинная обувь, а теперь еще сохла два века слоем выше человеческого роста, и трудно было разобрать подробности. Игрушки тогда тоже были не чета нынешним... Во всю длину зала, высотой почти до половины стен — срез толщи линиях медведей, грузовичков и мячей, сморщенных, как печенье яблоки. Множество совсем убогих кукол-самоделок из мешковины, размалеванных сажей...

Витрины были сделаны сразу после того, как здесь все кончилось. Огромные витрины, реклама древней всемирной парикмахерской, где выставлен напоказ целый стог волос: жестких, курчавых и черных, шелковистых русых, длинных, льняных детских кудряшек и седин, состриженных целиком, до корня. И маленькие витрины, полные радостного блеска, — золотые россыпи, сказочная пещера, аквариумы с яркой радостью, до половины заваленные золотыми и серебряными коронками, иногда и с зубом в середине, заваленные искристыми драгоценностями, обручальными кольцами...

Закат немисливо раскалил перисто-кучевое небо, когда они выбрались на плац. Дальше несколько барakov были в натуральную величину сделаны из черного мрамора, и гнутые столбы ограды тоже, и посреди плаца огромные, выше барakov, изломанные мраморные фигуры с гигантскими провалами глазниц сплелись, протянув руки к Вечному огню.

Собственно, в реальной части разрушение тоже было остановлено; железо, дерево и прочие материалы законсервированы в те времена, когда люди сумели надежно это сделать, и хорошо, что к тем временам успела образоваться ржавчина и дерево подгнило, иначе все казалось бы слишком новеньким, неправдоподобным, как макет.

Остановились возле огня в бронзовом венке. Маска гостя, суровая, заострившаяся, оживлена только пляшущими бликами. Суровость может объясняться по-разному. Как знать, может быть, дойдет он из чистой вежливости до ограды, извинится и исчезнет, струнным аккордом колыхнув траву. Исчезнет вместе с немыслимо радужным будущим, со всеми надеждами на новую эпоху, потому что одно дело — прочесть в сознании землян память о кровавом прошлом, прошлое у всего Галактического Союза наверняка было не лучшим, и совсем другое дело — самому явиться в такое место, где еще каких-нибудь несчастных два века назад, в масштабах Союза — вчера, трудилась вот такая фабрика, образцовое промышленное предприятие. Явиться, имея в качестве гида самолюбивого Координатора, который испытывает гордость по поводу того, что его предок в девятом поколении свалил гусеницами танка ограду этой фабрики и навсегда прекратил работу в ее цехах. И не просто гордость, а еще и чувство превосходства: на, мол, смотри, чистоплюй, вы там уже сто тысяч лет на арфах бряцаете, праведники, а мы... Да, снова закроется для нас мнимый «коллапсар», и теперь, видимо, очень надолго.

Святополк представил себе, как недоумевающего Мухаммеда или другого пилота на подходах к обочонке берут этак бережно вместе с кораблем и возвращают на стартплощадку. Или стирают память о координатах «коллапсара» в мозгу всех землян. Или...

— Идемте, — ровно и мелодично, как всегда, выговорил гость, резко повернулся и зашагал вдоль полотна к железнодорожному въезду. Сгустились сумерки, и Святополк явно представил себе другой возможный исход своей авантюры.

В том ли беда, что закроется «коллапсар» и Совет отдаст Лосева под суд?

Ведь Галактический Союз из чисто гуманных соображений — поди знай, как они там понимают гуманность, — может не только не отозвать посла, но и, наоборот, слишком заинтересоваться Землей. Гость говорил, что такой молодой ~~и~~ еще недавно столь жестокий мир они обнаружили впервые. Ну что ж, вот и начнут нас... гм... переделывать, избавлять от вредных наследственных свойств. Действительно, было ли их прошлое таким же страшным? Может быть, земляне — космические выродки, раса садистов, а все остальные цивилизации даже мух убивали, крепко посовещавшись? Ведь это, в конце концов, даже опас-

но — космическая экспансия вчерашних любителей душевых с сюрпризом...

Святополк шел на подгибающихся ногах, боясь даже поднять глаза на упруго шагнувшего спутника. Попытаться изменить ситуацию? Поискать какие-то мудрые, точные слова? Даром. Нужны ему твои звуковые волны. Вероятно, ты для него теперь объект исследований, возможно, грядущих экспериментов, но уж никак не субъект, не существо, к которому применима этика. Объект, а не субъект... Знакомое словосочетание. Разве не тех же взглядов придерживались строители фабрики? Существо, к которому неприменима этика. Низшая раса. Нидерменш. Непригодные уничтожаются, изолируются, так, так...

Столбы, загнутые внутрь, ярусы хищной проволоки.

Скорлупа напряженного пространства.

Гость остановился и обернулся, уже стоя за воротами, в пышной траве, в лиловом свежем воздухе, и было уже трудно разобрать выражение его глаз.

— Что мы будем делать дальше, Координатор? Вы еще что-нибудь мне покажете?

Святополк, чувствуя, что безудержно краснеет, ответил:

— Я — нет, извините... Скоро меня сменят. Мы ночью отдыхаем, восстанавливаем силы.

— Хорошо, тогда и я отдохну до утра. А завтра вы будете со мной?

Лосев молча кивнул. Ему никогда в жизни не бывало так стыдно.

«...Я убедился, что мою бедную голову, пожалуй, и в самом деле надо чистить, всерьез чистить от гнусных комплексов, от позорной подозрительности. Прости меня. Я примерил твой мир к образцам земной этики. Я оказался непростительно горячим, я совсем запутался и ничего уже не понимаю. Мы в самом деле слишком молоды. Уйди в свои Круги Обитания, где двадцать солнц горят над невообразимым раем бессмертных селений. Дай нам созреть. Вы там даже не представляете, какое непомерно гордое, ранимое, страстное, противоречивое создание — землянин. Как samozабвенно он совершает ошибки, как сладко раскаивается потом. Уйди, оскорбленный ангел, оставь мой грех на плечах моих. Я пошел в своих выводах дорогой, подсказанной суровыми предками, и тем обнаружил, что раны человеческой души еще не зажили. Уйди и прости, ангел».

Легко, словно пар, гонимый ветром, гость подошел к Святополку, ласково положил руку ему на плечо:

— Раны не заживают никогда, Координатор, любимый брат мой.

И, наклонившись, сорвал несколько белых кашек и несколько головок клевера и спрятал их под рубашкой, ярко-голубой даже в сумерках.

БРАТЬЯ БЛИНОВЫ

Где бы ты ни был, откуда бы ни возвратился, а здесь ничего не меняется!

Краснощеков шел по длинному коридору мимо редакционных дверей и с удовольствием отмечал в себе нарастающее радостное чувство, что он вернулся домой.

Вон и Филимоныч пришел пораньше. Нет... Это не Иван Филимонович.

Коридор оканчивался приемной. В раскрытую дверь было видно, как около секретарши Сашеньки, отчитывавшей кого-то по телефону, топчется крепкий старик, похожий на кустодиевского лихача-извозчика. Рядом с ним на полу самодельный обшарпанный фанерный чемодан.

«Должно быть, с Волги приехал. А в чемодане не иначе как вечный двигатель», — подумал Краснощеков и вошел в свою комнату.

— Привет, друзья! — сказал он, будто бы никуда не уезжал, и уселся за стол.

— А-а, Дима! — Василий помахал рукой перед глазами, разгоняя табачный дым. — Привез форелей?

Краснощеков показал пустые ладони, а потом кивнул сидевшему в кресле для посетителей постоянно озабоченному человеку по имени Эдик, известному тем, что он говорил по-японски, ночами работал грузчиком в булочной и учился на факультете журналистики Московского университета.

Суходольский стоял у окна и заливался соловьем по телефону.

— Старик! — кричал он в трубку. — Потрясающе! В Архангельском... Ну да, князя Юсупова!.. Нет, нет, не клавесин...

Он в возбуждении схватил с подоконника программку.

— Камерный хор... Да ты послушай! Вот. Клаудио Монтеверди. Мадригал «О, я хотел бы умереть от любви»!..

В дверях показалась Сашенька, а за ней и старик с чемоданом.

— Иван, к тебе!

Суходольский умолк на полуслове:

— Дела, старик! — Положил трубку и с любопытством посмотрел на посетителя.

Краснощеков разбирал груды писем, пришедших за его отсутствие, и поглядывал на кустодиевского старика, который уже раскрыл чемодан и выкладывал на стол Суходольскому какие-то фанерные детали.

Так и есть, вечный двигатель!

— Это только макет, — говорил старик, проворно собирая свою машину. — Поэтому двигатель еще не работает.

— Станный случай. — Василий через комнату подмигнул Краснощекову. — Вечный двигатель — и не работает.

А старик между тем прикреплял к тонким фанерным рычагам непропорционально громоздкие противовесы. Для лучшего «товарного вида» противовесы были облицованы древними жестяными плакатами по технике безопасности. На одном из них изображена синяя женщина со шваброй, спускающаяся по трапу с баржи на берег. Нога работницы попала в щель между досками, и женщина, взмахнув руками, падала в воду. «Следы за исправностью трапа!» — советовала надпись.

Картинка на другом противовесе не лучше — такой же синий рабочий в кепке, изловчившись, подставил голову под длинную рукоятку винтового пресса, которым укупоривали бочку с селедкой. Из головы рабочего веером разлетались синие искры, а надпись гласила: «Бойся жома во время работы!»

«Запасливый старик, — подумал Краснощеков. — Плакаты приберег, видимо, еще со времен новой экономической политики. Или он с тех пор и конструирует свою машину?»

— Гм... — слегка озадаченно сказал выдавший виды Суходольский, глядя на причудливое сооружение. — Так как же все это должно работать? Хотя бы теоретически.

— Теоретически? — вскинул голову старик. — Чего не могу, о том врать не буду. А гипотезу, извини, выскажу.

Противовес! — начал он торжественно. — Все дело в нем. И должен он быть по крайней мере в двести тонн! А где такой взять?..

Да-а, орел!

Краснощеков внутренне улыбался, разбирая письма и прислушиваясь к горячий, но не слишком внятной речи старика.

— Не очень что-то я понимаю...

— Гипотеза, милоч, от теории тем и отличается, что до поры до времени понятна только ее создателю...

Ишь ты!

Краснощеков с симпатией относился к чудакам, которых в «Эврике» и вокруг нее было пруд пруди.

Что заставляет этих людей поступать... м-м... довольно странно? Недосыпать, недоедать, пренебрегать весьма завидными в общепринятом понимании благами, терпеть насмешки и му-

жественно переносить лишения? Что «вертит колеса»? Что побуждает, например, пенсионера Ивана Филимоновича каждый день приходить в редакцию и бескорыстно, не щадя себя, часами возиться с каким-нибудь головоломным письмом, чтобы потом опубликовать из него всего всего две строчки, до зарезу нужные автору из далекой деревни?

Или, скажем, этот старик. Или Василий...

А Василий, окутанный сизыми клубами дыма, в это время негромко втолковывал Эдику:

— Сначала изобрети *символ* того, о чем будешь писать... Ну хорошо, иероглиф...

— Напиши вывод... буквами. Не ленись...

— Изругай его со всех сторон...

— И пиши... С первой строки...

Все журналисты, кого знал Краснощеков, прежде были инженерами, врачами, педагогами, военными. В молодости один даже агрономом работал. Только Эдик учился на факультете журналистики, поэтому его жалели и всячески опекали.

— Разве это вечный двигатель? — не выдержал наконец Суходольский. — Да я вам изобрету хоть сотню таких, и еще получше!

— А ну давай! А ну давай! — азартно задирался старик, чуть ли не подпрыгивая на стуле.

— Ничего нет проще...

Суходольский коллекционировал проекты «перпетуум-мобиле», которые изредка поступали в «Эврику», и ему действительно не трудно было набросать две-три схемы по памяти.

Да-а... Что же все-таки «вертит колеса»? Что толкает людей на путь тернистый, даже подвижнический?

Краснощеков улыбнулся, неожиданно вспомнив удивительно талантливых и нелепых братьев Блиновых из Сызрани.

Вот они стоят, как всегда, рядышком. Каждому за сорок, а выглядят по-мальчишески. Застенчивые, русоголовые, невысокие, будто в землю вросли по щиколотки. «А может, они и растут прямо из земли?» — как-то обмолвился Василий. И действительно, с первого взгляда ясно, что они особой породы — волжской, российской.

Прадед Блиновых получил вольную от именитого сызранского барина за то, что был каменщиком-артистом. А добыть свободу в то время было делом почти невысказанным. Дед и отец славились на всю Волгу своими печами с какими-то особыми винтовыми дымоходами. Замечательные, рассказывают, были печники. И братья, как говорится, не подкачали.

Десятки изобретений. Может быть, даже сотни — некоторые произведения братьев отличались такой «специфичностью», что получить авторские свидетельства на них было совсем непросто или вовсе невозможно.

Волжские изобретатели делят свои «поделки» на «серьезы»

и «курьезы». Практически вечный, неперетирающийся трос, скрученный не из проволоки, а из наборных тонких стальных полос, — это серьезно. Кстати, если стальные полосы сделать достаточной толщины, трос превращается в великолепный гибкий вал для точных, боящихся ударов механизмов. И никаких карданов!

Или целиком металлическое колесо, но такое «шелковое», что вполне заменяет автомобильное с пневматическими шинами, а заодно и громоздкими рессорами, — тоже серьезно.

Ну а «курьезы»... Если изобретения вызывали недоверие, братья попросту принимались за что-нибудь новое.

Блиновы были редакционной достопримечательностью, так как о них никому не удавалось написать хорошую статью или очерк, хотя пытались многие. И Краснощеков пытался, но...

От младшего брата Евгения ушла жена, а сын-школьник остался с отцом. Петр вовсе не женат. Так и живут они вдвоем в своем небольшом домике. Да еще бесхвостая дворовая собака — четвертая душа.

Совсем недавно Блиновы вдруг заинтересовались электроникой. При последней встрече беседовали с Краснощековым о «синдроме гениальности», о таинственном четырехмерном континууме «пространство — время» и прозрачно намекали, что работают над «телепортатором».

«А ведь изобретут телепортатор, — продолжая улыбаться, думал Краснощеков. — Эх, хорошо бы вот так, прямо сейчас, — раз! «Здравствуйте! Как живется, как можется? Не сумею ли чем облегчить вашу задачу?..» Постой, постой... Неужели?.. Ну, ну, не горячись», — говорил Краснощеков себе на сей раз совершенно спокойно: он был готов к «эксперименту».

Он успел снять с руки часы и положить их перед собой на крышку стола — пятнадцать минут одиннадцатого. Поставил локти на зеленое сукно, прикрыл ладонями глаза и лоб.

Все в порядке. Поехали!..

Краснощеков стоял посередине комнаты на круглом алюминиевом пьедестале, от которого к голландской печи отходило множество разноцветных проводов. Печь обтянута толстым картоном, густо утыканым радиодеталями. А рядом, перед гудевшим, мерцающим зеленым светом телеэкраном, сидит младший брат Евгений Павлович, и на голове у него яйцеобразный шлем, похожий на парикмахерскую сушилку. Петр Павлович выглядывает из-за спины брата.

Зеленоватый свет экрана делает братьев похожими на привидения. Четыре застывших от ужаса глаза глядят на Краснощекова.

«Не хватало еще, чтобы они повредились в уме», — подумал Краснощеков и, чтобы их успокоить, сказал как можно более приветливо:

— Как дела? Я к вам мимоходом. На несколько минут.

Но тут он заметил, что братья смотрят мимо него, на дверь.

Краснощеков оглянулся и увидел, что дубовая дверь заложена на кованый железный крюк — произведение какого-то неизвестного цыгана, забредшего в Сызрань со своим табором, наверно, еще в прошлом веке. Братья работали над изобретениями как тульские оружейники, хорошенько забаррикадировавшись от сглазу.

— Я закрыл дверь на крючок, — сказал Краснощеков небрежно. — На всякий случай.

И сошел с пьедестала.

Дымился паяльник. Пахло канифолью. Пол был усеян мелкими радиодетальками, которые хрустели под ногами.

Споткнувшись о гирю, а потом больно ушибив колено о массивную шестерню лебедки — ею братья натягивали струны своего цельнометаллического со сверхмягкой амортизацией колеса, — Краснощеков подошел к книжному шкафу и стоявшему рядом с ним портфелю. Этот внушительного размера портфель Блиновы придумали года два назад, и бумаги в него можно было складывать не как обычно, а стопой, горизонтально.

Аристотель... Ого!.. Рамачарака!.. Радиотехника... «Высшая математика» Смирнова, «Психология» Платонова... Ба-а! «Гносеология современного прагматизма»... Ну и ну!

Краснощеков читал на корешках названия книг, которыми сейчас пользовались Блиновы, и слышал, как за его спиной нервным шепотом препираются братья.

— Это ты захотел, мальчишка!..

— Не дури, Петя! С больной-то головы, да на здоровую...

— Вдруг это опасно!..

— Но у нас ведь не готово...

— Угостите-ка меня чайком, — сказал Краснощеков, оборачиваясь и дружески улыбаясь. — Не волнуйтесь, *все будет хорошо*.

И братья засуетились.

Петр Павлович схватил синий эмалированный чайник, к которому вместо дужки был приспособлен кусок бельевой веревки, и побежал к крану. А Евгений Павлович, усевшись, что на покрытом газетой столе валяются хлебные крошки, позвонки и рыбки шкурки, тут же расстелил сверху свежую газету. Поставил стаканы, принес хлеб, рядом с ним положил связку воблы, от вида которой у Краснощекова потекли слюнки.

Этот фокус с газетой братья, видимо, проделывали не однажды. Краснощеков осторожно поинтересовался и насчитал четыре «культурных слоя».

Они сидели за столом, накрытым свежей газетой, ждали, пока закипит чайник, чистили воблу и вели содержательную беседу.

— Так как же вы себя чувствуете?

— Хорошо, Петр Павлович.

— В дороге всякое бывает...

— Верно.

— А как там... погода?

Братьев была нервная дрожь, и они непрерывно ерзали на табуретах, словно их снизу припекало.

— Да успокойтесь же! — не выдержал Краснощеков. — С погодой полный порядок!

— Я-я спокоен, — заикнувшись, сказал Петр Павлович. — Как в санях еду!

Легкий на подъем, он тотчас бросил воблу, вскочил, подбежал к кровати и живо надел на себя ремни лежавшего поверх одеяла аккордеона. Сверкающий перламутровый аккордеон был единственной роскошной вещью в их доме.

— Вот, пожалуйста!

И комната наполнилась низкими, органными звуками.

Теперь было ясно, что Петр Павлович начал успокаиваться, а успокоившись, крепко задумался. Краснощекову это знакомо. «Сейчас Петр Павлович где-то далеко, — подумал он. — Вернее, он-то здесь, а мысли его за тридевять земель».

Над кроватью, среди приколотых к стене авторских свидетельств, висел большой фотопортрет младшего брата Евгения. Он стоял, улыбаясь, на траве стадиона с лихо поднятыми вверх двухпудовками, а через его плечо была перекинута широкая чемпионская лента.

Как-то уж очень низкими и тягучими стали звуки, и Краснощеков только сейчас обратил внимание, что Петр Павлович играет, собственно, не на аккордеоне. Поверх нарядных перламутровых клавиш прикреплена тонкая планка с простенькими черными и белыми баянными пуговками. «Разве на этом иностранце сыграешь русскую песню? — сказал однажды Петр Павлович. — Пальцы не так ходят!» А вскоре взял и смастерил эту баянную приставку.

— И-эх, мать честная! — словно угадав мысли Краснощекова, вздохнул Петр Павлович и запел:

За рекой, на горе
Лес зеленый шумит;
Под горой, за рекой
Хуторочек стоит.

Младший брат тотчас вступился, подтянул несильным, но приятным голосом. Пели они очень хорошо.

Вот уже в хуторке разыгралась трагедия, вот уже убита молодая вдова, и певцы замерли на несколько мгновений, пораженные горем.

И с тех пор в хуторке
Уж никто не живет:
Лишь один соловей
Громко песни поет.



— Мне пора, — сказал Краснощеков, внезапно почувствовав озноб, и поднялся из-за стола.

Братья переполошились и чуть ли не стали выталкивать его за порог.

— Только, чур, меня не провожать!

Последнюю фразу Краснощеков произнес, уже совсем ослабев, но все же набрал в себе силы, чтобы захлопнуть дверь перед самым носом у Блиновых...

Краснощеков открыл глаза и первым делом взглянул на часы.

Итак, ровно пятнадцать минут одиннадцатого. И стрелка движется. Ушибленное колено болит, а руки — он недоверчиво понюхал пальцы — руки пахнут воблой...

— А вот и нет! А вот и нет! — торжествующе, на всю комнату заорал кустодиевский старик.

— Чего — нет?

— Твой вечный двигатель работать не будет!

— Это почему же? — обиделся Суходольский.

— Вот тут у тебя тепло теряется. А у меня — нет!

Жизнь в редакции уверенно текла по накатанному руслу.

«Нужно сбегать на почтамт и послать Блиновым телеграмму, — взволнованно думал Краснощеков. — Нет, лучше пошлю завтра. Что-нибудь самое обыденное. Например: «Доехал благополучно».

А вдруг?..

ЗОВУЩИЙ, ЗОВУЩИЙ МИР...

Дверь бесшумно отворилась. Он инстинктивно повернулся и увидел новичка, неуверенно остановившегося в дверях.

Вместо приглашения он недоверчиво спросил:

— Неужели теперь и женщин присылают?

Девушка растерянно кивнула.

— Что же вы стали? Входите, — предложил он.

Девушка сделала несколько робких шагов.

— Садитесь.

Она присела на стоявший у прозрачной стены стул.

— Как вы доехали?

— Хорошо, спасибо, — ответила она. Потом, приподнявшись, сказала: — Меня зовут...

— Сидите, сидите, — перебил он. — В этой комнате люди не знакомятся. Здесь встречаются раз в три года, как мы сейчас, и расстаются. — Он стоял рядом с девушкой у прозрачной стены, за которой расстилалась голубоватая равнина с редкими деревьями — похожие на осьминогов, они простерли к оранжевому небу свои голые, длинные и беспокойные щупальца. — Сразу же примете станцию или сначала отдохнете? — спросил он.

— Все равно.

В тишине с небольшими перерывами раздавался слабый, приглушенный хрип кварцевых часов.

Молчание становилось невыносимым. Чтобы скрыть свое волнение, девушка глухо произнесла:

— Какая странная планета...

— Ничуть, — бросил он, — самая обыкновенная. Ничего странного здесь нет. Видите деревья? — Он отступил в сторону, чтобы она могла видеть растущие на равнине деревья. — Недели через две они будут казаться вам самыми обычными. Это единственная диковинная вещь на планете, да и то лишь поначалу... А остальное настолько обыденно, что с ума можно сойти.

— И вы... уже?.. — спросила девушка.

— И не думал. Люди сходят с ума от тоски, одиночества, от чувства покинутости и собственной ненужности. Но здесь не тоскливо, потому что напряженно работаешь. Целый день. Если только на минуту **ослабить бдительность**, машины и роботы разнесут планету на куски. Забытым я тоже никогда не был. Где-то ждут меня. И зовут, всегда, каждый день, каждый час зовут... И даже в эту минуту. Поэтому я спешу, — произнес он слегка смущенно.

— Я сейчас же приму станцию, и вы не опоздаете, — сказала она. — Наверное, очень соскучились... по Земле или Марсу... Вы с какой планеты?

— Со 151-й Козерога. Там родился и вырос. На Земле еще ни разу не был.

— Все равно, — небрежно произнесла девушка. — Все обитаемые планеты похожи друг на друга. Наверное, лет через сто и эта тоже ничем не будет отличаться от Земли. А вы знаете, я тоже уже соскучилась по дому. Мне казалось, здесь все будет так необычно... Но я вам верю. И немного завидую.

— Чему?

— Скоро вы будете дома.

— Напрасно завидуете. Я домой не возвращусь...

— Останетесь? — спросила девушка. — Разве есть такая инструкция — о совместном дежурстве?

— Нет. — Он улыбнулся, потом сел напротив, обхватив руками колено. — Я отправляюсь. Туда. — Он показал рукой на сверкающую на вечернем небосводе точку.

— Яркая звезда...

— Очень, — сказал он, чуть раскачиваясь на стуле. — Всегда блеснит. И зовет. Я с нетерпением ждал дежурного, чтобы сдать станцию и улететь туда.

— А по Козерогу-151 не соскучились?

— Не знаю. Как вам сказать? Наверное, да... — Помолчав, он продолжал тихо: — Но меня зовут, понимаете?

Девушка кивнула и, чтобы рассеять охватившее ее странное чувство, сказала очень громко:

— Может, принять станцию? А то вы и в самом деле опоздаете. Когда отправляетесь?

— Как только сдам станцию, — сказал он. — На это уйдет меньше часа.

На следующий день они снова встретились в той же комнате. Девушка не удивилась, она знала, что он еще не уехал.

— Доброе утро, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответила девушка. — Вы оказались правы — деревья стали для меня уже обычными.

— Вы слишком снисходительны ко мне, — сказал он, — и

все же я точно знаю, что деревья станут обычными только через неделю-другую.

— Вы еще не уехали, — сказала она, — а я всю ночь не могла уснуть. Каждую минуту ждала, что услышу рев двигателей. Кстати, доносится сюда со взлетной площадки шум двигателей?

— Доносится, только слабо.

— Как вас зовут?

Он скрестил руки на груди.

— Я же говорил, что в этой комнате не знакомятся. Раз в три года старый и новый дежурные встречаются здесь и снова расходятся. Я не знаю имени своего предшественника, а он моего...

— Почему?

— Это лишнее, — сказал он.

— Почему же лишнее? — удивилась она. — Ведь можно встречаться и расставаться по-человечески.

— Конечно, можно, — ответил он, — но это будет тяжело и для уходящих и для остающихся. На этой окраинной планете скрещиваются пути двух людей, живших до этого в разных уголках вселенной, и в тот же день расходятся. И эти двое никогда больше не встретятся. Понимаете, два человека встречаются и расстаются, чтобы уже никогда не встретиться. А когда знаешь имя... то... тогда ждешь его, потому что это уже не какой-нибудь безымянный человек. Ну, как вам объяснить... Имя — это уже нечто большее. Когда и вы продежурите здесь полгода, сами почувствуете... и не сможете объяснить заменяющему вас, что это означает, когда после долгого одиночества встречаешь наконец человека...

— Не верю, чтобы имя могло помешать.

— Возможно. Но ведь ни к чему, чтобы кто-то, которого уже никогда не увидишь, стал конкретной личностью?

— Вчера вы очень спешили, — сказала девушка.

Он не ответил.

И снова в тишине с небольшими перерывами послышался хрип кварцевых часов.

Окраинная планета была той границей, на которой остановилось освоение космоса. Тысячи подобных планет находились в процессе освоения. И каждая из них была границей между известным и неизвестным. За сотню или более лет машины и роботы под надзором одиноких дежурных преобразуют планету, создадут все то, без чего невозможно переселение людей. Потом из разных мест вселенной приедут сюда люди и создадут колонии. Жаль, что до сих пор ни на одной планете не обнаружены мыслящие существа. И теперь по вселенной, по бесконечному множеству радиусов распространяются бывшие земные жители...

— Сколько, по-вашему, людей во всей вселенной?

— Наверное, несколько сотен миллиардов, — ответила она.

— В двадцатом веке люди, кажется, жили только на Земле. Их было всего три миллиарда.

— Сейчас двадцать восьмой век, — сказала девушка. — Долго вы еще намерены здесь оставаться? Вас уже не зовут?

— Сейчас двадцать восьмой век, — подтвердил он, — и люди, в особенности девушки, совершенно не изменились.

Это была упрямая звезда.

Она продолжала звать все время.

Он не мог заглушить этот упорный зов.

Когда спустя несколько дней он снова шел в ту комнату, где люди никогда не знакомятся, он уже знал: после того как он выйдет отсюда, эта окраинная планета станет воспоминанием, сном или сказкой, услышанной в детстве, которую хочется послушать снова, но от которой теперь щемит сердце, потому что все обаяние этой сказки уже безвозвратно утеряно.

— Я сейчас отправляюсь, — сказал он.

Она молча посмотрела на него.

— Я сейчас отправляюсь, — повторил он.

— Мы расстаемся, — тихо проговорила она. — Человеческие пути случайно скрещиваются на этой планете и снова расходятся. Верно?

— Мы встретимся.

— Так много дорог, — сказала она, — и так велика вселенная...

— Мне было двадцать лет, когда я прибыл сюда, — сказал он. — А вам?

— Мне тоже.

— Видимо, на этой планете пересекаются пути только двадцатилетних... На этой самой обыкновенной планете... Ведь странно, а?

— Да.

— А когда они появляются в обычном мире, то стремятся туда, где нет ничего обыкновенного. И если они стремятся к этому, то обязательно встретятся там, где все действительно необычно: и вселенная, и солнце, и планета... Мы обязательно встретимся, — Он помолчал, потом добавил: — Меня зовут Адам.

— А я Лилит, — сказала девушка. — Ты уверен, что мы встретимся?

— А ты знаешь, сколько людей на свете?

Она растерялась:

— На свете есть всего два человека. Я и ты. И есть всего лишь одна звезда, самая необычная во всей вселенной...

Перевод с армянского

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДОМ

Ушла все-таки Виноградова...

Перед уходом она обошла все отделы и лаборатории, где у нее были друзья и знакомые. Заглянула и к нам, в БНТИ — бюро научно-технической информации.

— Уходите, Ольга Михайловна?

— Да, Володя. Пригласили заведовать кафедрой.

Весной в политехническом, на строительном факультете открылась новая кафедра — генерального проектирования городов, туда и прошла по конкурсу Ольга Михайловна. Если рассуждать объективно, то лучшей кандидатуры, чем доктор архитектуры Виноградова, для этой должности в городе не найдешь: последние два года она как раз и занималась генпланами городов, два из которых отмечены крупными премиями, в теорию архитектуры вошел даже новый термин — «открытые объемы Виноградовой»... И только у нас, в НИИстройпроекте, где Ольга Михайловна официально числилась главным инженером проекта, а на самом деле являлась архитектурным руководителем института, знали, что планировкой городов она занимается по обязанности; что любовь ее — в интерьерах... Да и сам термин «открытые объемы Виноградовой» означает отнюдь не то, что принято под ним подразумевать.

— А не жалко уходить от нас?

Ольга Михайловна перебросила сигарету в угол рта и с грустным любопытством посмотрела на меня:

— Какой вы, однако, настырный, Володенька. Вы же все знаете.

Она соскочила со стола — сидеть на краешке стола ее любящая привычка, иногда она, сам видел, даже в кабинете директора, Мочьяна, забывшись, неожиданно оказывалась на голову выше всех заседающих, и величавый Ваграм Васильевич обрывал себя на полуслове, с немым укором во взоре созерцая Ольгу Михайловну на краешке «заседательского» стола, пока кто-нибудь не приводил ее «в чувство»... Ольга Михайловна легко соскочила со стола, заваленного свежими переводами, —

трудно даже поверить, что ей уже сорок с «хвостиком», ткнула окурок в пепельницу и протянула мне маленькую руку:

— Прощайте, Володя.

Потом она обошла всех информаторов, с кем была знакома и кто регулярно снабжал ее новостями и переводами, а уходя из комнаты, сказала с недоумением:

— Как у вас душно!

И исчезла. Словно растаяла в дверном проеме. Маленькая женщина с небрежной прической, с вечной сигареткой, в толстом свитере — вечно ей было холодно, нередко даже в брюках... И доктор наук притом! И обаятельная даже в мужском наряде...

В этом есть что-то глубоко несправедливое — так, во всяком случае, считают многие наши институтские дамы: ум и красота для женщины... Как бы это поточнее выразить их шепотки — наших дам? Нечто противоестественное, несовместимое? От дьявола, одним словом. Конечно, есть и умницы среди них, среди наших дам, но кто из них рискнет появиться в институте в обыкновенной, «затрапезной», как они сами выражаются, козыночке, или зимой в мохнатой потрепанной ушанке?

— Ах, да... Олежечку обобрала, — смеется в таких случаях Ольга Михайловна.

Олежечка ее сын, свет в окошке, чадо, рядом с которым сама она выглядит школьницей...

Ушла Ольга Михайловна и унесла с собой из нашего НИИСтройпроекта сам дух Виталис... И вдруг недели через две она снова пришла, я увидел ее в «манеже», как у нас называют холл на четвертом этаже, где выставляются новые и вообще любопытные проекты и где всегда дым висит коромыслом. Виноградова стояла в окружении своих бывших коллег — обсуждался, как я понял, проект микрорайона «Заречный», последняя работа Ольги Михайловны; я хотел пройти, не здороваясь, чтобы не отвлекать ее, но она увидела меня сама, раздвинула круг и крикнула:

— Володя!

Как будто прошло не так уж и много времени — всего две недели, а уже что-то изменилось в ее облике, я даже испугался: не заболела ли? — но она отмахнулась:

— О чем вы говорите? Новая кафедра, одна в семи лицах...

Может, и так. А может, это из-за одежды? У нас, в НИИ, Ольга Михайловна всегда ходила в «брючном варианте», как выражались наши дамы, а тут вдруг строгий темно-коричневый костюм со стоячим воротником, белые кружевные манжеты, янтарные пуговицы...

— Возьмите меня на кафедру...

До чего нелепая просьба! Я ведь не архитектор, не механик и даже не расчетчик... Техинформатор. Инженер, как у нас острят, «широкого кругозора». Но Ольга Михайловна неожидан-

но для меня отнеслась к моей нелепой просьбе вполне серьезно, кивнула, что означало — хорошо, подумаю, а потом вдруг взяла меня под локоть и повела по коридору.

— Сигарету дадите? Забыла свои у планшета.

Я дал сигарету, шелкнул зажигалкой... Зачем я ей понадобился?

— Вот, — сказала Ольга Михайловна, с наслаждением выпустив струйку дыма. — Пришла. У вас есть полчасика?

— Конечно! Хоть два часа.

— Тогда пойдемте.

И она решительно повернула меня к лестничной площадке: вниз, вниз... На втором марше я уже догадался, куда она меня тащит. И себя. Да она этого и не скрывала.

— Не пробовали? Не получается?

— А вы его разыскали? — вопросом на вопрос ответил я и почувствовал, как она крепче сжала мой локоть и ускорила шаг.

— Да. Он был у родителей.

Но что-то в ее «да» я уловил неприятное. Может быть, потому, что следом за «да» шло «был»?

— Был? — удивился я. — Он что — приехал?

Она потащила меня по лестнице еще быстрее, теперь мы спустились почти бегом. Куда мы несемся сломя голову, что случилось, доктор Виноградова?

— Он умер, Володя.

Я остановился в недоумении: умер. Я так отчетливо в этот момент представил вечно смущенного, вечно озабоченного тишайшего Леню Кудреватых; он и комара-то, прежде чем убить, десять раз задастся вопросом: а вправе ли? А Виноградова с такой жестокостью в голосе, даже с неприязнью... Умер. Невозможно. Любой другой, но Леня...

— Вы серьезно?

— Куда уж серьезнее! — вздохнула Ольга Михайловна. — Дайте еще сигарету.

Мы застряли на площадке между первым и вторым этажами, мы стояли перед окном, выходящим на институтский двор, заставленный фермами, панелями, блоками и полусобранными квартирами новой, улучшенной планировки. Спешить было больше некуда...

Леня Кудреватых появился в институте года два назад, скромный, незаметный техник из лаборатории строительных материалов. С легкой руки Ольги Михайловны, обожающей уменьшительные суффиксы, все, кто имел с ним дело, называли его Ленчиком. Да и обращались часто к нему точно так же, по-виноградовски. Назови так другого — без улыбки нельзя было бы здороваться, а Кудреватых как будто родился с этим суффиксом.

Лаборатория стройматериалов, где он работал, была расположена в отдельном здании — отсюда, с площадки между пер-

вым и вторым этажами, хорошо видна широкая — вагон может въехать — дверь, арочная фрамуга над ней и вылинявший лозунг еще выше, под самой крышей: «Созидать в духе времени!» Неплохой, по-моему, лозунг, молва приписывает его самой Виноградовой, но почему-то у большинства, кто этот лозунг видит впервые, он вызывает улыбку... Странно!

А справа от лаборатории — макетная площадка, где собирали квартиры новой планировки, элементы перекрытий для цехов и крытых арен, и проектировщики на натуре уточняли, что им требуется. Но чаще макетная площадка пустовала и на ней играли в волейбол. Там, в обеденный перерыв, я и познакомился с Ленией Кудреватых.

Он играл в нашей команде — шел за мной. Играл Ленья страшно плохо, хотя и старался изо всех сил, и я вынужден был оттянуться, прикрыть его. Но от разгрома нас это не спасло, а в конце второго сета, прикрывая Леню от «навешенного» мяча, я неудачно приземлился и ободрал руку.

— Пойдемте, — сказал Ленья виновато и даже испуганно. — У нас есть аптечка.

В лаборатории стройматериалов я бывал и раньше, но все мимоходом, техниформации у них проводятся в кабинете начальника, и я в тот раз, «по несчастному случаю», впервые как следует разглядел, какой техникой набита эта лаборатория: печи, краны, прессы, снова печи... В глаза бросался пресс сразу у входа — «головой» под стеклянный фонарь над крышей. Фонарь, очевидно, для него и сделан — для этого колосса.

— На нем мы давим бетонные конструкции, — сказал Кудреватых, поймав мой взгляд. — Уникальная машина. На собственной подушке стоит — пять метров в глубь земли.

Я промыл руку под краном, залил йодом и подошел к прессу-гиганту. Могушая машина — ничего не скажешь.

— Две тысячи тонн, — с гордостью сказал Кудреватых, нажимая на кнопку «пуск» и следом, через секунду-две, на рычаг. Пуансон мягко заскользил вниз, но в полуметре от матрицы, на которой лежал кирпич, вдруг ринулся вниз, и от кирпича осталась лишь кучка красной пыли. Но удара я не услышал.

— Молот? — удивился я.

— Не совсем, — заулыбался Ленчик. — Молот бьет, а этот давит. Но очень быстро. Это очень удобно — мгновенные нагрузки. Можно создать давление до ста тысяч атмосфер. Показать как?

И, не дожидаясь моего ответа, извлек откуда-то из-под стеллажа с матрицами бутылку. В горлышке бутылки торчала пробка. Он ее вынул почти до конца и поставил бутылку под пуансон.

— Попробуйте. — Он так и сиял от удовольствия. — Это не сложно, надо только дать себе точное задание, что нужно сделать. И все получится.

Ленчик нажал на рычаг, пуансон сорвался вниз...

— Вот, — подал он мне целехонькую, плотно закрытую пробкой бутылку. — Попробуйте, это несложно.

Я отказался, помахав ободранной рукой. Про фокус с пробкой я уже слышал. Повторить его не удавалось никому.

— А если в бутылку налить воду, то можно в ней создать любое давление, — объяснил Кудреватых все с той же виновато-сконфуженной улыбкой.

— Любое? — удивился я. — Но она же разлетится вдребезги!

— Да, конечно, — как-то враз стушевался он. — Но если вы поставите перед собой задачу...

Про это я уже тоже слышал. Действительно, каким-то чудом этому технику удавалось абсолютно точно угадывать предельно допустимое давление — при испытаниях образцов на этом самом прессе-гиганте. Допустим, железобетонная ферма должна дать трещину при нагрузке в двести тонн. Не включая ограничитель давления, Кудреватых давит ферму вручную, рычагом, а когда расшифровывают диаграмму нагрузок, оказывается точно двести тонн...

— Как вам это удается? — полюбопытствовал я.

Он подумал, смущенно улыбнулся и повторил прежнее:

— Это может сделать любой. Надо только очень сильно захотеть, чтобы получилось нужное. Ну и знать, конечно, что же нужно получить. Представить, что ли... — Пожал он плечами, всем своим видом выражая сожаление, что не может мне внятно ответить на такой, казалось, детский вопрос.

На том мы и расстались, но каждый раз при встречах он так радовался мне, что очень скоро и как-то незаметно перешли на «ты», хотя и говорить-то нам, по существу, было не о чем: пару фраз о погоде, о новом фильме, о новых проектах, вывешенных в «манеже»... Вот там, в «манеже», он меня и удивил однажды уже по-настоящему.

Дело было так. Периодически — раз в квартал, иногда в полгода — в «манеже» проходят выставки под лозунгом «Терра-фантазия». Все планшеты обезличенные, только символы, тема любая, и единственное условие для приема проекта на эту выставку-фантази, как выражается наш величавый Ваграм Васильевич, — полная отрешенность от возможностей и проблем сегодняшнего дня. Ирония иронией, а в последние годы почти половина «фантази», как выясняется после вскрытия конвертов с фамилиями авторов, оказываются присланными из Москвы, Ленинграда, Харькова... Ваграму Васильевичу такая популярность нашего «манежа», разумеется, льстит, хотя он и понимает, что дело тут не в институте, а в Виноградовой, которая эти выставки-фантази когда-то затеяла, «тянет» уже лет пять, если не больше, и сама регулярно выставляет на них самые «бурные» планшеты.

Бури вокруг ее планшетов каждый раз разражаются основательные — что верно, то верно. И на этот раз Ольга Михайловна себе не изменила: на огромном ватмане — метр на три — был вычерчен дом... Да дом ли это? Причудливый овалный улей, в котором каждый следующий ряд сотов уходит как бы вглубь. Такое впечатление, что весь дом состоит из полупрозрачных, четко ограненных кристаллов, каждый из которых существует в пространстве самостоятельно, независимо от других... А в целом это дом из множества квартир! Но может ли быть такое в природе? Вернее, можно ли построить этот «воздушный замок»?..

Впрочем, главный спор разгорелся даже не вокруг самого проекта — Ольга Михайловна и не тем еще удивляла! — а вокруг таблицы в углу планшета, где автор обязан указать материалы, из которых, по его мнению, можно построить его детище, примерную стоимость и еще ряд «сметных показателей», как говорят проектировщики. В первый день выставки вся эта таблица на планшете с символом «дельта» была пустой: автор, так сказать, совершенно честно подтвердил, что и понятия не имеет, из чего можно построить его дом-улей. Но спустя два-три дня, ко всеобщему изумлению, таблица оказалась заполненной, вернее, заполнена была одна лишь графа «материал», однако с пометкой «проверено в натуре». Среди множества цифр, характеризовавших никому не ведомый кирпич, бросались в глаза, пожалуй, две: вес — единица (игрушка по сравнению с обычным кирпичом в два раза легче) и стоимость — две десятых копейки за кубометр. Вот эти две десятых копейки и веселили всех без исключения — дешевле песка! В конце концов было решено, что шутка удалась на славу, и кто-то из архитекторов внизу таблицы, под характеристикой материала, приписал: «5 октября считать за 1 апреля».

А наутро разразилась уже настоящая буря. Не знаю, кто обнаружил на тумбочке, где лежала книга отзывов, этот странный кирпич первым, но, когда я примчался в «манеж», там уже было не протолкаться и стоял такой гул, как на хоккейном матче: «Вот это цирк!.. Мистификация, братцы, иллюзион!.. Мадам Виноградовой салют!.. Такое надо придумать... Твердая вода!..» С трудом мне удалось пробиться к планшету с домом-ульем, у которого стояла сама Ольга Михайловна и с растерянно-недоумевающим видом рассматривала стеклянный блок... Впрочем, в том-то и штука, что блок оказался не стеклянным, а... Из чего же он? На табличке, приклеенной к одной из граней блока, когда он оказался у меня в руках, я прочел ту же характеристику, что и на планшете дома-улья: «Плотность — 1, модуль упругости — $3,0 \times 10^4$...» А ниже в кавычках: «твердая вода».

Блок у меня вырвали, не дав как следует даже разглядеть его цвет. Зеленовато-голубой? По цвету он и в самом деле напоми-

нал собой лед, однако был теплым... Да и прочность! Выше кирпичика!

А через час к нам в БНТИ пожаловала сама Ольга Михайловна. Присела на краешек моего стола и заявила:

— Ну-с, Володенька, информируйте меня.

— О чем, Ольга Михайловна?

— Не притворяйтесь дурачком, Володенька. Весь институт деморализован, Ваграм Васильевич лично изъяс блок «твердой воды». Вся надежда на вас: информируйте! Кто автор, состав, технология и все остальное. Или это мистификация?

— Да откуда я знаю, Ольга Михайловна! Вы же держали в руках...

— Держала. Признаюсь, даже лизнула. И верю, что это не мистификация. Вот поэтому и пришла к вам. Сколько вам потребуется времени, чтобы разыскать виновника бума?

Я пожал плечами: откуда мне знать?

— Ну, ну... — насмешливо протянула Ольга Михайловна. — Вы же знаете, как я к вам хорошо отношусь...

Она действительно, на удивление многих моих коллег, относилась ко мне очень хорошо. Дважды, на день своего рождения и в Новый год, приглашала к себе домой — вообще дело неслыханное! Впрочем, как я понял уже в первый свой визит к ней, добрая половина гостей к Виноградовым является вообще без всяких приглашений. А уж те, кто приходит по личному приглашению... Но чем я могу ей помочь? Загадка. «Твердая вода». А ведь кто-то из наших, институтских. Блок обнаружили ровно в девять, в это время в институте посторонних не бывает никого... Свой, выходит. Свой...

По какому наитию я вспомнил о Ленчике Кудреватых? То ли его фокусы с бутылкой, в которой он грозился создать любое нужное давление, то ли... Да нет, пожалуй, не в этом дело. Однажды мы встретились с ним в вестибюле, утром было, он так обрадовался, долго тряс мне руку, но тут вошла Ольга Михайловна, я отвернулся, чтобы поздороваться с ней, а когда вспомнил о Кудреватых... Он так глядел на Ольгу Михайловну, с таким обожанием, с таким благоговением... Я вдруг почувствовал себя мальчишкой, застигнутым у замочной скважины, покраснел, злясь на себя, и осторожно отошел в сторону. Но он, помоему, даже не заметил этого: так и стоял посреди вестибюля изваянием, пока Ольга Михайловна не скрылась в боковом коридоре.

Но что в этом удивительного? Столько мужчин, как выражаются наши дамы, потеряли глаза на «мадам Виноградовой»... И все же: «Надо только очень захотеть, чтобы получилось нужное...» — так он сказал тогда? Так, видит бог, именно так... И через пять минут я был уже в лаборатории стройматериалов.

— Здравствуй, изобретатель! Ну и наделал ты шуму своей

«твердой водой»! Сам Ваграм Васильевич жаждет тебя увенчать лаврами!

Кудреватых, смущенно улыбаясь, поспешно вытер руки о тряпку, затем о спецовку со следами масел и только тогда пожал мою. Вид у него был неважный — бледно-голубой, я бы сказал, как после хорошей попойки со школьными друзьями. И глаза какие-то измученные, ввалившиеся...

— Грипповал, что ли? Сейчас, говорят, идет какой-то «гон-конг» из Азии...

— Нет, я не болел, — ответил он. — Это так. Сам не знаю. Не обращайтесь внимания.

— А... И как же она у тебя получается? Это что — лед?

— Нет, — покачал головой Ленчик. — Лед ведь хрупкий, в нем образуются кластеры, это такие группы молекул, между которыми пустоты. Вот если забрать у воды энергию мгновенно, не допуская образования кластеров...

Очевидно, он по моей физиономии догадался, что я ничего в этих кластерах не понимаю, и замолчал, не зная, что делать со своими руками — трет, трет о тряпку...

— И что же, из этой «твердой воды» можно выстроить виноградский «улей»? — не зная, чем заполнить неожиданную паузу, спросил я его — опять больше по наитию.

— Да, конечно! — мгновенно преобразился он, и я пораился этой перемене, словно другой передо мной человек: глаза ожили, пропала эта неприятная голубизна на лице, да и голос, голос!.. «Прямо проповедник», — промелькнуло у меня в голове, но уже в следующее мгновение я о своей иронии забыл, ибо рассказывал этот Ленчик о вещах... м-м... занятых.

Идеей создания «открытых объемов Виноградовой» он, оказывается, увлекся еще в инженерно-строительном, где тоже работал лаборантом, а одновременно учился на вечернем отделении. Вот как он сам понимал этот термин:

— Дома, вообще городские постройки — это плата человека за то, что он стал человеком... Имейте в виду, эту мысль впервые высказала Ольга Михайловна! Человек сам себя вырвал из ландшафта, из природы, это был вынужденный его шаг, все началось с пещер. Но как только он этот шаг сделал, стал строить жилища, говорит Ольга Михайловна, то он тем самым выключил себя из природы, он перестал быть элементом природы. Но ведь это означает, что... он перестал эволюционировать, понимаете? Человек не может жить вне земной природы — вот главная мысль Ольги Михайловны. Его нужно вернуть, иначе человек рано или поздно, но начнет вырождаться — в биологическом смысле, конечно. Это очень интересная мысль Ольги Михайловны, — торопился Кудреватых. — Она считает, что большинство болезней современного человека связаны с тем, что он живет в замкнутом объеме: дом — квартира — четыре стены, на работе то же самое, в гостях то же самое... Понимаете? Кла-

устрофобией страдают абсолютно все, только у одних это выражается в виде болезни страха закрытых помещений, а у других в неврозе, в психозе, в разных нервных расстройствах, одним словом, а это уже предрасположенность к сосудисто-сердечным, к хроническим болезням, а может быть, и к раку, верно? Вот Ольга Михайловна и начала искать такие архитектурные решения домов и квартир, которые бы сняли с человека этот гнет стен и потолка. Я прочел все ее работы, обе диссертации, она ведь, если хотите, открыла своими работами направление совершенно новой науке, ей пока не могут придумать название, но это дело времени, а суть дела в том, что нужно найти закономерности... Да она уже их нашла. Ольга Михайловна! Понимаете, существуют вполне определенные закономерности между психическим состоянием человека и самим объемом, в котором он находится, — его геометрией, кубатурой, прозрачностью и так далее. Понимаете? Мы сейчас ведь строим дома, исходя из внешнего архитектурного облика и технических возможностей — прочности бетона, стального каркаса... Это в тридцатых годах архитекторы-конструктивисты сделали попытку проектировать здания как бы изнутри — из целесообразности, удобства самой квартиры. И я понял, чем могу помочь Ольге Михайловне: все дело в том, что здания, жилые дома в своей геометрии должны быть подобны чему-то природному, что создала уже сама природа. Природа создала не только человека, но и... жилье для него, должна была создать, вот о чем я думал. Кристалл, понимаете? Геометрия кристалла такова, что он должен создавать впечатление открытого объема — я был в этом уверен, хотя и не знал, какой именно кристалл лучше всего отвечает этому условию... Ольга Михайловна! Она нашла... Знаете, когда я увидел ее новый проект, в котором квартиры-кристаллы, я представил себя внутри этой квартиры... Это ведь то самое, над чем я ломал голову несколько лет! А она все решила так просто, так гениально... Знаете, я когда увидел этот дом из кристаллов, чуть не заплакал. От счастья... Не можете себе представить, как мне было хорошо...

Он и сейчас был в таком состоянии... Даже неловко смотреть на него: голос дрожит, срыгается, в глазах блеск какой-то полупьяный... И без конца:

— Ольга Михайловна, Ольга Михайловна...

— Постойте, — сообразил я и сам неожиданно для себя перешел с ним на «вы». — Ведь меня послала разыскать вас Ольга Михайловна. Это все вы должны ей рассказать, ей!..

Он вспыхнул, потом побледнел, засуетился вокруг меня, не зная, куда засунуть масляную тряпку...

— Да, конечно, — пробормотал он. — Я ей все покажу. Я ведь это для нее сделал...

— Для нее?

— Ну да, — Он овладел собой и только руки опять не знал,

куда девать: то в карманы куртки спрячет, то хрустит пальцами... — Сам по себе кристалл еще не может снять полностью гнет клаустрофобии. Кристалл должен быть прозрачным или хотя бы полупрозрачным. Он не должен давить на человека своей ограниченностью, конечностью своего внутреннего объема. «Значит, стекло?» — подумал я. Но стекло слишком хрупкое и дорогое. Это был долгий путь, я уж и не помню, как пришел к идее «твердой воды». Скорее всего потому, что она дешевая. Дешевле всего. А потом уже стал пытаться замораживать воду в прочных цилиндрах... Показать?

— Нет, я должен позвонить Ольге Михайловне. Где тут у вас телефон?

Она, видимо, бежала. Во всяком случае, пришла запыхавшаяся, широко открытыми глазами, с какой-то странной улыбкой долго глядела на Кудреватых, потом, словно не веря своим глазам, покачала головой и сказала — каким-то быстрым, счастливым полушепотом:

— Господи, да это же Ленчик... Как же я тебя не узнала? И давно ты у нас? Хм, чудо мое... Значит, все-таки придумал? Какое счастье, а? Какой же ты все-таки упрямый, Ленчик...

Подошла к онемевшему Ленчику, обняла его, отпустила, разглядывая со счастливой улыбкой, потом потрепала рукой по волосам...

— Ну, показывай, чудо мое. Значит, научился мгновенно замораживать воду? А не растает она у тебя? Водяные замки...

— Нет, — выдохнул Ленчик. — Нет. Не волнуйтесь, Ольга Михайловна. Я все проверил. В «твердой воде» все молекулы ориентированы в одном направлении. Вот смотрите, что я делаю. — Вдруг засуетился он вокруг пресса, вытаскивая откуда-то тяжелый соленоид и устанавливая его на матрице. — Каждая молекула воды имеет возможность застыть в шести вариантах. А я сильным магнитным полем заставляю их выстроиться... Вот соленоид. Тогда они словно упаковываются. Как кубики в коробке. И тут очень важно быстро, пока они не успели рассыпаться, изменить ориентацию, отобрать у них энергию движения. Зафиксировать... Смотрите.

Он из-под стеллажа вытащил ведро с водой... Лед? Да, сверху плавали льдинки. Зачерпнул талую воду ведерком поменьше, залил в матрицу под прессом, включил соленоид, затем что-то щелкнуло, соленоид отлетел в сторону, а сверху, на воду в толстой стальной матрице, ринулся пуансон...

Я глянул на Ольгу Михайловну: она замороженно, широко открытыми глазами смотрела на пресс, на воду в ведре, на Ленчика... У меня было такое чувство, что она все это видит сразу одновременно и даже воду за толстыми стенками матрицы.

— Вот, — сказал, смущенно улыбаясь, Ленчик. — Смотрите.

Из матрицы медленно выползал прозрачный, чуть-чуть зеле-

юватый блок — точно такой, как на тумбочке в «манеже». Ольга Михайловна бережно взяла блок в руки, недоверчиво, покачивая головой, повернула его узкой гранью, грань блеснула под лампой мимолетной радугой...

— Чудо, — пробормотала она. — Просто чудо... Как это у тебя получается?

Ленчик сиял. Впрочем, «сиял» совершенно не то слово; он просто излучал счастье, трудно было вообще понять, что же здесь большее чудо: только что извлеченный из-под пресса блок или сам его изобретатель...

— А вы попробуйте, — уговаривал он Ольгу Михайловну. — Это очень просто: сначала рукояткой нужно создать такое давление, чтобы отжать из воды газы, но быстро, не дольше двух-трех десятых секунды, а потом сразу до ста тысяч атмосфер.

— Нет, нет! — запротестовала Ольга Михайловна. — У меня это не получится. Вот, — кивнула она на меня, — Володю обучите.

И он меня обучил: самое главное, как я понял из его объяснений, нужно было точно представить, буквально зримо, до осязаемости, что вода в матрице остекленела. В тот момент представить, когда давишь на рукоятку. Но получилось лишь с третьей или четвертой попытки. И когда Ленчик заявил, что на этот раз получилось, я почувствовал себя таким разбитым, таким измочаленным от этих попыток угадать нужное давление на рычаге, что невольно опустил на ящик рядом с прессом — ноги не держали.

— Ну и работенка!..

И в этот момент в лаборатории появился Ваграм Васильевич. Радужный, величавый, как всегда, он буквально выхватил из рук Ольги Михайловны только что мною отпрессованный блок.

— Ай-яй, милая Ольга Михайловна! Такое открытие, такое изобретение... Нобелевская премия! А вы молчите... Ай-яй-яй!..

— Да это не мое открытие, — рассмеялась Ольга Михайловна. — Вот он это чудо сотворил, — указала она на вконец растерявшегося Ленчика.

— Да? — уставился в изумлении на техника, которого он, очевидно, видел впервые в жизни, величавый Ваграм Васильевич. — Но это же прекрасно! Это же гениально!

Вокруг пресса уже собралось немало людей: начальник лаборатории, инженеры, лаборанты...

— Так что, товарищи? — обвел собравшихся орлиным взглядом Мочьян. — Новое изобретение? Прекрасно, отлично, как я понимаю...

Мочьян обожал изобретения. В институте раз и навсегда был установлен единый порядок: все, что выходит из стен института, — проекты, статьи, интервью, а тем паче заявки в Комитет по делам изобретений, — все выходит только с визой директо-

ра. Исключение существовало лишь для Виноградовой. Однако Ольга Михайловна этим исключительным правом пользоваться не желала, и все ее статьи, так же как и ее сотрудников, попадали на стол к Ваграму Васильевичу. «Зачем вы меня обижаете? — возмущался Ваграм Васильевич. — Вы ведете совершенно самостоятельную работу, у меня хватает работы с другими товарищами, соавторов у меня хоть отбавляй, милая Ольга Михайловна...»

У пресса встал сам «автор проекта». Но этот раз он штамповал блоки молча, без объяснений, и только мелкие капли пота, покрывшие все его лицо, говорили о том, что и ему, не только мне, штамповка дается с огромным напряжением. «Словно выжатый лимон, — пришла вдруг в голову мысль. — Вот почему он выглядит таким измученным...»

— М-да... — сказал ошеломленный Ваграм Васильевич, когда у его ног поднялась стопка хрустальных блоков. — А может, тает? Не проверяли?

— Не тает, — ответил Ленчик.

— А что скажет эксперимент? Его величество эксперимент! — загремел Мочьян, обретший вдруг почву под ногами. — Термостат есть? Давай сюда, а программу я сам... Наука — это коллективное творчество, не так ли, товарищи?

Заложили три блока.

— Три, говорили славяне, — изрек Ваграм Васильевич, — это уже среднестатистическое множество. Так что давай три.

На каждом бруске укрепили термopapу, подключили термометры — лаборанты знали дело тугο, включили термостат на нагрев...

— Не закрывай дверцу, — приказал Мочьян. — Эксперимент должен быть наглядным. Надо всем смотреть.

Но смотреть было нечего. Когда температура в термостате поднялась за 100, над блоками появился легкий туман, который тотчас рассеялся, а сами блоки стали худеть. «Твердая вода» испарялась, не тая.

— М-да... — глубокомысленно протянул Ваграм Васильевич, — это дело надо обсудить. Серьезное дело, я понимаю, товарищи. — Обвел он всех тяжелым, «буравчатым» взглядом и ушел, поманив за собой начальника лаборатории.

Что означает «буравчатый» взгляд Мочьяна, мы знали: не медленно разойтись по рабочим местам — именно так он разгонял из «манежа» архитектурную публику. Но в данном случае «буравчатый» взгляд Ваграма Васильевича означал, как выяснилось вскоре, когда вернулся запыхавшийся начальник лаборатории, нечто другое.

— Одну минутку, товарищи, не расходитесь! — закричал он. — Ваша фамилия? А ваша? А ваша?..

Он переписал всех в блокнот и извиняющимся тоном, главным образом обращаясь к Ольге Михайловне, объяснил:

— Согласно приказу директора изобретение не подлежит огласке до оформления патента. Список ваших фамилий я передам для контроля... Вам понятно, что это значит?

— Ох, господи! — вздохнула Ольга Михайловна. — Ваграм Васильевич ищет соавтора...

Настроение у нее испортилось совершенно. Такой контраст по сравнению с тем, какой она пришла сюда полчаса назад... Да и Ленчик сидел на ящике пришибленный и смертельно уставший.

— Пойдемте, ребята, — сказала Ольга Михайловна, мягко дотронувшись до плеча сникшего Ленчика. — Покурим на воле.

Ленчик ожил, встряхнулся, заулыбался...

— Я вам, Ольга Михайловна, сейчас что-то покажу.

И показал.

За лабораторией был металлический гараж. Чей он был, одному богу известно, ибо давно уже, видимо, использовался в качестве склада для всякого хлама. Но, когда Ленчик открыл этот гараж, мы с Ольгой Михайловной ахнули одновременно — одним, так сказать, «ахом»: вот это да! Весь огромный гараж, до потолка, был набит блоками «твердой воды».

— Когда же ты все это сотворил, чудо мое? — опять широко открытыми глазами, забыв и о Мочьяне, и о неприятной переписи у прессы, воскликнула Ольга Михайловна. — Да ведь из этого чуда можно построить целую секцию! Ой, ой, чудо мое...

Но против секции вдруг восстал Ваграм Васильевич: пока материал не запатентован, его не должен никто ни видеть, ни трогать, ни, упаси бог, вынести из стен института. Точка. Никаких возражений. Очевидно, они — Ольга Михайловна и Мочьян — разговаривали «крупно». Очевидно, Ольга Михайловна пошла на крайние меры, иначе Мочьян так быстро бы никогда не развернулся. А тут буквально на второй день, после «двуединого», как иронически отозвалась Ольга Михайловна, заседания на площадке за лабораторией стройматериалов, рядом со старым гаражом, появились дюжие плотники и в два счета возвели тесовый забор с будкой и вахтером. Вахтера, разумеется, «возвел» сам Ваграм Васильевич, ограничив доступ на площадку только тем лицам, которые оказались невольными свидетелями штамповки «твердой воды» и попали в «контрольный список». Вот так и оказалось, что я в числе еще восьми лаборантов, техников и инженеров из лаборатории стройматериалов, которые были освобождены от своих прямых обязанностей, строил секцию-кристалл. Строил под руководством самой Ольги Михайловны.

Не все было гладко, немало времени мы помучились с клеем — как их, эти блоки, скреплять, в самом деле? — но в конце концов секцию все же построили. С виду это был причудливый домик-аквариум, как две капли похожий на стеклянные сооружения, которые появляются время от времени в парках и на

бульварах, зазывая своими прозрачными стенами выпить чашку кофе, отблагодарить за шашлык... С той лишь, правда, разницей, что наш домик-аквариум был все же непрозрачный. Хотя, с другой стороны, из него-то было видно все!

Однажды я Ольгу Михайловну застал в домике несколько смущенной. Она сидела посреди комнаты (если это причудливое, со скошенными гранями помещение можно только назвать комнатой), рядом с ней на полу сидел Ленчик... Впрочем, на него я в тот момент внимания не обратил — удивляла меня лишь Ольга Михайловна, и только позже, уже у себя в БНТИ, я сообщил, что... Что-то произошло. Трудно вот так сразу разобраться в ворохе вдруг поднявшихся мыслей, каких-то полузабытых эпизодов, разговоров, шепотков даже... Раза два я их встречал на улице, идут рядом, в руках Леонида, к моему удивлению, ее сумка... Поздоровался, а... прошли, словно и не слышали. И второй раз примерно то же. И поползли, поползли по коридорам института всякие слушки и разговорчики... Мерзко все это слышать. Хорошо ей в обществе Леонида, я же это вижу, ну и ладно. Должен же человек хоть где-то, хоть рядом с кем-то душой отдыхать. И вот там, в «хрустальном домике», как окрестили наше сооружение лаборанты-стройматериаловцы, они тоже часто бывали вместе — как всегда, молчали или Леонид что-то рассказывал вполголоса, только ей, а она... У нее всегда был такой вид, что дремлет. Такое отсутствующе-печальное выражение: глаза полуприкрыты, руки под мышками, легкая блуждающая улыбка, сидит, откинувшись на спинку стула или скамьи... Отдыхает, одним словом. А на этот раз... А может, мне все это примерещилось? Слухи, шепотки тут всякие по коридорам... И не хочешь, а начнет в голову лезть всякая мерзость.

— Володя? — удивленно подняла она голову, как будто я с Луны свалился. — А, Володя... Проходи, проходи... — Вытащила из кармана кофты сигареты и протянула мне. Себе тоже взяла, размяла, сунула в рот, передвинула в уголок и рассмеялась:

— Здесь, Володя, курить нельзя. Спрячьте сигарету.

— Почему? — оглянулся я.

— Испертите перспективу, — улыбнулась она, обводя вокруг себя рукой.

Теперь я огляделся повнимательней и наконец-то кое-что понял. Стены у домика не то что прозрачные, а... просвечивающие. Светло-голубые. Впрочем, цвет их определить с первого взгляда невозможно — меняющийся какой-то.

— Сейчас да, — сказала Ольга Михайловна, — день ясный, значит, светло-голубые, отражают небесный купол. — И все это она мне объяснила, думая, видимо, совсем о другом. С отсутствующим каким-то взглядом.

Я попробовал чуть переместиться... Как раз в той самой точке, где... А где же он, оглянулся я? Ленчик-Леонид исчез —

тихо, бесшумно, словно призрак. М-да... Но что меня сюда привело? А... Я еще чуть сдвинулся, и... стена, точнее грань, обращенная к небу, исчезла! Словно растворилась в воздухе. Это было так неожиданно, что я невольно рассмеялся. Сдавленный такой, на редкость глупый смешок.

— Что такое? — спросила Ольга Михайловна, догадалась и освободила свой стульчик. — Присядьте, Володя.

Я присел и... Почему я этого не замечал раньше? Ведь десятки раз бывал в этом отсеке кристалла, а вот ни разу... Все стены и потолок, тоже собранный из блоков «твердой воды», исчезли, и было такое ощущение, что стоишь где-то на плоскогорье, откуда во все стороны даль неоглядная. Вот, оказывается, что такое «открытый объем Виноградовой»...

— Угу, Володенька, — согласилась Ольга Михайловна. — В городах мы эти объемы создавать научились — площади, ансамбли зданий, а вот внутри дома...

Она все же закурила. И — странное дело! — неоглядные дали сразу же захмарились, а стены, до того, казалось, невидимые, проступили, но пока еще нечетко, словно вокруг тебя стал сгущаться легкий туман.

— Вот, Володя, я и пытаюсь уловить сию першпективу, — опять на старинный лад произнесла она свое любимое словечко. — Только очень сложно оказывается это — сохранить квартиру открытой. Вот минуту назад мы с вами были на свежем воздухе, в горах, Володя?.. А стоило задымить старой скворечнице — и все, пропала першпектива. А если комнату заставить мебелью? А шторы повесить? Удастся ли найти такие пропорции и такую толщину стен, чтобы, отдернув шторы, человек всегда оказывался под небесным куполом? Вот в чем штука...

Ольга Михайловна взяла карандаш и вновь склонилась над планшетом, присев на корточки. Я не сразу сообразил, что она рисует: обведет участок бумаги ломаной линией и начинает тушевать. Одни пятна светлые, другие чуть темней, третьи еще темней... И вдруг, отклонившись назад, я увидел, что пятна сливаются, образуя четкий рисунок... Дом? Еще один причудливый «улей», сrostок кристаллов-октаэдров...

А дальше все вдруг пошло кувырком. Началось с величавого Ваграма Васильевича, который решил форсировать патентование. Вызвал однажды к себе в кабинет Леонида... Леонида Григорьевича, как Ваграм Васильевич выражался без тени улыбки; там был, как потом я выяснил, эксперт по делам изобретений, который, видимо, и подготовил все бумаги, а эти бумаги Ваграм Васильевич без лишних слов положил перед смущенным Ленчиком.

— Читай, подписывай, — радушно пригласил Мочьян. — Вот у товарища, — указал он на эксперта. — Такие открытия делаются раз в столетия, так я говорю?

Ленчик послушно прочел все бумаги, Ваграм Васильевич по-

дал ему для подписи свою авторучку, Ленчик нашел первую графу для подписи и, к немалому изумлению Мочьяна, вычеркнул свою фамилию. Впрочем, Ваграм Васильевич, видимо, подумал, что он вычеркнул как раз не свою фамилию...

— Как так? — уставился он на Ленчика. — Ты в присутствии товарища из управления отрицаешь мое участие в разработке методики, в экспериментах, в технологии даже? Да как это прикажете понимать? — В горестном недоумении уставился он теперь уже на «товарища из управления».

— Я вычеркнул не вас, Ваграм Васильевич, а себя, — сказал Ленчик, повергнув Ваграма Васильевича в еще большее недоумение. Бедный Ваграм Васильевич! Ему предстояло пережить еще один удар... — Это идея Ольги Михайловны, — заявил Ленчик. — Я лишь... я исполнял лишь.

— Ва! — воскликнул потрясенный Мочьян. — Этого еще не хватало... И здесь мадам Виноградова! Но это невозможно! Чушь, молодой человек. Чушь!

Конечно, чушь. Одно дело, когда твоим соавтором оказывается молодой, никому не известный техник-лаборант — исполнитель и только, и совсем другое, когда известный на всю страну архитектор, автор самостоятельных изобретений, без всяких соавторов... Чушь, конечно, кому это не ясно? Но переубедить техника Ваграму Васильевичу так и не удалось.

И настали для нас черные дни. Для нас, конечно, сказано слишком — для Ольги Михайловны да для Ленчика. Вахтера из будки изъяли, дверь в будку опечатали, а дабы не нашлось любителей-фотографов, пожелавших запечатлеть «хрустальный дом» с крыши лаборатории стройматериалов или с забора, по приказу директора «впредь до завершения патентования нового стройматериала» «хрустальный дом» затянули старым брезентом, пропитанным маслом, бензином и еще черт те чем. Этим брезентом, как утверждали лаборанты-стройматериаловцы, монтажники в свое время закрывали пресс-гигант, когда над ним была разобрана крыша.

А потом вдруг... Вспоминать даже неприятно. А потом вдруг однажды в институт заявился долговязый Олежечка. Вообще-то в институте он бывал и раньше — по семейным, так сказать, делам... Впрочем, как очень скоро выяснилось, и на этот раз он пришел по сугубо «семейным делам».

— Старик! — радостно приветствовал он меня от порога. — Сколько лет, сколько зим!

Эдакий очаровательный дылда с несокрушимым оптимизмом! И такая роскошная улыбка!.. Все мои дамы моментально «потеряли глаза».

— Слушай, старик, — похлопывая меня по плечу и просто сияя от счастья, что разыскал наконец закадычного друга, заговорил, как ему казалось, шепотом, конфиденциально, Олежечка на всю комнату, — тут у вас работает один чудик, «твердую

воду», говорят, изобрел. Познакомь меня с ним — маман мне все уши о нем прожужжала... А? Будь другом.

Познакомил. Он бы и сам познакомился — без моего посредничества. Так уж лучше со мной, решил я, все же чувствуя что-то недоброе.

Ленчика мы нашли у пресса. Готовил к разрушению железобетонную плиту. Вяло как-то возился у пресса, словно старик. Грустное зрелище.

— Вот этот шибздик? — удивился Олежечка. Пригляделся повнимательней и уверенно заявил: — Он. Знакомь, старик.

Он сам представился:

— Олег Виноградов — И, широко, от души улыбаясь, уточнил: — Сын божьей милостью профессора Виноградовой.

Но Леонид, видимо, догадался об этом еще раньше. Стушевался, опять не знает, куда девать руки...

— Слушай, старик, — доверительно наклонился к нему Олежечка. — Ты ж не свихнулся, а? Ну, маман, я понимаю, осень и все такое... Но ведь тебе-то двадцать, двадцать три от силы? Ну, нелепо, старик, а? Смеются ведь. Доктор архитектуры, без пяти минут академик и... Да ладно, не в должностях дело. Просто по-человечески пойми: ты и я. Хе! Папаша... Ну? Внятно объясняю ситуацию? Нелепо ведь. Иду я по проспекту, кадрию, так сказать, под ручкой кое-что... Прыскает в ладошку, старик. «С кем это твоя мамочка? Он и есть? Хи-хикс...» Это она про тебя, старик. Внятно? Нелепо, неуж сам не понимаешь? Да и муж... Отец, стало быть, мой есть ведь, никуда не делся. Ну, повздорили, ну, развелись... Все бывает в нашей жизни. Я, может, сам уже того... Папаша. Внятно? Так ведь он, мой папаша, у нас бывает в доме регулярно. Представь кино: ты, понимаешь, с маман... ну, естественно, жизнь есть жизнь, куда денешься? А тут вваливается папаша... С букетом, с шоколадом. Регулярно, между прочим. Внятно? Он, может, еще не все потерял, надеется, а? Ну, старик, очнись!..

— Да, да, — и в самом деле очнулся Леонид. — Вы правы, нелепо все это. Вы правы. Спасибо за совет. Я... я все знаю. Извините.

— Ну и вот! — обрадовался Олежечка. — Я же знал — затемнение, с кем не бывает? Жизнь есть жизнь. Извини, что не так, а, старик?

Он в знак доброго расположения к нам похлопал по плечу сначала Леонида, потом меня... Леонид под его могучей дланью сжался, такой маленький, такой тщедушный... Смотрит куда-то мимо, в пол.

— Будем друзьями! — крикнул уже от двери Олежечка... Хм, Олежечка... А ведь она его только так и зовет, и без всякой иронии к тому же. Вот дела!

О том, что Леонид исчез — не является в институт, я узнал от Ольги Михайловны. Пришла однажды в БНТИ рассерженная,

даже не поздоровалась, полистала для виду какой-то бюллетень, а потом говорит:

— Проводите меня, пожалуйста.

В институте разговаривать со мной не стала — вышли на проспект. Долго молчала, а потом вдруг выпалила:

— Кто вам дал право вмешиваться в мою личную жизнь?

С огромным трудом мне удалось убедить ее, что моя роль в этом «вмешивании» балалаечная — присутствовал при сем, и только.

— Вы лжете, Володя. Он не мог вести себя так подло, — отрезала она на прощание. «Он» — ее Олежечка. — Он не мог так поступить. Я не верю вам. Не верю.

Но потом, кажется, поверила...

А потом и вообще из института ушла. Вскоре после того знаменитого пожара, за который наш величавый Ваграм Васильевич был оштрафован, как утверждает молва, на круглую сумму. Хотя, как следует из акта пожарников, вся вина Ваграма Васильевича состояла в том, что своим двухметровым забором, которым был отгорожен от мира сего «хрустальный дом», он преградил «пожарным машинам дорогу к очагу воспламенения». А очаг воспламенения, как утверждает все тот же «пожарный акт», находился в старом гараже, куда годами сваливался всякий хлам, обтирочные концы, банки с растворителями и все такое, и который Леонид, видимо, очищая гараж от блоков «твердой воды», столкнул в угол, в большую кучу. Ну а когда все это вспыхнуло, включая и масляный брезент на «хрустальном домике»... Горело недолго. А от домика-кристалла остался один железный каркас. Так он и торчит за лабораторией стройматериалов — отсюда, с лестничной площадки между первым и вторым этажами, где мы застряли с Ольгой Михайловной, виден лишь его угол.

— Значит, вы, Володя, не пробовали?

— Нет. Да и кто меня пустит к прессу?

Ольга Михайловна глубоко вздохнула, выбросила сигарету и сказала:

— Жаль. А я вот...

И оборвала себя.

— Да я тоже, — догадался я, что она хотела сказать. — Иду по улице, подниму голову... кирпич, камень, теснота. Пешерные мы люди, правда, Ольга Михайловна? Все норовят забиться, зарыться в свою норку-квартирку. Мы строим дома так, чтобы они смотрели на нас, ползающих по земле. — Меня вдруг прорвало: — Знаете, Ольга Михайловна, это все оттого, что мы привязаны к земле. Иного нам пока ничего и не нужно — мы живем в одной плоскости. Но когда-нибудь люди все равно станут жить в объемном пространстве. Не знаю, как уж это получится — научатся ли летать с помощью моторчиков каких-то или крыльев, а может, вообще преодолеют гравитацию... И вот

тогда все изменится: сам облик домов, городов... понимаете? Дома повернутся фасадами к небу, раскроются... да?

Ольга Михайловна посмотрела на меня с интересом:

— Раскроются?

— Да. Разве вы не это подразумевали, когда ввели термин «открытые объемы»? Придет время, когда мы неизбежно должны будем отказаться от кирпичных и железобетонных коробок. Но что придет им на смену? Дома-чаши, дома-цветки, дома-кристаллы... И все они будут обращены к небу, к солнцу! Вот тогда и потребуется совершенно новый материал — разве из кирпича сделаешь дом-цветок? А когда все это поймут... Научатся делать хрустальные блоки. Неизбежно.

Ольга Михайловна задумчиво покачивала головой:

— Да... Он так мне и говорил: «Человек пока еще очень слаб, ему нужна скорлупа...» — неожиданно, словно осененная догадкой, она схватила меня за рукав: — Раз вам снятся дома-цветки... Нечего вам пережевывать чужие мысли! Идем, идем, Володя. Раз знаете, что нужно делать, — делайте! Рисуйте, придумайте... — Она тащила меня по коридору словно нашкодившего мальчишку — за рукав. — Раз вам снятся дома-цветки, рисуйте! Тоже мне фантазер для себя... Я заставлю вас работать, заставлю...

И вдруг остановилась, запыхавшись, круто повернулась ко мне и сказала, глядя в глаза:

— А ведь я чувствовала, что в вас тоже есть что-то... от него.

ГОЛОС МАТЕРИ

Прилетев на Луну, она все рассматривала, восторженно восклицала:

— Никогда не думала, что здесь так хорошо!

Он водил ее бесконечными туннелями Селенополиса, показывал высотные сооружения, которые подпирали черное, усеянное звездами небо.

— А ходить здесь как легко, сыночек!..

Голос у матери был звонкий, еще совсем молодой — может, потому, что она певучая? Сколько помнит ее — любила петь. На праздники, встречая гостей, пела весело, увлеченно, а в будни, за домашней работой, — приглушенно и немного грустно. Даже разговаривая, как будто выговаривала слова — пела их. И сейчас в ее голосе было что-то такое... может, необычное или, может... Может, это ее так взволновал полет на Луну? Он вслушивается в этот до боли родной голос и никак не может понять, что же это так звенит в нем.

— А у нас цветут сады. Если б только заморозки не ударили... Урожай будет! Приедешь в отпуск этим летом?

Хотел сказать ей об экспедиции, слова едва не слетели с уст, но... Зачем тревожить мать? Тревожить... Ага, вот оно что — в ее голосе слышится тревога! Слова веселые, а голос тревожный. Неужели догадалась, что это прощание?

— Хоть тут и легко ходить, — сказал он матери, — но расстояния не маленькие. Селенополис занимает более ста квадратных километров. Давай, мама, немного подъедем.

Дорожка, разрисованная полосами зеленого пластика, понесла их гулками туннелями, высокими пещерами, стены которых искрились в свете кварцевых ламп. На поверхность их вынес эскалатор. Мать молча смотрела на богатырский шатер, который цветком ландыша накрывал кратер диаметром не менее километра.

— Площадь Содружества Наций, — пояснял он матери. — После работы сюда сходятся люди разных народов Земли. Все,

кто работает в Селенополисе. А вот к озеру пошла группа туристов. Поплавать на Луне — экзотика!

— Э, в Днепре, наверное, лучше. Вот как будет у тебя отпуск...

Когда осматривали панораму астродрома, где в черную глубину космоса нацелились два корабля высотой с Останкинскую телевизионную башню, мать снова вздохнула.

— Что это?

— Корабли дальнего действия, мама. Готовится экспедиция к соседней планетной системе.

Прищуренными глазами смотрела она на ракеты, а там возились, сновали монтажники, совсем маленькие на таком далеком расстоянии. Тихо сказала:

— И чего лететь кто его знает куда? Зачем лезть в пекло?

— Это надежные корабли, мама!

— А разве не лучше было бы сначала полностью обжить Луну, потом все планеты солнечной системы, а тогда уже...

Теперь вздохнул он.

— Возможно, но...

— Но что?

— А разве я знаю?..

Ох, как ему хотелось рассказать об этом взлелеянном в мечтах полете, о том, как он волновался, проходя отборочную комиссию! Но сдержался. Это же последняя встреча перед стартом, последняя — зачем же ее омрачать? Мать — это же мать, сейчас начнет все свои жалости...

А ему так приятно, радостно слушать ее. Пусть говорит что угодно, лишь бы только слышать, воспринимать, вливать в душу этот родной, единственный среди миллиардов голос.

— Ты думаешь, почему человек приживается на Луне? — философствовала мать. — Потому что находится в сфере притяжения родной Земли, родного Солнца. Это же простор, отведенный нам природой! И покинуть свое Солнце... Кто знает, что может случиться...

Он слушает и слушает, будто пьет родниковую воду где-то на Земле, в тени деревьев. А мать показывает глазами на огромный голубой шар и, понизив голос, ведет речь:

— Глянь, сынок, это же чудо... Плывет в просторе Земля, сама собою, вот видишь, снежная шапка на полюсе, а как отблескивает океан. Колыбель жизни! И как же это так — взять и покинуть эту сказочную красу?..

У него будто открылись глаза, он глянул на родную планету и увидел, какая она прекрасная — настоящее чудо природы!

Неведомое до сих пор чувство охватило его — защемило сердце.

— Так когда же у тебя отпуск?

— Не знаю, мама... Потому и запросил, что не знаю... Неизвестно, когда увидимся...

А сам хорошо понимал, что отпуска уже не будет. И мать видит в последний раз. Холодок далекого — ой, какого далекого! — путешествия уже заполнял ему грудь.

— Постарайся хоть на осень, — просительно говорит она. — Как раз яблоки, груши... Да и арбузы...

— Думаешь, мне не хочется походить босиком по росе?

— Вот и походишь. Погостишь у родственников, товарищей.

Нет, мать и не допускает, что сын устремится в космос и навеки потеряет всех своих близких.

— А пруд наш углубили, сколько там рыбы! Ты же любишь рыбал...

— Дежурного оператора на вахту! — прогремело из динамика.

Коснулся кнопки, экранчик погас, материнский голос смолк.

— Иду.

Он частенько прокручивает эту запись и как будто снова ходит с матерью по Луне, видит родную планету. Ибо они все-таки покинули свое Солнце, даже в телескопе оно виднеется отсюда звездочкой 12-й величины. А Земли уже давно не видно.

Почему они полетели? Потому, что молоды. И человечество молодо.

Перевод с украинского А. Роскопыта

СВЕТАЯ ПАУТИНА

«Бутылкой Клейна» математики называют одностороннюю замкнутую поверхность, модель которой можно получить, если в обыкновенной бутылке проделать отверстие и заклеить его края горлышком бутылки, но не снаружи, а изнутри, проткнув бутылку ее собственным горлышком.

«Бутылка Клейна» является героиней очень странных происшествий, свидетелем которых я стал в восьмилетнем возрасте. Подчинившись мнению отца, я много лет видел в них плоды своей детской фантазии. Однако, познакомившись недавно с крайне любопытным предположением о возможности существования нейтронных молекул, я вновь проникся доверием к моим давним воспоминаниям. Излагая их, я должен буду коснуться неожиданного романтического вторжения одной немолодой девицы — Киры Евдокимовны Дроздовой — в причудливую жизнь старинного друга нашей семьи, ныне покойного Валентина Марсовича Троицына. История эта расстроила намечавшийся брачный союз между Кирой Евдокимовной и Валентином Марсовичем. Произошла она в О-ве — маленьком городке, состоящем в основном из одноэтажных домов с палисадниками.

1

Прожив холостяком далеко за полвека, Валентин Марсович, по-моему, никогда и не помышлял о победах на поле женской добродетели. Я думаю, что он был немало озадачен, когда однажды узнал, что его пылко любят. Случилось это в марте 193... года.

В то время Валентин Марсович работал в О-вском райторге. Учреждение это располагалось тогда в правом крыле деревянного зеленого дома на Подлесной улице. Оно занимало две комнаты в конце коридора. Меньшая из них была треугольной формы. В ней помещался стол Валентина Марсовича, для других же столов там не доставало места. В соседней комнате

трудились остальные, служившие в райторге. Среди них была и Кира Евдокимовна Дроздова.

Насколько мне известно, первую страницу ее кратковременного, но беспокойного романа с Валентином Марсовичем открыли мыши. Впоследствии она говорила, что мышей было четверо. Они умудрились забраться к ней в письменный стол. Открыв ящик стола, она увидела в нем маленькие, неистово мечущиеся серые комочки.

Мышей Кира Евдокимовна всегда отчаянно боялась. Понятно поэтому, что, когда одна из них вдруг прыгнула ей на грудь, она совершенно потерялась. В каком-то трансе вбежала она в соседнюю комнату, обняла Валентина Марсовича и почти лишила чувств в его объятиях.

Отложив в сторону трубку с дымящейся махоркой, Валентин Марсович свободной рукой достал платок и протер очки, а затем стал обмахивать этим платком трепещущую Киру Евдокимовну, которая вскоре совершенно опаматовалась. Широко открыв свои круглые кукольные глаза, она принялась бесконечно извиняться, причем ее птичье, довольно хорошо сохранившееся лицо алело как маков цвет.

Успокаивая Киру Евдокимовну, Валентин Марсович сказал, что очень многие не выносят мышей или других тварей, а сам он, например, терпеть не может крыс. Для их истребления он даже поставил у себя на чердаке капкан. Или вот его коза. Она страшно боится гусениц походного шелкопряда и при виде их всегда как-то странно блеет, хотя они довольно красивы.

Замечание о козе Кира Евдокимовна почему-то приняла на свой счет и совершенно несправедливо обвинила Валентина Марсовича в язвительности. Однако она тут же прибавила, что мрощает его и, даже, чтобы доказать, что она «все-таки чем-то отличается от козы», с удовольствием придет сегодня к Валентину Марсовичу в гости «посмотреть на этих красивеньких гусениц».

В ответ Валентин Марсович очень галантно поклонился и сказал:

— Милости прошу.

Вечером того же дня Кира Евдокимовна побывала в гостях у Валентина Марсовича, а через неделю переселилась к нему вместе со своими двумя неразлично похожими котами и доставшимся ей по наследству черно-белым аккордеоном.

Хотя Кира Евдокимовна и назвала гусениц походного шелкопряда «красивенькими», в глубине души она чувствовала к ним отвращение. А дом Валентина Марсовича ими так и кишел. Картонные коробки с гусеницами стояли во всех трех комнатах этого дома и даже в кухне.

Первым благоустройством Киры Евдокимовны было выставление гусениц из кухни. Затем она выдворила их из той комнаты, в которой находилось большое, величиной с бочку,

сооружение из луженой жести в форме «бутылки Клейна». «Бутылка Клейна» вместе с оплетающими ее проводами и двумя автомобильными аккумуляторами была вынесена в соседнюю комнату, причем довольно неосторожно, и несколько при переноске повредилась. Расстроенный этим Валентин Марсович так помрачнел, что Кира Евдокимовна даже немного поругала его в тот день за урюмость.

Неделю спустя, в субботу, Валентин Марсович явился к нам в гости. Он пришел один. Кира Евдокимовна в тот вечер пела в хоре в Доме народного творчества.

Кряхтя и бурча, Валентин Марсович долго снимал в передней калоши и пальто. Затем вместе с моим отцом он прошел в комнату, остановился, сгорбившись, у печки и тут же закурил,

Он всегда так делал. Курение махорки было величайшей услугой для Валентина Марсовича. Он курил махорку со своего собственного огорода. Он набивал ею вишневую изжеванную трубку, дедовским «кресалом» высекал огонь из затупившегося кремня и, посасывая трубку, добивался после долгих усилий такого удушливо неприятного дыма, что во время его визитов наша квартира пропитывалась дымом на несколько дней.

Но надо было терпеть это. Валентин Марсович мог отказаться от каких угодно благ, только не от махорки. Он любил ее ради вкуса и аромата. Она обжигала ему губы, и он, потягивая трубку, постоянно сплевывал так сердито, как будто у него во рту была величайшая мерзость. Любил он махорку, как свое детство, как дым, сквозь который он видел прожитые дни.

Одним из самых ранних его воспоминаний была елка в доме знаменитой артистки Д-вой, знакомой с его родителями. Когда-то давным-давно они, взяв его с собой, съездили к ней погостить. Валентин Марсович любил рассказывать об этой елке. Любил он также воскрешать в своих речах дни, когда он учился в университете. С удовольствием вспоминал он о студенческих проказах и однажды спел нам не очень благопристойную студенческую песню. Валентин Марсович, однако, не кончил университета, поскольку по своеволию характера был в молодости очень непоседливым. Он переменил множество профессий, странствуя по свету, и теперь немало картин являлось ему сквозь дым его трубки. Были среди них и горестные.

Туман, морось. Над размяклой могилой стоят мой отец, тетя Зоя, сестра Валентина Марсовича и дочь ее — студентка, приехавшие из Киева, моя племянница и я сам, а напротив — Валентин Марсович с широко раскрытыми красноватыми веками. В могиле, в гробу покоится тело его матери — Анны Васильевны Троицкой.

Картина эта запечатлелась и в моей памяти.

Анну Васильевну я до сих пор хорошо помню, хотя, когда она умерла, мне было всего шесть лет. Сморщенная, согбенная,

в огромном платке. Она вечно укоряла Валентина Марсовича за невнимание к хозяйству. Умерла она внезапно; ночью во время сна. После ее смерти Валентин Марсович долго повторял, что, хотя умом он и понимает, что матери уже нет, но, как ни старается, не может поверить в это сердцем. Чтобы рассеяться, он стал усердно заниматься изобретательством, к чему всегда был склонен.

Его изобретения большей частью имели уклон к сельскому хозяйству. Например, однажды он написал несколько писем к довольно значительным лицам о том, что, по его мнению, выгодно насаждать леса из конского каштана и перерабатывать каштаны на крахмал. Другой раз, не знаю, в шутку или всерьез, он уведомил двух ответственных хозяйственников, что можно бороться с сусликами с помощью радио. «Суслики животные нежные, — писал им Валентин Марсович. — Суслики боятся шума. Если поместить на ста гектарах сельскохозяйственных угодий по одной радиоточке, то суслики этого не вынесут. Они погибнут от нервного истощения». (Замечу, что шума совершенно не выносил прежде всего сам Валентин Марсович.)

Наиболее остроумным изобретением Валентина Марсовича был, пожалуй, оригинальный способ изготовления шелковых тканей, любопытный тем, что он основывался на плетении шелка самими шелкопрядами.

Замыслу Валентина Марсовича как нельзя лучше соответствовал походный сосновый шелкопряд. Гусеницы этого шелкопряда передвигаются большими группами гуськом. При этом они протягивают ленту из шелковых нитей. Передняя гусеница выпускает нить и прикрепляет ее к грунту. Вторая гусеница идет по этой нити и удваивает ее своей собственной нитью. Третья — утраивает и т. д. Когда ряд проходит, за ним остается узкая шелковая лента, служащая гусеницам в их путешествиях нитью Ариадны. Благодаря ей они редко расползаются, двигаясь почти всегда строго однорядно.

Учтя приверженность этих гусениц сомкнутому строю, Валентин Марсович решил заставить их наматывать свои ленты на такую поверхность, которую они могли бы одеть в чехол из шелковой ткани. В качестве подходящей поверхности он выбрал «бутылку Клейна» с дырочками возле линии ее самопересечения и со многими щелями. Именно односторонность «бутылки Клейна» создавала возможность сплетения выпускаемых гусеницами нитей в сетчатую связь.

Из тонкой жести Валентин Марсович изготовил разъемное подобие «бутылки Клейна» и электрическими проводами на сургучной подложке оградил на нем запутанные ходы для гусениц. (Провода служили для того, чтобы легкими ударами электричества пресекать попытки гусениц ползти не туда, куда нужно.) К сожалению, хотя после двухдневного ползания по «бутылке Клейна» гусеницы действительно изготавливали шелковую

ткань, но она получалась неоднородной: местами плотной, а местами ажурной.

Стараясь улучшить ткань, Валентин Марсович то так, то эдак перекалывал на своей жестяной «бутылке Клейна» дорожки для гусениц, но без ощутимого успеха. Теперь же, когда Кира Евдокимовна погнула «бутылку Клейна», проноса ее сквозь дверь, ткань стала получаться безобразной, и Валентин Марсович приуныл. В тот субботний вечер он выглядел усталым. Он печально молчал, пока не выкурил три трубки, а потом огорошил меня, отца и тетю Зою неожиданным заявлением:

— Так что бросаю я теперь курить.

Все, что угодно, ожидали мы услышать от него, только не это. В нашем представлении он был неотделим от махорки.

— Вы шутите, Валентин Марсович! — воскликнул мой отец.

— Нисколько. Кира Евдокимовна говорит, что, если я не брошу курить, она заболит. У нее слабые легкие.

— Скажите откровенно, Валентин Марсович, вы довольны своим новым положением или нет? — улыбаясь, спросила тетя Зоя.

— Да как сказать. Мда... Вдобавок ко всему коты мне третью ночь спать не дают. У меня ведь крыша очень тонкая, — ответил Валентин Марсович и, прихлебывая чай, рассказал нам, что, когда в первый раз, спросонок, услышал отчаянные вопли любовного мяуканья котов, он почему-то вообразил, что на его крыльце лежит «тайный плод любви несчастной». Полуодетый, он выскочил во двор и, светя себе фонарем, принялся искать младенца. Однако возобновившиеся стенания на крыше вывели его из заблуждения.

— Я так и не заснул в ту ночь, — говорил Валентин Марсович, — какие-то чересчур уж голосистые у Киры Евдокимовны коты.

— Но, может быть, вашему сну мешали не одни лишь коты, — лукаво осведомилась тетя Зоя.

— О нет, что вы... — начал было Валентин Марсович, но вдруг умолк, напряженно прислушиваясь. На его лице изобразилось страдание. Наши соседи завели патефон, и сквозь открытое окно в комнату вкрались популярные в то время звуки: «О любви не говори, о ней все сказано».

— Валентин Марсович, почему вы сморщились? Вам не нравится эта песня? — спросила тетя Зоя, слегка удивившись.

— Нет, почему же? Просто я ее слишком часто слышу, — сказал Валентин Марсович со вздохом и стал откланиваться, по своему обычаю тылом толкая при этом дверь. Отворив таким образом дверь, он, пятась, вышел в коридор, побряхтел там немного, надевая калоши, и ушел.

Среди множества оригинальных афоризмов, порожденных остроумной наблюдательностью Валентина Марсовича, имеется следующий: «На свете нет ничего неправдоподобнее истины».

В справедливости этого суждения я убеждался много раз, когда мне казалось невероятным нечто, противоречащее моим ошибочным представлениям. Но никогда, ни до, ни после, не случилось мне наблюдать ничего неправдоподобнее тех эфемерных, летучих картин, увиденных мною в день, когда Кира Евдокимовна и Валентин Марсович друг с другом рассорились.

В тот день, возвращаясь домой после школы, я, по своему обыкновению, заглянул к Валентину Марсовичу в сад и застал его за сооружением навеса над глиняной ямой, вырытой между сиреневых кустов.

Эта яма была начатком нового погреба, к постройке которого Валентин Марсович приступил еще в том году, когда провалился старый погреб. Он, однако, все не удосуживался его доделать, но, чтобы было где хранить съестные припасы, вырыл в глиняной яме глубокую нору. Когда я увидел ее в прозоре между зеленеющими сиреневыми кустами, она показалась мне ужасно таинственной.

— Здравствуйте, Валентин Марсович! Можно к вам? — крикнул я, подходя к глиняной яме, и услышал в ответ:

— Проходи, сделай милость.

Я прошел под навес и сел на бревно подле Валентина Марсовича. Мне показалось, что он чем-то озабочен. Минуты две он молча заострял жердь, потом вогнал ее в землю и раздумчиво сказал:

— Это хорошо, что ты пришел. С твоей помощью, пожалуй, удастся кое-что устроить.

— А чего вам нужно, Валентин Марсович? — спросил я, поплевав на найденный на земле кусок стекла и разводя по нему пальцем замысловатые арабески.

— Мне нужно по секрету от Киры Евдокимовны убрать куда-нибудь убитого кота, — отвечал Валентин Марсович, приглушив голос.

— А где убитый кот? — спросил я шепотом.

— На чердаке под фанерой. У меня там стоит капкан для крыс. Уже два месяца стоит, и ни одна крыса в него не попала. А сегодня утром полез я на чердак, смотрю, а в капкане задушенный кот Киры Евдокимовны. Я его вытащил из капкана и хотел потихоньку унести, а тут Кира Евдокимовна вздумала ставить на чердаке какие-то банки. Еле успел я засунуть кота под фанеру. Она его каждую минуту там может найти. Впрочем, как ты слышишь, сейчас Кира Евдокимовна вниз.

Я прислушался. В доме аккордеон наигрывал «О любви не говори, о ней все сказано».

— Знаешь что, — продолжал Валентин Марсович, сощурившись, — ты покрутись здесь. Если мы с Кирой Евдокимовной выйдем в сад, ты унеси тихонько куда-нибудь кота.

— Я его на свалку возле рынка!

— Хорошо. Но только об этом ни гугу, — предупредил Ва-

лентин Марсович и, одернув свою старинную, непонятного цвета телогрейку, направился к дому.

Дом этот заслуживает описания. Он внешне не отличался от других домов на Подлесной улице, но внутри был весьма замечательным. Стены в нем были до того закопчены и запылены, что имелаась возможность с помощью указательного пальца запечатлевать на них различные надписи. Этой возможностью Валентин Марсович не пренебрегал. Его рукой там, между прочим, было написано: «Если падаешь с моста, лети до конца» и «Истина — это не то, что истина, а то, что похоже на истину».

Последним изречением Валентин Марсович пользовался как оружием против лгунов, но над своей кроватью он начертал афоризм противоположного смысла: «На свете нет ничего неправдоподобнее истины».

Кроме надписей, на стенах помещались два рисунка. Один из них изображал существо, в равной степени похожее на ласточку, дельфина и свинью. На другом была изображена большая группа лошадей, скачущих верхом на рыцарях. Между рисунками и афоризмами располагались какие-то формулы.

В комнате, очищенной Кирой Евдокимовной от шелкопрядов, вогнувшийся потолок был подперт ясеневым бревном. В кухне стоял тазик, принимавший влагу, сочившуюся в ненастную погоду с потолка. В маленьких сенях находилась немислимо кривая переносная лестница, приставленная к лазу на чердак.

К этой лестнице я всегда был равнодушен. Она прельщала меня своей гибкой шаткостью, и, бывая в гостях у Валентина Марсовича, я почти никогда не отказывал себе в удовольствии повисеть и покачаться на ней. И сейчас я тоже не обошел лестницу своим вниманием.

Проводив Валентина Марсовича в кухню, где он занялся приготовлением на керосинке какого-то блюда из окуней, я вернулся в сени и взобрался на лестницу. Выдрыгивая ногой ритм все еще звучавшей музыки, я стал шатать лестницу. Вскоре, однако, музыка смолкла, и Кира Евдокимовна очень проворно прошмыгнула на кухню, так, что я даже не успел ее поприветствовать. Она оставила дверь кухни открытой, и весь разговор, который там происходил, был мне слышен:

— Так же совершенно невозможно, Валентин, — рокотала Кира Евдокимовна. — Живем как на постоялом дворе! Надо хоть стены побелить, а свободные комнаты сдать жильцам. Будем получать лишнюю копейку. Не понимаю, почему ты против. Ты, во-первых, должен приобрести приличную одежду. Посмотри, на кого ты похож! Ты уже обносился до безобразия. Не надейся, что я тебе позволю ходить по улицам в костюме Евы! Да и вообще, лишняя копейка нам не помешает.

— Я не против лишней копейки, но пойми, что мне надо привыкнуть к мысли о переменах. Давай вернемся к этому разговору через неделю.

— То есть как это через неделю? — возмутилась Кира Евдокимовна. — Ты уже в третий раз откладываешь этот вопрос. Если тебе хочется жить на постоянном дворе, так живи, но только перестань мне морочить голову. И скажи прямо, что я тебе надоела и ты хочешь от меня избавиться! Не понимаю, зачем ты со мной связался?! Ты же прекрасно знал, что за мной ухаживает Роман Васильевич. Он до сих пор еще на что-то надеется. Тебе это, по-моему, безразлично, но я уже начинаю жалеть, что его от себя отталкивала!

— Ох, зачем ты, Кирочка, используешь такие аргументы. Слишком сильными аргументами вообще никогда не стоит пользоваться, — вымолвил Валентин Марсович со вздохом.

Эти слова Валентина Марсовича, видимо, смешали мысли Кире Евдокимовны. С минуту помолчав, она повела далее речь уже в примирительном тоне.

— Ну хорошо, — мягко сказала она, — может быть, я действительно была чуть-чуть не права, но как ты хочешь, а надо хотя бы убраться в той комнате, где сейчас эта, как ее...

— «Бутылка Клейна»?

— Вот именно. И пожалуйста, не приходи в отчаяние. Мы ее очень осторожно, потихоньку, вынесем в коридор, и ничего с ней не сделается, а коробки с гусеницами сложим в сарай. Как ты на это смотришь?

Валентин Марсович безмолвствовал.

— Ну что же ты молчишь? Давай, я говорю, вынесем эту самую, как ее...

— Сейчас?

— Ну а когда же?

— Тогда обожди. Я должен руки помыть, — пробурчал Валентин Марсович довольно сердито, после чего послышался плеск воды...

Во время всего этого разговора я все пытался отбросить дубовую крышку, закрывающую лаз на чердак. Однако она была тяжела, и мне долго не удавалось ее поднять. Наконец уже после того, как Кира Евдокимовна и Валентин Марсович вынесли в коридор «бутылку Клейна», мне удалось отбросить крышку. При этом, однако, я неудачно повернулся и ударился локтем о выступ дверного косяка, зацепив стоявшие на нем склянки с семенами.

— Смотри ты там банки не разбей! — предостерегла меня Кира Евдокимовна, выглядывая в сени, и затем обратилась к Валентину Марсовичу с вопросом: — Где у тебя, Валентин, тряпки, чтобы пыль вытирать?

Валентин Марсович задумался. Я же вспомнил, что растущие в саду розовые кусты с начала зимы по сию пору оставались укутанными мешками, и возгласил об этом со своего возвышения. Мое напоминание выручило Валентина Марсовича.

— Верно! Надо раскрыть розы! — воскликнул он и добавил,

обращаясь к Кире Евдокимовне: — Кирочка, помоги мне, пожалуйста, размотать розовые кусты.

...Уходя, Валентин Марсович обернул голову и указал мне глазами на чердак.

Когда Валентин Марсович и Кира Евдокимовна ушли, я тотчас забрался на чердак. Там под фанерными листами я нашел задушенного кота Кире Евдокимовны. Дуга капкана с такой силой ударила его, что рассекла кожу. Вся шея кота была в крови.

Я взял кота за лапы, спустился с ним по лестнице и вышел из дома. Убедившись, что Кира Евдокимовна и Валентин Марсович меня не видят, находясь в глубине сада, я помчался по улице с котом под мышкой. Не пробежав и полквартила, я учуял нечто в воздухе и свернул в ближайший двор. Там я увидел большую бочку на телеге, в которую была впряжена лошаденка, состоящая, как мне показалось, из одних лишь ребер под лысой шкурой.

Когда мимо нашего дома проезжали такие бочки, соседи наши, играя словом «дух», всегда шутили над их способностью обнаруживать себя в полной темноте, тишине и даже на большом расстоянии.

Покаюсь, что я посмел, раскрутивши кота за хвост, подбросить его высоко в воздух и притом так метко, что, описав крутую дугу, он свалился прямо в распахнутый люк неблагородного резервуара «и пропал во тьме пустой». Сделав это, я вернулся в дом, где предался раскачиванию на лестнице.

Долго мне, однако, раскачиваться не пришлось, поскольку я имел неловкость опять стукнуться локтем о притолоку двери. Дернувшись от боли, я поскользнулся и, чтобы не упасть, схватился обеими руками о выступ дверного косяка. Однако я все-таки упал, пролетев боком сквозь дверной проем в коридор и свалившись прямо на стоящую у двери модель «бутылки Клейна». При этом я несильно ударился об один из двух укрепленных на ней аккумуляторов.

С минуту я, ошеломленный, лежал на смятых моим телом жестяных листах, сделавшихся скользкими от раздавленных червей. Потом я встал, почистился и принялся собирать расплывшихся по полу гусениц, кладя их на «бутылку Клейна». Вдруг мне показалось, что опутывающая ее паутина светится слабым зеленоватым светом. Мгновением позже часть светящейся паутины отделилась от «бутылки Клейна» и, раздавшись в стороны, поднялась к потолку, а паутина на самой «бутылке Клейна» померкла. Отделившаяся паутина спуталась клубками. Нити ее временами пошевеливались. Казалось, что они пронизывают стены и потолок.

Я глядел на светящуюся паутину во все глаза. Вдруг в переплетении паутинок мне представилось чье-то сморщенное лицо. Оно повернулось ко мне и посветлело. Внезапно я узнал его.

Это было лицо матери Валентина Марсовича. Видел я его всего один миг. Оно вдруг исчезло вместе с клубами светящейся паутины.

Вскоре, однако, паутина опять появилась, но в другом месте, в самом конце коридора, напротив кухни. Теперь она светилась ярче, чем прежде. Мне показалось, что внутри ее быстро движутся какие-то фигуры, но я не успел их рассмотреть. Вздвигнувшись, паутина прямо сквозь стену протиснулась в кухню, и вдруг там раздался страшный вопль. Пулей выскочил оттуда черный кот с окровавленной шеей, метнулся ко мне, свалился на бок и омертвел.

До чего же этот кот был похож на того, который попался в капкан! Даже шкура на шее у него была рассечена точно так же. Я недоумевал.

Между тем на кухне замелькали вспышки света. Я побежал туда и окинул кухню глазами, ища светящуюся паутину. Ее нигде не было видно, но, глянув в окно, я заметил между сиреневых кустов зеленоватое свечение. Из окна мне был виден недостроенный колодец и нора в нем, и в этой норе вдруг показалась светящаяся паутина.

Она поблескивала зеленоватыми искорками, в игре которых мне вновь представились видения.

Сперва я увидел лошадей, скачущих верхом на рыцарях. Потом рыцари с лошадьми скрылись в глубине норы, а через мгновение оттуда выкувыркнулось существо, похожее одновременно и на ласточку, и на дельфина, и на свинью. Существо это тут же исчезло, но на его месте из светящихся паутинок вычертились лицо и руки бородатого мужчины, очень похожего на Валентина Марсовича. Воздушный Валентин Марсович закивал головой и поманил меня пальцем.

В восемь лет не знают страха. Я принял приглашение. Взобравшись на подоконник, я толкнул окно и, когда оно растворилось, выпрыгнул из него прямо на грядку бессмертников, встал и побежал к недостроенному погребу.

Спустившись в глиняную яму, я подполз на четвереньках к норе и заглянул в нее. Там, в глубине, мерцали отблески света, скрытого где-то за изгибом норы. Не колеблясь, я пополз туда.

Я прополз уже метра два, как вдруг на меня посыпались комья земли, и в то же время из-за поворота норы показался клуб светящейся паутины. Теперь его испещряли радужные пятнышки. Вглядевшись в их копошение, я вдруг увидел веселую гурьбу детей и взрослых, скачущих вокруг зажженной елки. Эта ель, высокая, стройная, широковетвистая, блистала посреди старомодно мебелированной комнаты тысячью огней на восковых разноцветных свечах и была вся усеяна украшениями и подарками. И дети и взрослые любовались волшебным освещенным деревом и радовались его зеленой красоте. А из закопаченного ватой окна, в стеклах которого отражалось пламя камина,

было видно, как бушует на улице вьюга и вихрями мчатся по ветру хлопья снега.

Через минуту картина эта рассеялась, сменившись другой, тусклого серого тона.

Все поле новой картины застилалось туманом, пронизанным дождем. Сквозь туман проглядывали очертания сводчатого каменного моста. На нем маячила фигура человека. Вдруг человек этот подбежал к перилам, перевалился через них, полетел вниз и поглотился туманом.

А потом паутина пять раз вспыхнула, сжалась в комок и погасла. Мне почудилось, что при этом слабо дрогнула земля.

Стало темно. Я оглянулся, но не увидел света. Повернувшись на четвереньках, я пополз к выходу и уткнулся в рыхлую землю. Вход в нору был завален.

Я принялся разгребать землю, но от этого она обрушивалась на меня со сводов норы, и я остановился, боясь быть засыпанным. Отползши в глубь норы, я закричал, зовя на помощь, и кричал долго, пока совершенно не охрип. Однако никто не услышал моих криков.

Более получаса я, крича и плача, тщетно ждал помощи. Наконец вопреки опасности я все же осмелился разгрести землю и благополучно выбрался наружу.

Дом Валентина Марсовича был заперт. Ни его самого, ни Киры Евдокимовны нигде не было видно. Поискав их, я отправился восвояси, но сначала зашел в гости к своему однокласснику Петьке Кнырю. Целый час, захлебываясь от ликования, я рассказывал ему про свои видения. Но Петька мне явно не верил. Я обиделся, обозвал Петьку дураком и пошел домой.

Отец встретил меня упреками. Он сказал, что у нас был Валентин Марсович и жаловался на меня. Из слов отца я узнал, что Валентин Марсович считает, будто вместо того, чтобы унести кота на свалку, я взял да и бросил его посреди коридора.

Из-за этого у Валентина Марсовича и Киры Евдокимовны вышла ссора. (Она происходила в то время, когда я сидел в юре.) Обстоятельства этой ссоры, как их рассказал отцу Валентин Марсович, были таковы. Вернувшись с мешками из сада и увидев останки «бутылки Клейна», Валентин Марсович так расстроился, что даже не заметил валявшегося в коридоре кота. Он стоял над исковерканной «бутылкой Клейна» и сокрушался, когда пришла задержавшаяся для чего-то в саду Кира Евдокимовна. При виде бездыханного кота она почувствовала себя плохо. Пришлось лечить ее валерьянкой и нашатырным спиртом. Когда же силы к ней возвратились, Кира Евдокимовна обрушила на Валентина Марсовича всю силу своего неистового отчаяния, обвиняя его в убийстве кота. По ее убеждению, Валентин Марсович зарезал кота тем самым окровавленным ножом, которым он перед тем чистил рыбу. Валентин Марсович

покаялся в своей невинности, но Кира Евдокимовна заявила, что чудес не бывает.

В ответ Валентин Марсович с жаром стал уверять Киру Евдокимовну, что чудеса бывают. Доказательством этому, в частности, может служить таинственная пропажа его шляпы.

На это Кира Евдокимовна возразила, что она спрятала шляпу потому, что ходить в такой шляпе стыдно. Теперь, однако, ей безразлично, в чем будет ходить Валентин Марсович, так что он может получить назад свою шляпу. И Кира Евдокимовна пошла за шляпой. Но через минуту она предстала перед Валентином Марсовичем бледная как смерть и сказала, что мехи ее аккордеона в трех местах продырявлены. Валентин Марсович не поверил этому и попросил показать ему аккордеон, но Кира Евдокимовна не стала больше разговаривать. Она собрала свой скарб и навсегда ушла из его дома.

...Рассказав мне обо всем этом, отец стал укорять меня за возмутительное невнимание к просьбе Валентина Марсовича. Я оправдывался, но, видя, что отец мне не верит, заплакал и пошел к Валентину Марсовичу объясняться.

Валентин Марсович выслушал меня участливо и с большим вниманием, однако, когда я окончил рассказ, он покачал головой и сказал, что готов мне поверить, но... И он показал рукой на стену. Там было написано: «Истина — это не то, что истина, а то, что похоже на истину».

...С тех пор прошло много лет. Наша семья давно покинула О-в и переселилась в город Ю-вск. Валентин Марсович еще до войны продал свой дом и переехал жить в какое-то село под О-вом к своей племяннице Клавдии Николаевне Рыжковой. Кажется, она и по сей день работает там сельским врачом. Я слышал, что Валентин Марсович преподавал математику в тамошней школе, что там он скончался и похоронен.

Теперь, когда, как я думаю, мне отчасти разъяснилась тайна светящейся паутины, следовало бы кое-что выяснить у Клавдии Николаевны, но я не знаю, к сожалению, ее адреса.

Я уже писал престарелой Кире Евдокимовне Дроздовой, прося сообщить мне адрес Клавдии Николаевны, но не получил ответа. Впрочем, через полгода у меня отпуск. Тогда я непременно поеду в О-в, узнаю адрес Клавдии Николаевны и увидаюсь с ней.

Я помню ее по ее наездам в О-в, и мне приятно будет ее увидеть снова. Но у меня есть еще одно основание желать с ней встретиться. Хотя надежд на это мало, но не исключено, что у нее сохранились кое-какие записи Валентина Марсовича, из которых можно было бы выяснить, как шли провода по его «бутылке Клейна». По мнению одного моего приятеля, расположив должным образом провода на модели «бутылки Клейна» и замкнув их на корпус модели, можно вызвать появление светящейся паутины.

Этого приятеля моего зовут Мишей Климовым. Он преподает физику в Ю-вском университете. Мы познакомились с ним на свадьбе внучки тети Сони. Мы оба остались ночевать тогда в ее квартире, а на следующий день вместе поехали на электричке в Ю-вск. Дорогой между нами завязался разговор, начатый Мишей.

— У меня голова, — сказал он, — как четырехмерный пивной котел.

— У меня тоже, — отозвался я, — и мысли скачут. Между прочим, мне недавно говорили, что хорошо сплетенный туесок, намакая, не пропускал воду.

— Да, в нем было относительно сухо. А любопытно, как бы протекали сражения на односторонней поверхности.

— Как у Пушкина: «Ждут бывало с юга, глядь, ан с востока лезет рать».

— Интересно, как односторонние поверхности электризуются, — промолвил Миша задумчиво и стал чертить в записной книжке схему распределения зарядов на «бутылке Клейна».

Его слова и рисунок напомнили мне о светящейся паутине. Я попросил Мишу отвлечься на минуту от своих мыслей и рассказал ему про мое давнее приключение. Свой рассказ я заключил предположением, что и паутина, просачивающаяся сквозь стены и видения, — все это было игрой моей детской фантазии.

Слушая меня, Миша, по-видимому, пришел в восторг. Его блестящие, черные, полные экспрессии глаза засияли. Когда я кончил говорить, он воскликнул:

— Николай, это не плод фантазии! Это все так и было!

И он мне рассказал про свою гипотезу о нейтронных молекулах.

Насколько я понял, эта гипотеза весьма далека от логической законченности. Она еще настолько «сырая», что едва ли уместно уже теперь оглашать ее посредством научных публикаций. Я, однако, отношусь к ней с доверием.

По этой гипотезе, земной шар пронизывается насквозь многоветвистыми нитями, состоящими из сцепленных друг с другом нейтронов. Их совокупность Миша назвал «нейтронным деревом». Нити эти так тонки, что беспреткновенно рассекают любые предметы, проходя между их атомами. «Нейтронное дерево» не проваливается сквозь землю только потому, что его центр тяжести совпадает с центром тяжести Земли. В обычных условиях оно невидимо и неощутимо, но если заставить его нити вибрировать, то они засияют и станут взаимодействовать с окружающими предметами.

Вдохновенно ораторствуя, Миша Климов высказал догадку, что наэлектризованная модель «бутылки Клейна», обтекаемая электротоками потребной конфигурации, испускает особые лучи, которые поглощаются определенными участками «нейтронного дерева» и вызывают их дрожание. По предположению Миши,

свалившись на «бутылку Клейна», я нарушил изоляцию между нею и оплетающими ее проводами. Возникшее при этом излучение подействовало на небольшую область «нейтронного дерева», отчего в этой области завибрировали нейтронные нити. Их-то я и принял за светящуюся паутину. Должно быть, именно они смертельно ранили кота Киры Евдокимовны и издырявили ее аккордеон. По Мишиному мнению, это вполне возможно.

— Когда нейтронные нити вибрируют, — говорил Миша, — они как бы утолщаются и могут иногда нарушать молекулярные структуры твердых тел. Мы это докажем! Полагаю, что кот и аккордеон пали во славу науки! Думаю, что вместе с ними повредились и другие предметы, но на это не было обращено внимания.

Мишины рассуждения выглядели убедительно. Однако мне показалось, что они не все объясняют. Когда Миша изложил свою гипотезу, я спросил:

— Но откуда явились видения? Почему они мне мерещились среди светящихся нитей?

— Это эффект Ивана Грозного, — заявил Миша.

— Что такое эффект Ивана Грозного?

— Я так называю, — сказал Миша, — осмысливание нашим воображением совершенно случайных форм. Всмотритесь в чернильную кляксу, и вам представится фигура слона, или профиль родственника, или очертания Пизанской башни.

— А почему вы называете это эффектом Ивана Грозного?

— Потому что во время прошлой размолвки с тещей у меня на обоях появилось пятно — ну прямо вылитый Иван Грозный!

— Но те видения отличались поразительной реальностью. Они двигались. Мне казалось, что я вижу живых людей!

Миша задумался. Помолчав с минуту, он достал из-под скамейки свой портфель и встал.

— В конце концов, — сказал он, — мы не знаем механизма эффекта Ивана Грозного. Должно быть, какие-то свойства нейтронных нитей ему благоприятствовали. Возможно, что форма нитей или ритм их движений могли его значительно усилить... Однако это моя остановка. До свидания...

Я пожал Мишину руку, и мы расстались.

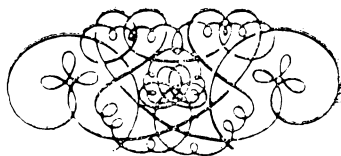
* * *

Скажу еще только одно. Иногда у меня в памяти с удивительной отчетливостью воскрешаются мои детские видения. Перед моим мысленным взором встают странные, таинственные картины. Потом они исчезают, и мне становится грустно, как будто померкло волшебное окно.

Почему-то мне кажется, что нейтронные нити — живые.



ШКОЛА МАСТЕРОВ



ПОТОМКИ СОЛНЦА

Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в Слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что гудок и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы.

Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любитесь каждая мать, каждый день видя в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он рос, и все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге.

* * *

Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо — все взгляды опустили в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку.

Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими всевидящими глазами, тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делая из нее дом человечеству.

Вогулов работал бесценно, с горячей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вогулов десять раз объехал земной шар, организуя работы, проповедуя идею переделки земного шара и зажигая человеческие массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара, и в океаны, и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера переживалась тысячами мозгов лучших ученых.

План Вогулова был очень прост.

Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года — эти зима, лето и т. д. — замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня.

Земля с развитием человечества становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью, это стало вопросом дальнейшего роста человечества.

И Вогулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через выпуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние (влажность, сухость) зависит от ветров.

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной, чудесной мощи, чтобы армия рабочих в 20—30 тысяч человек могла бы пустить в атмосферу горную гряду Гималаи. И Вогулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе — и вещество было найдено. Это бы-

ло не вещество, а энергия — перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи.

За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могушественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вогулов нашел способ перенапряжения, сгущения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир, к «нормальному» состоянию, со страшной, истребительной, неимоверной, невыразимой числами силой. На ультрасвете Вогулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству.

Ультрасвет попробовали в горах, в Европе, на Карпатах. В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии, — и пламя завывало над Европой, ураган сметал страны, молнии засвистели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от Земли. От гор не осталось и песчинки на память. Горы переселились ближе к звездам. Материя мыслью Вогулова превращалась почти в ничто.

Через месяц то же самое сделали в Азии, а еще через месяц в тундрах Сибири уже зацвели робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнали люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов.

Вогулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела — дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. Человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами.

Вогулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженный аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покаяясь ритмическим взрывам мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у не-

го были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вогулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться, рабочие песни — других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду, и Вогулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане, и мысль Вогулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу — битву далеких миллионов людей.

Вогулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого.

Еще год — и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается равно и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику — остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли, она будет мастерской, обителью машин и пашней.

И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вогулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня.

Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вогулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рыдающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространства. И Вогулов, не сознавая, родясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания — тверже и упорнее материи, — которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную — без звезд и солнца, — одно ликующее, ослепительное всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если ра-

достно ему это творчество. Но можно ни творить, ни разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать и не быть спокойным, — это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный.

Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их — ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце.

* * *

И Вогулов начал действовать, медленно и начиная с малого — с перестройки земного шара. Но этого было мало: мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских, непреодолимых сопротивлений.

Вогулов засел за вселенную: эта тайна должна быть наконец разрешена, и разрешена полностью. А познание есть три четверти победы. Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий.

Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша вселенная. Он всегда думал, что вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует.

Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи.

А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждения о бесконечности есть именно рассуждение, не факт.

Вогулов нашел очертание, пределы вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки вселенной: свет как высшее напряжение вселенной, дальше света уже идет уничтожение вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление вселенной безгранично, — и вторая критическая точка: инфразлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения, с волною длиной в бесконечность и частотой периодов в вечность.

Между этими пределами заключены все остальные переходные формы: теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и др. И эти колебания от света к инфразлектромагнитному полю, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм одна и та же.



Вогулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется вселенной. Инфраполе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшись о самого себя, снижается опять до своего полярного полюса — инфраполя. Так, по кольцу, вверх по правой половине, вниз по левой, колеблется и стучится вселенная в каземате, который есть она же сама.

Инфраполе через миг (неопределимый, неуловимый) уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние.

Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе, — у начальных точек больше, у конечных меньше, от этого получаются различные скорости, то есть содрогания — волны; интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий 50 в 20-й степени в секунду до 1 в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий.

И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты, Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма — вселенной, и мысль у него застыла на миг.

Тот же круговой поток, от инфраполя к свету — и обратно, получался и у него на лабораторном столике, как и в безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком.

Тогда Вогулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию и улыбнулся в первый раз сыздавна: вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей вселенной. Вогулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно 1000 кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы вселенная перестала существовать.

Двух взрывов, по 500 кубических километров каждый, будет довольно: первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, новую вселенную.

И Вогулову стало хорошо — стена дала трещину, и стала видна дорога.

Через год Вогулов решил пересотворить вселенную ультра-светом. И опять загремела в нем мысль, и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление: всей энергии земного шара не хватало для производства 1000 кубических километров ультрасвета. Тогда Вогулов запряг в стан-ки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный



Г. Голобоков (Балаково Саратовской обл.).
В парке за 75-й параллелью.

Г. Голобоков. Экскурсия в прошлое.





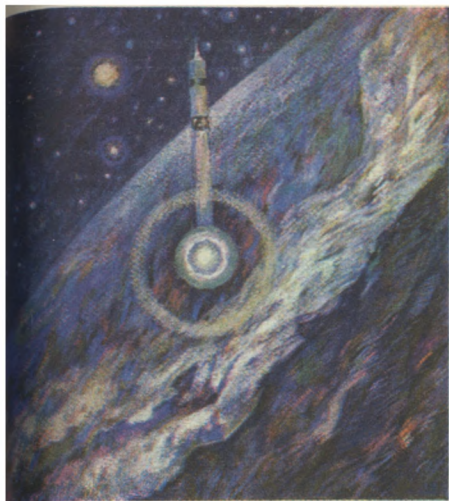
Е. Букреев (Краснодар)
Три ракеты.



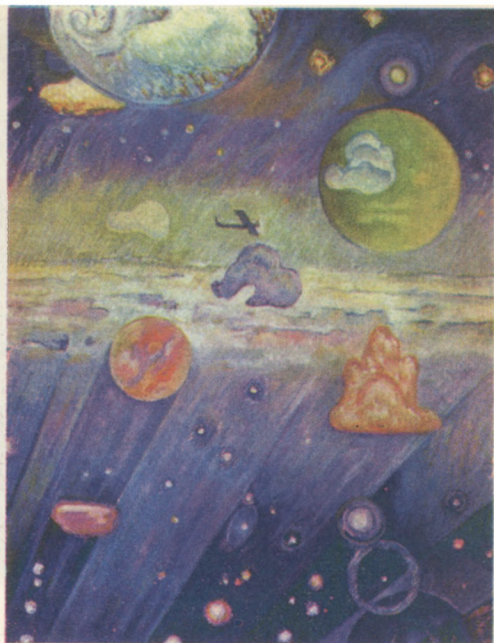
Е. Букреев. Весна космическая.



Е. Букреев. Буря.



Е. Букреев. В дорогу!



Е. Букреев. Новые миры.



Букреев. Далекий восход.

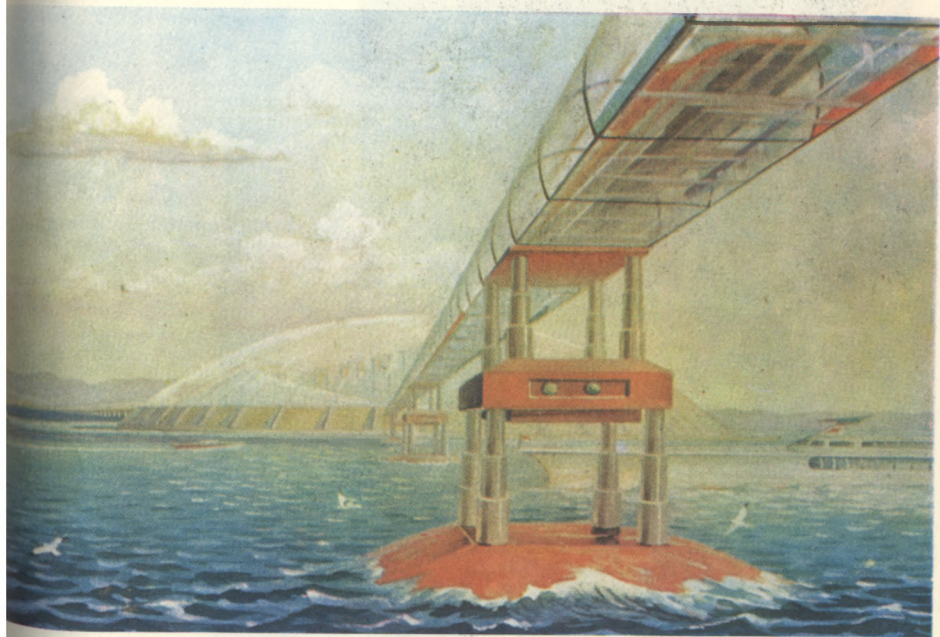
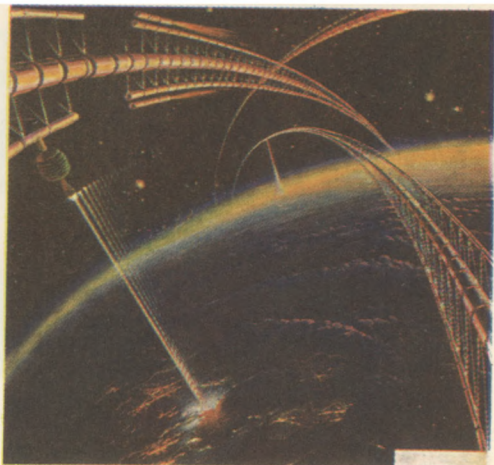


К. Кастальский-Бороздин. (Москва). Планета.



С. Гавриш (пос. Родино
Алтайского края). Небесный огонь.

Г. Покровский (Москва).
Орбитальная станция.



Г. Покровский. Мост.



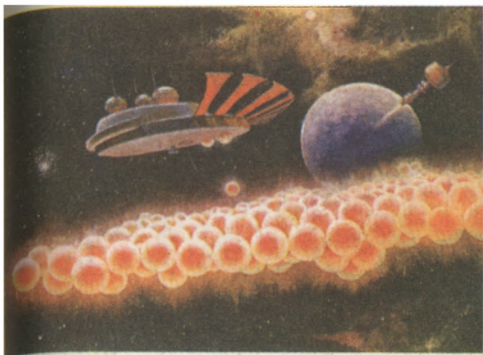
В. Байдалюк (Братск).
Человек и вселенная.



Г. Тищенко. На орбите.



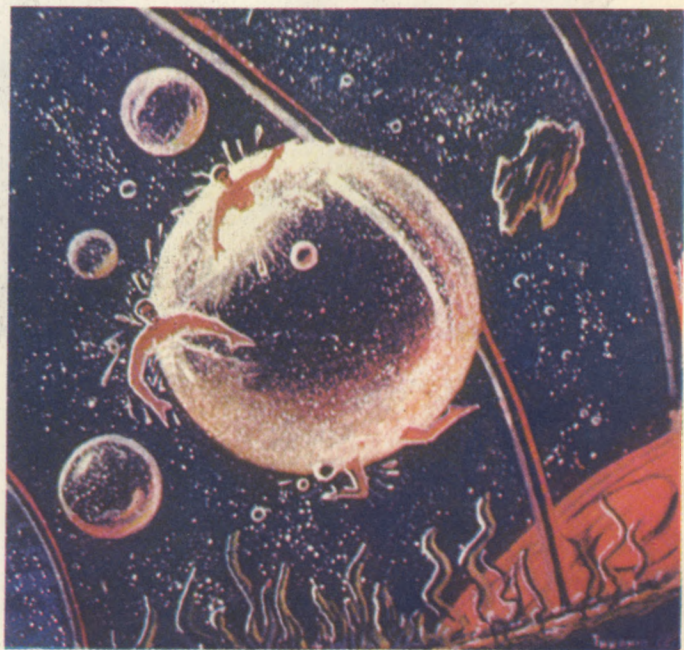
Г. Тищенко. Встреча миров.



В. Бурмистров (Свердловск). Космос.



Г. Тищенко (Баку). Строители.



В. Байдалюк. Бассейн
и невесомость.



Г. Курнин (Сочи). Планета фосфоресцирующих деревьев.



Г. Тищенко. Вторжение в антимир.



К. Кастальский -
Бороздин. Голубое
диво.

резонатор-трансформатор: прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вогулов просто получаемые из пространства световые лучи «охлаждал», тормозил инфракрасным и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна — фабрикация резонаторов-трансформаторов света в тока; в энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся вселенная впряглась в станки человека, если далекие пределы вселенной условно назвать бесконечностью, ведь вселенная — означает свет. Энергетика и экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил действительно золотой век — вселенная работала на человека, питала и радовала его.

Вогулов заставил работать вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую вселенную. Но этого было мало: человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов — миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вогулов привил рабочим массам микробы энергии: он взял для этой цели элемент инфракраса с его ужасающим стремлением к максимальному состоянию — свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества — любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом.

Первый год уже дал 100 кубических километров ультрасвета. Вогулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года 1000 кубических километров ультрасвета будет готово.

Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетие по производству ценностей. Быстрая, вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности.

Микроб энергии делал ненужной вечность — довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть как исполнение радостного инстинкта.

* * *

И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства.

Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал

и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя.

И потом в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, неимоверной мощи.

Но ничего не изменилось — только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека...

Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

1921 г.

КОНТИНЕНТЫ ВОООБРАЖЕНИЯ

(К цветной вкладке)

В начале нашего века в Финляндии, в деревне Лутахенде поселился молодой человек с мягкой бородкой, со спокойными и простодушными глазами, с румянцем во всю щеку. Жил он на болоте, которое все: и дачники, и местные жители — именовали Козьим, в крохотной хибарке, упрямой в лесу. Стены и углы своей комнаты он украшал кустами можжевельника, сосновыми и еловыми ветками, букетами папоротников, ярко-красными ягодами, шишками. А над дверью хибарки он приколотил дощечку с изображением лиловой кошки. И вскоре все стали называть лачугу «Кошкин дом».

«Посередине комнаты в «Кошкином доме» стоял белый, сосновый, чисто вымытый стол, украшенный пахучими хвойными ветками...» — пишет в своих «Воспоминаниях» Корней Чуковский. Молодой человек, поселившийся в лесу, в этом деревянном домишке с закоптелыми стенами, был тогда начинающим писателем, и никому еще не стали известны его книги: «Хождение по мукам», «Петр Первый» и другие — просто потому, что они еще не были написаны.

В этом воспоминании об Алексее Толстом характерна одна деталь. Будущий известнейший писатель, оказывается, заключил с природой неразрывный союз. Не там ли, среди стен, увешанных сосновыми ветками и пушистыми листьями папоротника, посетили его простые и чистые, как цветы и травы, образы первых его героинь и героев?

Природа многолика, проявления ее порой таинственны — до сих пор она вдохновляет и поэтов и ученых. И законы гармонии, и законы физики открывают нам подлинность мира, помогают проникнуть в тончайшие механизмы природных процессов и явлений.

«Каждый год в мерном беге своем обращает Земля к Солнцу северное полушарие, — пишет профессор А. Серебровский, посвятивший жизнь разгадке извечных тайн жизни. — Тогда здесь ломают реки мертвые льды, и наступает весна. Как-то вдруг, почти неожиданно, туман-снегоед залегает по лесам, что-то ше-

лестит, каплет, журчит. А когда ветер развеет клубы тумана, земля оказывается уже обнаженной, теплой, и кто-то торжественно вытаскивает из-под прелой листвы первый цветок... Ветрой в неизбежность весны крепка северная душа в декабрьском сумраке. Весной просыпается в нас что-то глубокое, основное — радостный остаток далекого прошлого. Хочется снова стать следопытом и птицеловом, бродить по зазеленевшим лугам, продираться сквозь чащи кустарников, лазить по болотам, моховым топям».

Нет, не смертный бой, не роковая схватка с природой ожидает нас в будущем. Сквозь мглу столетий человеку сегодняшнего дня грезятся не мертвые руины, не задымленные сверхгорода на месте зеленых раздолий, не серая безликая пустыня.

Его ожидают еще не разбуженные от векового сна просторы ледовых побережий и островов. Не там ли воплотится вековая мечта о союзе со всем цветущим и плодоносящим, не там ли человек будущего даст своим тысячелетним зеленым друзьям и спутникам «вторую попытку»? Наверное, об этом рассказывает полотно художника Г. Голобокова «В парке за 75-й параллелью». Но чтобы легенда о вечной весне обернулась явью в ледовитых просторах, одной мечты, увы, недостаточно. И талантливый художник дает понять: воплощенная мечта — это прежде всего созидание. Пусть же расцветают рукотворные сады грядущего, овеянные пафосом благородной, смелой и чистой мечты!

Другая картина того же художника — «Экскурс в прошлое» — заставляет вспомнить страницы книг, ставших классическими образцами научно-фантастического жанра. В конце прошлого века физики все чаще пытаются осмыслить парадоксы мироздания, постигнуть самые общие законы и свойства вещества, поля, времени. Можно ли путешествовать во времени так же, как мы привыкли это делать во всех трех пространственных измерениях? И вот молодой писатель Герберт Уэллс создает повесть «Машина времени». Герой ее совершает два путешествия — в прошлое и в будущее. Ему открываются поистине фантастические картины, но в них внимательный читатель улавливает неизбежное, неумолимое действие законов и социальных и физических. Может быть, стоит отметить, что повесть Уэллса вызвала множество подражаний. Не раз пытались разные авторы вернуться к теме машины времени — к заманчивой возможности, которую она открывает перед фантастикой. Но никто, пожалуй, так и не смог написать роман или повесть, которые можно было бы поставить рядом с «Машиной времени» прославленного английского фантаста.

Герои картины Голобокова сделали остановку по пути в прошлое. Но ради этого ли написана художником картина? Вряд ли. Думается, что заурядная иллюстрация к хорошо разработанной теме не привлекла бы его пристальное внимание.

Где же волшебный ключ к искусству?! Вот в чем подлинный

нафос его полотна. Первобытный художник начертил контуры огромного, почти сказочного великана из мира животных. Но зачем это ему? Ведь он, вероятно, многожды встречался с ним в то зеленое утро нашей планеты, когда природа была и щедра и загадочна... В чем же дело? Почему рука его тянется к краскам. И почему на скале возникает странный живописный образ обычного, казалось бы, зверя?

Как же ответить на этот вопрос (а он не так уж прост, как может показаться на первый взгляд)? Нет, не будем утомлять читателя пересказом всех многочисленных теорий происхождения искусства. И не будем вспоминать его тысячелетнюю историю. В искусстве порой все сложно и все просто. Пройдут века и века. Сорок тысяч лет, быть может, семьдесят. В теплый летний день начала нашего века к деревянной лачуге на Козьем болоте, что у околицы Лутахенды, совсем недалеко от Куоккалы, подойдет юноша с букетом лесных папоротников и прибьет над дверью дощечку с изображением лиловой кошки.

* * *

Два десятилетия назад над голубой планетой по имени Земля поднялся первый космический снаряд, созданный руками человека. Космический эксперимент советских ученых открыл новую эру. Еще хорошо сохранившиеся в памяти современников позывные первого спутника Земли стали вечным достоянием истории. Восемь тысяч лет назад человечество начало осваивать водные просторы планеты. Пять тысячелетий назад оно познало парадокс колеса, и сухопутный горизонт сразу раздвинулся. понадобились тысячелетия, чтобы рокошущая механическая птица подняла в воздух первых авиаторов; тысячелетний сон о полете стал явью.

Космическая мечта моложе. Лишь великие мудрецы и провидцы недавних веков обратили взор к небу, желание унестись в звездные дали, в блистающие миры стало неугасимым, точно сияние самих небесных огней. Ракеты, изобретенные в глубокой древности, были забыты, потом дважды открыты, но призрачные огни ракетных фейерверков и багровые хвосты зажигательных стрел не будоражили еще мысль мечтателей, и волшебник Верн отправил своих героев на Луну из пушечного жерла. Всесильные в иных областях маги, кудесники, веселые крикливые фокусники взор свой обратили сугубо на земные дела: никто из прославленных кудесников, софистов и прорицателей не изрек истины. И уста астрологов не открылись, чтобы провозгласить: грядет время ракетных огней, звездных полетов! Истина, великая, необъятная истина, зрела.

Заточенный в крепость Кибальчич упорно рисовал металлический цилиндр с отверстием, его изображение рисовало ему огненную силу, способную поднять необыкновенный снаряд, под-

толкнуть его, направить в дали дальние. Гениальный ученый Циолковский неустанно чертил схемы межпланетных путешествий, и столь отчетливы были эти чертежи, что повергали специалистов в изумление. Слава «чудака» из Калуги росла. Свои работы он передал в дар великой революции, грянувшей в Октябре, народу, свершившему ее. Ибо народ, первым освободившийся от гнета земного, первым устремится и к сияющим звездным огням. В год революции от мечты его отделяли две жестокие войны, равных которым не перенес еще ни один народ, и сорок лет — четыре знаменательных десятилетия, которые при иных темпах означали бы столетия. Русский провидец через гражданскую войну и интервенцию шагнул в нашу действительность, он успел увидеть, как мечта его зажгла сердца, воспламенила умы. Но, какими бы быстрыми ни были шаги нашего развития, цель, открывшаяся ему, столь грандиозна, что желанный бросок в космос потребовал еще одного поколения.

Первый наш спутник — лучший памятник ему, гениальному старцу, сердце и ум которого тревожно и радостно устремлялись в космос.

1961-й... Год Юрия Гагарина. Первый корабль, управляемый человеком, взмыл над планетой. В тот год стало ясно: человек завоеует околосолнечное пространство. Ведь об этом думал основоположник космонавтики — о солнечных городах, о людях мечты, о судьбах их, об их путешествии в далекое таинственное грядущее. Ему виделся светлый мир — в его честь слагал он научные гимны.

Человек в космосе. Сегодня, завтра, всегда. Панно В. Байдалюка «Человек и Вселенная» утверждает именно эту мысль, именно это стремление. Необыкновенно быстро претворяет в жизнь человек свои замыслы. Не так уж давно Галилей в свою зрительную трубу рассмотрел Луну и ближайшие планеты. Огромные тела, висящие в пустоте, они держались там силой законов, которые только начинали открываться в то время. Но и много позже, после Галилея, Кеплера и Ньютона, многие ли всерьез верили, что магические стекла рассказывают правду о небесной земле?

Удивительно быстро проник человек в величайший из океанов — в космический. Совсем особые законы управляют им, и совсем особые корабли бороздят его просторы. Многое можно предвидеть, но всегда останется в этом безбрежном океане простор для мечты, для тайны, для вечных загадок мироздания.

Каков будет космический корабль будущего? Останется ли металлическая сигара главным экипажем для путешествий среди планет, среди звезд? Станем ли мы или наши потомки свидетелями новых форм и методов проникновения в звездный простор? Не пучок ли фотонов поможет звездоплавателям? Не странные ли частицы? Не вынесет ли в пустоту галактические корабли могучая аннигиляция? Или звездоплаватели будут чер-

пать энергию из самого необычного хранилища — вакуума? Недаром же современная геометродинамика ищет именно там невидимую, почти волшебную связь пространства и вещества. Подобие тугих пружин, незримо держащих в своем плену все существующее, — вот что такое вакуум, по мнению физиков-геометродинамиков.

Какие не открытые еще сияющие лучи отнесут нас к мирам мечты?

И что сокрыто от нашего взора там, в исполинскомместилище раскаленных шаров? В недрах галактического ядра? Не о том ли мечта художника В. Бурмистрова? Его полотно «Космос» заставляет задуматься об этом.

Нет, вселенная не замкнута! Не сходятся ее концы, нет порочного круга, по которому якобы скитается человеческий ум. И никакая кривизна вселенной не заведет его в тупики. Бесконечна и великолепна дорога познания, нет ей конца, нет конца полету мечты, и не смолкнет оптимистический гимн в честь творцов и искателей.

* * *

Много нового внесла космонавтика в физику, биологию, геологию, метеорологию... Академик А. Опарин считает, что эра космических межпланетных путешествий открывает перед биологией новые, необозримые перспективы. Она обещает нам знакомство с жизнью и путями ее развития, отличными от земных. При этом в равной степени важно, встретим ли мы на других небесных телах более высокоразвитые организмы или формы жизни, только начинающие долгий путь восхождения по эволюционной лестнице.

Понятен тот интерес, с которым художники-фантасты откликаются на принципиально новый круг проблем и вопросов, поставленных ныне развитием космонавтики. Воображение художника Е. Букреева переносит нас к мирам загадочным и далеким. Еще древние мыслители Эллады пытались представить истинные масштабы вселенной. Фалес Милетский считал, что звезды — это иные миры, а его ученик Анаксимандр утверждал, что число этих миров бесконечно: одни из них рождаются, другие умирают. Так он объяснял и вспышки сверхновых. По Анаксимандру, Земля имеет цилиндрическую форму и размером своим не превосходит Солнце. Лишь Пифагор сделал следующий шаг: Земля шарообразна, учил этот выдающийся мыслитель. Ксенофан из Колофона, насмехаясь над человекоподобными богами, отрицал обитаемость Луны. Два тысячелетия спустя появились первые научно-фантастические романы, опровергавшие учение Ксенофана о Луне. Один из друзей Александра Македонского не устал говорить величайшему полководцу древности о том, что им завоеван лишь один из многих миров.

Много раньше древние арии создали монументальнейший памятник письменности — «Веды». В «Космогоническом гимне» Ригведы словно предугадана бесконечность мира во времени и пространстве, там же впервые, по-видимому, в поэтической форме высказана мысль о нерукотворности мира, о непричастности богов к его сотворению, о возникновении и развитии вселенной из «космического яйца». И в этом древнем тезисе нетрудно увидеть странное напоминание о взрывоподобном развитии метагалактики (взрыв, конечно, замедлен, растянут во времени). Недаром как будто слово «Веды» того же корня, что и русское слово «ведать».

Эллин Аристарх из Самоса пришел к выводу, что Солнце, а не Земля является центром вселенной. Все планеты, включая Землю, вращаются вокруг Солнца, причем орбиты их круговые. Аристарх учил: Солнце в 300 раз больше Земли, оно примерно в 20 раз дальше от нас, чем Луна. Смелое учение Аристарха было вскоре предано забвению, а сам он осужден как нечестивец, осмелившийся лишить Землю ее центрального места среди иных небесных тел.

На целых 14 столетий — от Птолемея, автора гипотезы «небесных сфер», до Коперника — развитие астрономии как науки фактически остановилось вплоть до эпохи Возрождения. Датский астроном Тихо Браге наблюдал, как идеальные прозрачные сферы, на которых якобы «крепились» небесные тела, не оказывали никакого сопротивления кометам. Кометы пронзали эти сферы, словно их вовсе не было. Коперник, Галилей, Кеплер, Бруно, Ньютон... Имена величайших ученых связаны с эволюцией наших взглядов и представлений о мироздании. Этапы эволюции в естествознании, в частности в астрономии, хорошо известны.

Но даже современным приборам не под силу обнаружить те самые обитаемые миры, о которых мечтали поколения мыслителей и ученых. Планеты земного типа, увы, не поддаются непосредственному наблюдению. Лишь о наличии крупных спутников звезд можно судить по косвенным признакам.

Вот почему воображение художника, пожалуй, единственное средство воочию увидеть «микроструктуру» космоса. Г. Тищенко в своих работах очерчивает контуры сооружений, которые нетрудно отнести в будущее столетие. Спутники, космические станции, научные базы на планетах — так, вероятно, будут развиваться события, об этом свидетельствуют первые звездные старты человека-творца, человека-исследователя.

«Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль. Мои работы о космических путешествиях относятся к средней фазе творчества», — писал К. Циолковский. Благотворное влияние научной фантастики особенно сказывается в наше время. Писатели и художники доступными им сред-

ствами подготавливают ту «среднюю фазу творчества», о которой говорил К. Циолковский. Основоположник космонавтики испытал это влияние на себе. В своей работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» он писал: «Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазером Ж. Верном. Он пробудил работу мозга в этом направлении. Явились желания. За желаниями возникла деятельность ума. Конечно, она ни к чему бы не повела, если бы не встретила помощь со стороны науки».

До конца дней своих К. Циолковский мечтал о будущем. Да, человечество не останется вечно на Земле. Пройдут годы, и оно «завоюет себе все околосолнечное пространство».

И это будет лишь началом великих звездных путешествий.

* * *

Сейчас вряд ли кому-нибудь покажется странным, что изучение сверхновых квазаров и других объектов вселенной связано с практическими нуждами человека. Не исключено, что многие исследования «на кончике пера» и у границ видимого мира когда-нибудь помогут понять природу тяготения, узнать еще больше о свойствах нейтрино, кварков, проложить новые дороги к познанию микромира.

Можно ли представить себе человечество, прошедшее через головокружительные дали времени? Каким будет оно, каково будет его могущество? Займется ли оно перестройкой планеты, солнечной системы? В какие неведомые дали проникнет человек в поисках ответов на бесконечные вопросы?

...Мечта о будущем — это тоже одно из направлений поиска. Художники нащупывают как бы зыбкие мостки в грядущее, чтобы передать затем в образах главные его черты. Многих волнует вопрос об истоках жизни, о странном и, как кажется иногда, неповторимом феномене — ведь ни на одной из планет не найдены пока решающие доказательства в пользу «космической флоры и фауны».

Еще в 1932 году Ч. Липман в статье, изданной Американским музеем естественной истории, описал серию опытов по обнаружению внеземной жизни в осколках метеоритов. В колбах с расплавленными обломками «небесных камней» размножались кокки, палочки и целые цепочки мельчайших существ. Ч. Липман предвидел возражение своих оппонентов, основанное на уверенности, что высокая температура убивает всякие следы живого при прохождении метеорита сквозь плотные слои атмосферы. Но исследователь предполагал, что тепло захватывает лишь внешнюю оболочку космического гостя глубиной примерно в сантиметр или чуть более. Ему был хорошо известен случай, происшедший в штате Висконсин: в жаркий июльский день там упал метеорит, вскоре после падения покрывшийся инеем. Осколок небес-

ного камня хранил в себе немалый запас холода космических бездн: он-то и согнал жар с его поверхности.

«Каменные метеориты приносят откуда-то из космического пространства некоторое количество живых бактерий, вероятно, в спорах», — писал Липман. Публикация ученого сопровождалась настоящей газетной шумихой. Но большинство ученых хранили молчание, а некоторые негодовали. В следующем выпуске издания музея появилась статья М. Фаррелла, в которой автор говорил буквально следующее: «Газетные публикации не могут быть приняты серьезными исследователями за правду, особенно когда результаты Липмана не получают подтверждения в их лабораториях». И далее:

«Экскурс Липмана в область жизни вне земного шара должен рассматриваться как полет фантазии через космическое пространство».

Кто знает, сколько времени потребуется еще, чтобы воочию убедиться в обитаемости звездных миров?

Не дожидаясь достоверных ответов на этот волнующий вопрос, художники пытаются представить себе далекие планеты.

Картина художника-фантаста Г. Курнина «Планета фосфорических деревьев» переносит нас совсем в иной мир. Спиралевидные ветви вместо листьев, самосветящиеся формы, причудливые лианы... Это планета горячих бурь, ураганов, плотных облаков, яркого солнца в ее небе — в заоблачной выси.

Красочно изобразил далекие миры, их сказочный облик известный живописец К. Кастальский-Бороздин. Его полотна «Голубое диво» и «Планета весны» — гимн жизни и одновременно философское раскрытие ее сути.

«Свое лицо, свой собственный образ природы Кирилл Кастальский-Бороздин сохраняет на протяжении десятилетий. Его произведения нашли место в крупнейших музеях нашей страны. Они неизменно приносят зрителю радость открытия, радость познания поэтического мира», — пишет об этом интересном художнике действительный член Академии художеств СССР лауреат Государственной премии М. Алпатов.

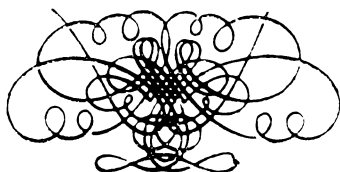
* * *

Научно-фантастическая живопись привлекает внимание и художников и ученых. Достаточно вспомнить, что для профессора, доктора технических наук Г. Покровского живопись — своеобразный рабочий инструмент, помогающий ему увидеть многие из его проектов и замыслов как бы воплощенными в жизнь...

Мечта о будущем открывает нам неизведанные континенты и миры. Дорога к ним ведет нас все выше и дальше.



МОЛОДЫЕ ГОЛОСА



ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ

Я понял, что до базы не дотяну. Мне ничего другого не оставалось, как приземлиться в Городе.

Я сел в степи, не теряя времени на поиски посадочной площадки, если она вообще имелась здесь, потому что планета давно перестала быть пересадочным пунктом.

Насколько затянется ремонт, я пока не знал, но надеялся, что не больше, чем на неделю.

Слухи о Городе, доходившие до нас, были столь неопределенны, что я успел о них забыть, и теперь с чистым любопытством вглядывался в едва различимые здания. Я представил себе, как выйду в Город, познакомлюсь с новыми людьми... Стало легко и весело от того только, что я тоже могу пройтись по улицам, на которых будет просторно и тесно одновременно.

От Города отъехала машина, я заметил ее, когда она прошла половину пути, и с нетерпением ждал ее приближения.

«Первый и Второй Встречные» — как мы на базах называли таких служащих — буквально вбежали по трапу и влетели в открытый люк так, что я не успел сделать им навстречу и шага. Вместе с ними в кабину ворвался настоящий поток слов:

— КакмыРадыСтаринаИэтоКонечноСлучайноСлучайПриятныйВсеЕрундаИсправитсяУнасНетСвоихТехниковНоМыСможемОттудаВызватьИвКакоеСлавноеВремяВыкНамПопалиТакойДивныйПериодНадеемсяЧтоПоломкаДействительноПустяковаяВкрайнемСлучаеСумеетПридуматьЧто-нибудь...

Они говорили одновременно, как мне казалось, без остановок. Они засыпали, заваливали меня словами, и я погружался в этот поток слов и предложений с головой. Но как только мне удавалось вынырнуть, они обрушивали новый шквал, не делая остановки, не давая разобраться, на что мне отвечать: на вопрос о поломке ли, о погоде или о том, как я тоже рад их видеть. А они уже дружески подхватили меня под руки, подталкивая к выходу с явным нетерпением и даже, как ни странно, с каким-то опасением, которое я каким-то образом все-таки уловил, несмотря на всю сумятицу встречи.

Они не затихли и после того, как мы вышли. Более того, из машины, где оставался шофер, ко мне несся новый пенный прибор.

Я растерялся. Сначала я решил, что меня разыгрывают, что они вот-вот расхохочутся, хлопнут меня по спине, сделают паузу, и все пойдет нормально. «А что, собственно, нормально?» Все вроде и было нормально. «Может, они просто давно не видели новых людей, тем более с Земли, — вот у них и наступило что-то вроде шока», — успокаивал я себя, хотя ясно видел, что ничего похожего и в помине нет! Наоборот, они чувствуют себя легко и привычно, ничуть не затрудняясь таким способом общения.

— Трудно Себе Вообразить, — говорил один.

— Это Все Просто Не Стоит Голову Ломать, — в тот же самый момент говорил Второй Встречный...

Что было «трудно себе вообразить» и что было «очень простым», я не мог понять, хотя пытался следить за смыслом предложений того и другого, как и полагается вежливому гостю. У меня все путалось, смысл ускользал, потому что говорили они одновременно, с очень похожими, какими-то выработанными интонациями.

— Послушай Что Он Тебе Скажет Это Совершенно Удивительное Дело...

— Я бы На Твоем Месте Торопился Что Ты В Самом Деле, — в тот же самый момент говорил Первый Встречный...

В машине стало душно... За окнами мелькали какие-то радужные искорки, которые отвлекали меня, я все собирался спросить о них, но не находил удобного момента, чтобы прервать бредовый поток фраз. Потом за окнами закружились разноцветные вихри, мои спутники низвергли шквал слов, в котором я несколько раз услышал слово «пузыри», но понять, в какой связи они возникли и к чему относятся, не мог. Как они могли говорить с такой скоростью, уму непостижимо. Я узнавал в каких-то обрывках самые последние новости, все домашние дела, служебные неурядицы, забывая то, что услышал, погружаясь в новый беспорядочный водоворот предложений.

К счастью, мы уже въезжали в Город, и я попросил откинуть верх. Мне показалось, что с того момента, как машина покатила по улице, они приумолкли, если это можно так назвать. Я уже собирался с облегчением вздохнуть, как через открытый верх на меня обрушился новый, не менее мощный шквал шума: шум Города.

Может быть, я давно не бывал в нормальных городах и не общался с нормальными горожанами?! Может быть, мы все на базе отвыкли от принятой жизни, стали молчунами?!

Через каждые сто метров в Городе висели усилители, и все они передавали разные программы. Мои спутники действительно стали говорить заметно меньше, но это все не принесло облег-

чения, я понял, что зря роптал; когда мы ехали в машине, стояла райская тишина, слышалось только пение нежных птичек...

Неужели мой приезд причина такого буйства? Неужели я всему виной?! И, видя, как нам вслед что-то говорят, смотря, улыбаются, я был готов поверить в столь триумфальный въезд...

Когда впереди показалась площадь, забитая народом, видимо, так и должна была состояться ВСТРЕЧА, я приободрился, встряхнулся, пытаюсь оправиться от отупения, которое нашло на меня, чтобы достойно представить нашу базу, на большее я не претендовал.

Машина подъехала к небольшому помосту. Мы вышли. Нас уже ждали Официальные Представители Города. Я пытался сосредоточиться, шагая в такт музыке, может быть, надеялся, что от этого наступит некоторая упорядоченность. И еще я ждал, как глотка свежего воздуха, ТОРЖЕСТВЕННОЙ минуты — паузы. Я обнимался с Представителями Города, жал им руки, улыбался и не слышал ни одного слова, ничего из того, что они говорили, потому что шум не смолкал ни на секунду, а они тоже говорили одновременно, как и мои Первые Встречные.

«Нет! — думал я, думал и ждал только одного, хоть самой маленькой передышки. — Не может же такой гвалт продолжаться бесконечно. Вот сейчас, сейчас наступит ТОРЖЕСТВЕННАЯ минута, которая отделит суету подготовки от самого торжества. Сейчас все замолчат, кому-то дадут слово...»

Я ждал напрасно... Как только Официальный Представитель взял в руки микрофон, на площадь вышел еще один запоздавший оркестрик. Усилители, стоявшие чаще, чем на улице, тоже не прерывали своей программы, и я безуспешно пытался выловить голос выступающего. Самое нелепое, что по одному из ближайших ко мне усилителей в это время шла какая-то детская передача, я с трудом узнал стишок, который когда-то учил наизусть и теперь вылавливал его из речи Официального Представителя.

— Мы Счастливы, — слышал я слева от себя отрывок первого предложения, но тут же переключался на голос справа.

— Заходите в гости. Всегда рад вам буду.

— ИвсегдаМечталиВстретитьЗдесьУнаСтехКоторые.

— Дам вам съесть

Все, что есть,

Только не посуду...

— ИмыГордимсяЧтоЗдесьЗаТакойСрокДалекоОтЗемлиМыСами.

— Дам вам съесть, все, что есть, только не посуду...

— СпроситеЛюбогоЗдесьЖивущегоГорожанинаОнРасскажетКакМыСтроили.

— ДамВамСъестьВсеЧтоЕстьТолькоНеПосуду...

В ожидании ТОРЖЕСТВЕННОЙ минуты я пытался представить, какую блестящую речь произнесу в ответ на их слова. Но когда наступила моя очередь, бестолково выкрикнул что-то в пространство и без того забитое до отказа, поймал себя на том, что не говорю, а просто кричу, пытаюсь прорваться сквозь завесу звука, и толком ничего не могу сказать. А потом я почувствовал, что это, в общем, никого не волнует, никому моя речь не нужна. и вообще я только повод ПОГОВОРИТЬ, — так мне показалось в тот момент.

Несмотря на явный провал с речью, накал встречи ничуть не остыл, меня с прежним энтузиазмом довели до машины и повезли — должно быть отдохнуть, — я в этот момент уже плохо соображал, что происходит.

В комнату я вошел в полном оцепении. Единственное, что я сознательно попытался сделать, — выключить радио, но поскольку выключателя я почему-то не нашел, а рвать провода в первый день приезда было не совсем удобно, я завалил его подушкой, одеялом, плотно закрыл окна, замотал голову полотенцем и повалился на кровать...

Гул затих... И я, молодой и здоровый, проходивший тренировки на выдержку, провалился в какое-то странное забытие, ощущая в ушах остатки забившегося шума, как в детстве после промывания уха сильным напором воды. Было также непонятно: больно это или просто непривычно...

Должно быть, просто непривычно, потому что, когда я проснулся и открыл окно, прибой снова рванул ко мне в комнату, но он уже не был таким резким, — видимо, я все-таки успел немного адаптироваться... А внизу, в саду, гуляли люди чужого, незнакомого Города. И мне стало стыдно, что я так бездарно валялся, пока вокруг кипела жизнь...

Через несколько минут я был внизу и шел по одной из аллей парка... На меня поглядывали с любопытством; по каким-то неуловимым признакам даже в самом большом Городе легко узнать чужого, приезжего... А может быть, меня уже видели в телевизионной передаче? В роли знаменитости я выступал впервые, и то, что заслуги в данном случае лично моей не было никакой, кроме испорченного двигателя, меня смущало. Наконец я скромно присел на скамью. На другой ее половине сидела молодая женщина с ребенком...

— Сказку Сказку Сказку, — ныл ребенок...

«Жил на свете муравей. Он уже несколько дней не ел и был очень голодный, — без всяких раздумий начала мама. — Полз муравей по дороге, полз и вдруг увидел огромный амбар. В этот амбар ссыпали всю пшеницу. Муравей решил утащить из амбара пшеницы — и поест, и запас сделать.

Пробрался муравей в амбар, взвалил на спину пшеничное зерно и потащил домой. Муравей был маленький и мог унести только одно зернышко. Поэтому он вернулся в амбар, взвалил

на спину еще одно пшеничное зерно и потащил домой. Потом он вернулся в амбар, взвалил на спину еще одно пшеничное зерно и потащил его домой. Потом он вернулся в амбар...»

Теперь мне было понятно, почему мама так легко начала «рассказывать сказку». При этом она спокойно занималась своим делом: вязала, пересчитывала петли, а сказка развивалась своим чередом. Я все ждал, когда же малыш соскучится и завопит, но он молчал, прислушиваясь к тому, как муравей идет в амбар, с волнением ждет, когда муравей взвалит на спину еще одно пшеничное зерно, с нетерпением жаждет услышать, как он потащит спасительное зерно к себе домой... Я подивился такому выносливому малышу, и, поскольку зерен хватало на долгое время, я встал и пошел дальше, удивляясь все больше и больше уже другому: у нас парк — непременно тишина, спокойствие. Здесь же наоборот. И все дети почему-то были напичканы скучнейшими историями, вроде муравья, который тащил зерно, про белого бычка и про мочало, про старуху, которая пошла в лес...

«Ну, — подумал я, — если к этому приучать с детства, не удивительно, что потом вырастают Первые Встречные».

Спасаясь от шума, я свернул на совсем крохотную аллею, где не было никого, кроме одной-единственной девушки. Я остановился. Это была та самая девушка, которой так не хватает в чужом Городе. Я замешкался, перебирая в памяти все известные в таких случаях вопросы, обращения или на худой конец вежливые восклицания... Девушка дошла до конца аллеи, повернулась и пошла мне навстречу. Редкая девушка, гуляющая по парку в одиночестве, не бывает приятной или хотя бы милой — тут не ошибешься. Пока я судорожно придумывал, с чего начать, она уже стояла передо мной... и смотрела на меня... и не просто смотрела... Она сама что-то говорила, из-за шума я сначала даже не расслышал, что именно. Одно только смутило меня, почему я и замаялся: Она говорила что-то, глядя на меня, но выражение глаз, лица — все не имело ко мне лично никакого отношения, будто вообще Она обращалась и не ко мне...

Договорив, Она быстро повернулась, смутившись, если не испугавшись, и пошла обратно...

Я, конечно, поспешил догнать ее...

— Простите, я не расслышал, что вы сказали... И вообще, я здесь в первый раз, поэтому... Не могли бы вы...

Девушка обернулась с таким искренним изумлением на лице, будто вовсе и не Она первая заговорила со мной... Но тем не менее на вопросы мои Она ответила так быстро, будто давным-давно приготовила на них ответ.

— ДаЯпоняла, — сказала Она, — ВасСегодняВстречали. АПочемуКвамНикогоНеприставили? — Она говорила строго, но было видно, что Она все равно смущается, потому что понимала: провожатого мне, безусловно, дадут.

В оправдание я забормотал что-то совсем нелепое, именно оттого, что Она знала, кто я такой. Будь это у нас, я бы вел себя иначе. Но здесь, здесь мне позволили вольность, которую бы явно не позволили другому... Она заговорила со мной, потому что в ней «заговорил» долг жительницы Города перед Гостем...

К сожалению, в ней заговорил не только долг хозяйки Города, но и дух самого Города. Я почему-то надеялся, что Она-то будет менее говорлива, чем все остальные... Она должна была быть иной, но, увы!

Понять, что это, я не мог: то ли тексты, то ли стихи, то ли импровизации на детские считалочки, если не одновременно и то, и другое, и третье. Она повторяла их независимо от нашей «беседы». И, несмотря на ее неповторимый взгляд: чуть-чуть надменный и смущенный одновременно, я с каждым мгновением утрачивал всякое желание ходить с ней по Городу. Разговор наш, пока мы дошли до конца парка, стал абсолютно бессвязным и нелепым. Зачем-то я стал объяснять ей причину поломки корабля и все технические приемы посадки в таком случае, а Она делала вид, что ей очень интересно (так я и поверил)... Правда, глаза у нее были живые и внимательные, но тем не менее сама Она по-прежнему говорила без остановки, а я все хуже понимал, о чем именно... И чем больше Она говорила, тем грустнее и скучнее становилось мне. Я решил быть твердым.

— Простите, — перебил я ее. — Сейчас мне надо к себе, я очень рад, что встретил вас. Вот мой телефон... Нет! Лучше дайте мне ваш... А сейчас надо выяснить, какие официальные встречи... — последнее я врал так безбожно, что смутился сам и готов был в полной растерянности замолчать, но пауза, которая могла бы меня выдать с головой там, у нас, здесь не наступила. Она продолжала говорить вместе со мной. И закончила одновременно со мной; в руках у меня, к величайшему изумлению, был ее телефон, а Она, не подав руки, но кивнув, опять смущенно и надменно, повернулась, продолжая повторять то ли тексты, то ли стихи, которые я, болван эдакий, принял за обращение к себе... Ну и ну! Раздраженный столь неудачной вылазкой в Город, я возвращался к себе в комнату и думал, как это я сразу не догадался, что Она разговаривала сама с собой?! Бр-р-р! Даже трудно себе представить, какую надо иметь смелость, чтобы нарушить столь содержательную беседу...

У меня в комнате сидел Первый Встречный и еще кто-то, очень обтекаемый во всех отношениях, с каким-то застывшим блеском в глазах.

Они, не прерывая своего разговора, обратились ко мне, что я уже принял как вполне естественное явление. Теперь я заметил, что многое в их способе разговаривать было беседой с са-

мим собой, на что не требовалось ни отвечать, ни обращать внимания. Удивительно, но я начинал замечать оттенки и закономерности в том, что несколько часов назад казалось мне кашей.

Я начинал злиться. На что?! У каждого Города свои нравы, и мне ли проявлять нетерпимость?

Весьма кстати я выудил из потока, что Первый Встречный обращается ко мне, и ответил:

— Вообще-то мне не нужен сопровождающий: Город небольшой, я сумею в нем разобраться.

(Про себя я думал, что лягу здесь и больше никуда не выйду, пока идет ремонт, а может, даже уеду к себе на корабль — там спокойнее.) Мне хотелось отдохнуть, повеселиться, а не ломать себе голову над необычностью «этнографических» принципов жизни ненужного мне Города...

В это время хозяева энергично опротестовывали мои возражения, заодно обсудив, куда меня направить в первую очередь. Я невольно проследил, как за окном проезжает машина с каким-то унылым ноющим звуком, на ней стоял значок, мне удалось его разглядеть (что-то вроде разноцветного круга, похожего на мыльный пузырь, зачеркнутого крест-накрест).

— Что это? — любопытствовал я.

Первый Встречный кивнул в сторону Словоохотливого, желая мне успешного знакомства с Городом, потом из него посыпались какие-то дополнительные предложения, но я успел изрядно утомиться, внимание мое значительно притупилось, и вылавливать, что обращено непосредственно ко мне, что к Словоохотливому, не было сил...

«Скорей бы он ушел, с одним справиться проще», — думал я, вежливо кивая головой, и бормотал только одно: «Угу, угу, угу», — как младенец, пока со вздохом облегчения не закрыл за ним дверь.

— Скажите, — обратился я к Словоохотливому, перебивая его самым бесцеремонным образом, — почему у вас... почему у вас так шумно?

Словоохотливый споткнулся на ходу, как от неожиданно возникшей перед самым носом коварной веревки. Предложение его кувыркнулось, потеряло гладкость, он явно нес какую-то тарабаршину. Должно быть, он осмыслил мой вопрос, в то время как словопроизводство не прекращалось ни на секунду... Наконец он сообразил, за что надо ухватиться...

— А-а-а-а, — протянул он, показывая рукой на улицу, по которой прошла машина. — Это же специальная «Скорая шумовая», а у вас еще нет таких, неужели в самом деле нет?!

«Только шумовых нам не хватало! Должно быть, Словоохотливый считает все это нормой, и спрашивать его бесполезно, — думал я, — все равно что у рыб допытываться, почему у них так мокро...»

А Словоохотливый уже забежал далеко вперед и подробно объяснял мне, с чего лучше начать осмотр музея...

Помотав головой, как старая замученная лошадь, которая понимает, что с этим оводом ей уже ни за что не справиться, я покорно поплелся за Словоохотливым...

По коридору скользили дежурные, официанты, и все они тоже говорили на ходу, от чего в коридорах стоял гул, как в улье. Человек, ни разу не открывший рта, должно быть, казался им очень странным, все они обязательно оглядывались мне вслед, чтобы еще раз убедиться, что я иду МОЛЧА...

Я вспомнил наш базар, наш цирк, вспомнил наши вокзалы и попытался смириться...

Мы переходили из одного зала в другой, светящиеся карты сменялись чучелами, а голос Словоохотливого, добросовестно отрабатывающего свое почетное звание, сливался с голосом из радиоустановок, с небольшими изменениями повторяющим то, что говорил он мне. И я чувствовал, что все время безнадежно отстаю от него, несмотря на то, что шел сверхскоростной бег на месте, будто живу в другом измерении, на несколько минут позже...

Я твердо поставил себе: час-полтора — не больше, вот и все, больше я не намеревался его терпеть... Пусть они делают что хотят, пусть живут как хотят, я буду жить в своем измерении. Еще немного, и я не сойду, если скажу ему, что мне надо позвонить.

— А вот сделанный нами, обратите внимание, исключительно похожий, самая удачная имитация: ПУЗЫРЬ... Отличить невозможно — наша гордость. Работала целая лаборатория.

— ИсключительноПохожийСамаяУдачнаяИмитацияРаботалаЦелаяЛаборатория, — повторил голос то ли Словоохотливого, то ли из репродуктора — различить было невозможно.

Я вспомнил слова Первых Встречных, когда мы ехали в машине по степи, вспомнил «Скорую шумовую», как я понял с рисунком пузыря, и вот теперь... имитация... Что же это за пузырь такой?!

Как он все-таки ухитрился услышать мой вопрос, для меня оставалось загадкой. Но он снова споткнулся на полном скаку, будто наткнулся на неожиданно появившееся препятствие, речь, не теряя внешней гладкости, превратилась в абсолютно случайный набор слов.

— КакКакой?! — наконец выдавил он, — ВыШутите? НеужелиВыНеЗнаетеНеужелиВасЭтоНеИнтересовалоНикогдаСтранно!

И он очень коротко объяснил мне суть, все время поглядывая с некоторым изумлением, не пошутил ли я...

Единственное, что смягчило весь ужас описания, — неприужденность изложения. Он говорил легко и изящно: «В общем, это своеобразные лейкоциты (если искать сравнения), которые окружают занозу в теле, пытаюсь ее изолировать. Происхождение и состав пока неизвестны. На них действует только звук (как это было случайно обнаружено), причем структура пузыря не выдерживала звуковых колебаний именно человеческого голоса, и никакие механические приспособления не могли его заменить».

И он перешел к другой теме. Но я, конечно, уже не мог его слушать. Через полчаса он сам проводил меня до гостиницы, крепко пожал руку и оставил меня в покое...

Я сидел в комнате, оглушенный и потрясенный новостью... Встал, снова сел, пршшелся, снова сел. Он говорил об этом так же спокойно, как мы говорим о ветреной погоде, дождях, если они идут слишком часто... Но ведь это было хуже любого стихийного бедствия. Пузыри — ежесекундная, ежеминутная опасность. Все его примеры и пояснения, конечно, не могли дать четкой картины: я не мог представить, как радужные искорки могут сгущаться вокруг человека, сначала образуя что-то вроде мыльной пленки, которая потом густеет до стекловидной массы. Даже самая «точная имитация» в музее не могла испугать — слишком она красивая и безобидная на вид, — это тебе не какой-нибудь хищник, где ясно видны когти, зубы, щупальца или еще что-нибудь в этом же духе...

Но я видел, точнее слышал, последствия на каждом шагу — весь кошмар Города, все его странности сразу стали понятны. И так легко говорить об этом?! Мне пока ничего не грозило — как объяснил он, — для любого приезжего какое-то время существует временный иммунитет, пока идет усвоение или, наоборот, раздражение среды... А потом и меня может укутать радужный «пузырь», через некоторое время он остекленеет, и его оболочку уже нельзя будет ни распилить, ни расплавить... Только голос, только звук на самом первом этапе способны воздействовать на него... Каждую секунду знать о такой опасности, помнить о ней, бороться с ней?!

Мне стало стыдно, невыносимо стыдно за свое раздражение, злость, непонимание...

Они вынуждены защищаться — пусть столь странным образом, они вынуждены каждого человека обучать этой защите с детства. Их детишки боятся пузыря ничуть не больше, чем наши огня газовой плиты, грома или молнии... «Маленький муравей вернулся в амбар, взвалил на спину еще одно пшеничное зерно и потащил его домой».

Город спасал жизнь. И недаром они так торопились скорее отъехать от моего корабля, я еще тогда заметил радужные вихри вокруг машины. А они поехали, несмотря на опасность, — в Городе лучше оборудована защита, чем в машине...

А в парке?! Я все время вспоминал, как Она шла по аллее и говорила: может быть, читала стихи или вспоминала специально заученные тексты... А может быть, Она молчала?! А стихи или текст не имели к ней никакого отношения. Она просто гуляла и молчала...

Я снова замотал головой, но уже как совсем молодой жеребенок, который так занят своими мыслями и делами, что долго не может сообразить, с какой же стороны его кусает назойливый овод...

«Но почему они до сих пор ничего не придумают за столько лет, кроме такой непрочной защиты?! — думал я. — И еще пребывают в полной уверенности, что у всех если не то же самое, то очень похожее и ничего особенного в их жизни нет...»

Или просто перед Гостем неловко говорить о своих проблемах, мучить его своими страхами и опасениями, и они вежливо делают вид, что все ерунда?

Я поймал себя на том, что думаю сразу о двух вещах: почему они не ищут радикального средства, и имею ли я право позвонить ей?

«Боже мой, это все равно, что приставать к смертельно больному человеку», — думал я, набирая номер...

Мы стояли на балконе ее дома и смотрели на Город. Каждый звук был для меня теперь ревом «Скорой шумовой», когда знаешь, что кому-то плохо, кому-то надо помочь...

— И только тогда мне стало понятно, — закончил я...

Она тоже что-то говорила, но я не следил, вернее, старался не обращать внимания, что тоже было больно и трудно. Она каждую минуту боролась за свою жизнь, а я, защищенный временным иммунитетом, стоял и разглагольствовал о своих ощущениях...

Должно быть, Она догадалась, потому что положила руку на мою, мягко сжала ее, и в этом движении были снисходительность и сочувствие ко мне.

— Но почему вы не хотите перебраться? Разве нет другого места?! Другого Города?

Она как будто удивилась.

— А разве там, на Земле, люди не возвращаются вновь на те места, где лавой залило их дома, пеплом засыпало и отравило родных? Разве нельзя любить свой Город именно за то, что он такой?

— Ну а почему ваш Город никогда не обращался с просьбой о помощи, если сами ничего не можете придумать?

Она удивилась не меньше:

— А разве у вас нет неразрешенных проблем, с которыми вы тем не менее не обращаетесь к другим?!

Мне показалось, что и Она не понимает до конца ситуации, сложившейся в Городе...

Коль наверху, так наверху,
А коль внизу, так уж внизу,
А коль на полпути наверх,
Так ни внизу, ни наверху...

Я понял, что Она «молчит» (а может, в их молчании можно искать ответы). Если для них это так неважно, если Она считает все обычным?.. Нет, тут что-то другое! Может, Она просто не хочет пока говорить? Тогда надо разозлить ее немного, вывести из состояния снисходительного удивления моей наивностью...

— Может, действительно все гораздо сложнее, чем кажется, и нельзя пытаться понять сразу, — сказал я, улыбаясь, — но вот, например, представить, как можно целовать девушку, которая все время говорит, я не в состоянии... Разве это не затруднение?

— ...КольНаверхуТакНаверхуАкольНаПолпутиНаверхТакНи-
внизуНинаверху...

И опять я понял, что Она смешалась, и, наверно, взгляды ее опять стал смущенно-надменным, но я не смотрел в ее сторону... Успехи мои в понимании и психологии были значительными!

— Давай уйдем! — попросил я.

— Сейчас не могу, чуть-чуть попозже, посмотрим... Только постарайся не... МОЛЧАТЬ, — попросила Она серьезно, — мне все время страшно... Иду! — ответила Она громко и потянула меня за руку с балкона, где шумел и грохотал вечерний Город, изнемогая в борьбе с невидимыми пузырями.

Я страдал и жалел всех подряд. Каждое слово, как каждое движение сказочной Русалочки, причиняло боль. А потом я стал привыкать, потому что бестолковость и беспорядочность выкрикиваемых слов за столом — дело обыденное и знакомое. И вечер все больше напоминал наш обычный... Люди были веселы, они пришли отдохнуть, они жили привычной жизнью... И я все больше забывал о своем неуместном сожалении к ним, выискивая того, кто в этот момент разговаривал со мной, находил того, кому хотел возразить, бросал через плечо ироническое замечание соседу, но все же к концу вечера я, наверно, устал...

Из соседней комнаты проскакал на одной ноге мальчик, должно быть, ее брат, повторяя:

Раз картошка, два картошка,
Три, четыре, пять,
Шесть картошек, семь картошек,
Начинай опять...

Теперь понятно, откуда Она знает такое множество детских стихов.

РазКартошкаДваКартошкаТриЧетыреПятьШестьКартошек
СемьКартошекНачинайОпять.

Бедный маленький муравей, который должен взваливать на спину зерно и тащить его из амбара в дом... Как предусмотрительно было человечество, выдумав в беззаботные времена такие ненужные стихи для развлечения, из парадоксальности, неожиданно ставшие самым лучшим средством спасения жизни.

Он был очень увлечен своим занятием: пытался перескочить через чью-то ногу, поднял голову и увидел, как кто-то незнакомый МОЛЧА (!!!) смотрит на него.

Такое он скорее всего видел впервые. И наверное, он вспомнил все ужасные сказки о том, как идёт по дороге Молчаливый человек, а на него нападает пузырь.

Мальчик открыл глаза, потом рот, потом зажмурился... и заревел во весь голос, не переставая считать картошку.

Я нашел ее глазами. И меня снова поразило несоответствие взгляда, лица с тем, что ей приходилось говорить.

Да! Дело воспитания детей у них было поставлено хорошо. Не менее направленно шла и подготовка взрослого населения. С утра я прослушал Гимн Города, запомнив только несколько строчек, достаточно неопределенных в другой обстановке, но здесь...

Говори со мною вместе,
Говори со мной, как погаснут фонари.
Говори, о чем захочешь, говори со мной,
Говори со мной до зари.

Я вспомнил, что слышал песню на Земле, знал ее, но совсем забыл. И вот теперь узнаю ее в Гимне. Очень многое из нашей жизни оказалось нужным и необходимым Городу. Незаметное на Земле — безобразно разросшееся здесь... Потом я прослушал массу специальных пятиминутных передач-зарядок... Дальше шли специальные уроки: заучивались предложения на каждый день, отрабатывались навыки автоматического говорения. Я понял, какое это сложное искусство и как непросто им овладеть, особенно в такой степени, что Словоохотливый, он уже сидел у меня, никуда не торопил, но всем видом показывал, что готов куда угодно... К его автоматическому говорению я давно перестал прислушиваться...

Постепенно во мне снова стало расти вместо сожаления, достигшего вчера апогея, новая волна возмущения. Конечно, вчера новость обрушилась так неожиданно, я ее воспринял слишком

остро. Потом за столом сидели обычные люди, им хотелось веселиться и не думать об опасности, отдохнуть от всего, и это тоже было понятно...

Словоохотливый не наслаждался подобной формой существования, ему ничего другого и не нужно было: говорить, говорить, говорить... А вот думать — это качество он, видимо, давно утратил. И сегодня, зная, в чем дело, приблизительно понимая, чем техника автоматического говорения одного отличается от техники защиты другого, я в полной мере оценил достижения Словоохотливого. Его словарный запас был не очень велик, но по тому, как он умело соединял одни заготовки-блоки с другими, ему следовало присвоить титул Лучшего словосочетающего.

Совершенно неожиданно для себя, допивая чай, я попросил его проводить меня к ученым, которые занимались пузырями.

— НуЧтожТогдаИнститутОтпузыривания, — сказал Словоохотливый. — СловоНеВоробейНоПузырьРазбивает, — продолжал он как обычно без всякого перехода. В этом же духе он продолжал до самого института.

Меня сразу удивило то, что здание оказалось не самым примечательным. Так себе, серенький домик. Я ожидал увидеть громадное сооружение — надежду Города, где кипит работа, — и опять ошибся. В институте с первого взгляда поражала полусонная, ленивая атмосфера... Вместо ожидаемой мной экстренности, волнения, напряженности, оперативности — спокойствие, будто ничего особенного и не происходит, будто от их работы ничего не зависит...

Один из заведующих кафедрой водил меня по лабораториям и подробно объяснял, показывал, рассказывал о количестве высших научных степеней, о количестве работников, о том, сколько намерены принять выпускников на будущий год и проч., проч. Мне стало тоскливо, как от звука «Скорой шумовой», когда кажется, что машина ни за что не успеет вовремя.

— Да, конечно, комплексная, — перехватил он мой вопрос, — а как же иначе? Одни занимаются оболочкой, другие уже... последней стадией, — смягчился он. — Вот наша комната, — показал заведующий на толстые стены экспериментальной лаборатории.

— А какие крупные ученые из других областей занимаются пузырями? — спросил я.

— Вопрос поставлен не совсем верно, — назидательно выговаривал он мне, как первокурснику. — У них есть свои вопросы, требующие ответа, а проблема пузырей перестала быть областью теоретиков и перешла к практикам-экспериментаторам. К сожалению, скажу больше — сейчас тех, кто посвящает себя теме пузырей, становится все меньше — абсолютно бесперспективная область в науке.

«Как бесперспективная?» — хотел крикнуть я, но сдержался.

При чем тут он? Он занимается своей узкой проблемой: распределение радужных слоев на оболочке, и, может быть, придет к очень интересным результатам; другие занимаются максимальной степенью утолщения оболочки, тоже найдут очень много интересного... Я очень старался все понять, быть терпимым. Я был много моложе тех, кто занимался пузырями, у них была очень вредная работа — за это больше платили. И все же сюда шло все меньше и меньше ученых, потому что их умы увлекали горизонты, а не пороги на собственном пути...

И когда я увидел в одной из лабораторий шахматы, еду, понял окончательно, что пыл мой напрасен, ничего я здесь не найду. Если бы у меня в собственном доме каждый день непроизвольно возникал пожар, я бы, наверно, постарался привыкнуть к нему, устроиться настолько удобно, насколько это позволяет обстановка. И в этом не было бы кощунства, а была бы человеческая жизнь... Неужели ее назначение в том, чтобы научиться «претерпеть»?!

Я отказался обедать со Словоохотливым, который дожидался меня внизу. Мне не хотелось видеть, как человек говорит и ест одновременно, будто из хлеба, из размокшей во рту мякины образуются такие же бесформенные слова... Я попросил его отвезти меня на корабль... Словоохотливый выдавил какое-то скрюченное предложение, я брезгливо «расправил» его и все понял...

— Да, да! — там опасная зона, я обойдусь без шофера... — Конечно, все усилительные установки будут включены.

Он пообещал машину и ушел «разжевывать слова» один. Мне не хотелось есть. Вчера я долго не мог уснуть, а потом проснулся от какого-то сна, пытался вспомнить, что же мне снилось. Бред какой-то. Иду по пустыне, и вдруг из-за бархана выползает животное, похожее на гусеницу, только гигантского размера. Я все пытаюсь ее разглядеть, но не могу. А она все ближе и, главное, не оставляет за собой на сухом песке никакого следа, что меня почему-то больше всего удивляет. И вдруг я понимаю, что это вовсе не гусеница, а слово АмКвЫдЖоЮмАл, оно ползет прямо на меня. Я пытаюсь отойти в сторону, но слева на меня выползает еще одно слово-гусеница ЖлОвУкЦыФаР-Тим. И тоже никакого следа на сыпучем песке.

«Глупости, — думаю я, — чего их бояться, что они могут сделать?!» Но тут сзади — не то услышал, не то почувствовал — выползло НАпШоЧиГнЕуций. Я попытался увернуться, но они окружили меня, замкнулись, и получилась очень длинная и бессмысленная гусеница без начала и конца. АмКвЫдЖоЮмАлЖлОвУцЫФаРТимНАпШоЧиГнЕуЦыИА.

Круг стал сжиматься все теснее и теснее. Я испугался, инстинктивно чувствуя, что идет охота... Они медленно закружи-

лись вокруг меня, и я попытался проскочить в О, но она будто ждала этого, стиснула меня, как обручем, и потащила по внутренней стороне круга, так что в глазах замелькали ЫвУкЦФа-Пройчимс уже без всякого порядка, а Ж и Ш сверху решеткой закрыли небо...

Проснулся я с легким головокружением, может, от того, что усилители за окном разрывали воздух, — шла ночная обработка Города. Ночью вся тяжесть работы падала на усилители, что требовало невероятной энергии.

«Может, отоспаться», — подумал я. Но вместо этого вышел в вестибюль, старательно напевая что-то себе под нос, чтобы не привлекать внимания и не шокировать людей (в чем я начинал заметно преуспевать даже с большей легкостью, чем мне этого бы хотелось). Когда я положил трубку, машина уже показала в воротах.

На корабле было тихо. Невероятное, почти забытое ощущение. Тихо, несмотря на то, что шел ремонт. В дальнем конце возились два робота-механика, сновали тележки с управлением. Я просмотрел все записи машины, ничего исправить не пришлось, ремонт шел скорее, чем я предполагал. Неужели скоро улечу? Я вздохнул: и чего лезу в чужие дела? Что мне надо? Может быть, они сочувствуют мне больше, чем я им? И что я могу понять за несколько дней и что смогу изменить?

Раз картошка, два картошка,
Три, четыре, пять, —

громко считал я, —

Шесть картошек, семь картошек,
Начинай опять.

Я еще раз проверил все самым тщательным образом, как это оказалось кстати потом, сделал какие-то формальные записи в журнале о Городе. Что я мог там написать? Походил по кораблю и понял, что не могу дожидаться, когда будет шесть часов, чтоб вернуться в Город... «Вот так раз», — усмехнулся я. Но аккуратно подсчитал, сколько мне надо на дорогу, потом найти ее... Оставался лишний час... «Ладно, поем здесь», — сказал я себе...

Я вымылся, переоделся, отдохнул и снова почувствовал, что все на свете просто, нечего придумывать!

Выехал я на несколько минут раньше, чем хотел, поэтому вел машину не торопясь, представляя, как иду по парку, сворачиваю и вижу Ее... Или нет... Она подойдет...

Крошечное облако искр мелькнуло в воздухе, когда я уже подъезжал к Городу, но они рассыпались в одно мгновение, стоило мне в шутку рявкнуть: «Раз картошка, два картошка, три, четыре, пять!» Я выкрикнул считалку от избытка воздуха в легких, переполнявших меня чувств и въехал в Город под защиту усилительных установок.

Прекрасным картинам и сценам, нарисованным воображением, как всегда, не суждено было сбыться. Я все время ощущал какую-то напряженность в разговоре. И только потом понял, что Она из всех сил старалась говорить настолько меньше и медленнее, насколько могла, чтобы я не особенно чувствовал разницу. Должно быть, это стоило Ей невероятных усилий — как, наверно, мне пройти по канату под куполом цирка. И Ей очень хотелось, чтобы разговор имел какую-то «общность», поэтому обращала мое внимание то на одну «достопримечательность» Города, то на другую, что позволяло Ей говорить все время. Столь простую хитрость разгадать было нетрудно, я добросовестно подыгрывал Ей, рассматривал и разглядывал, задавал вопросы.

— А это Поэт, — показала Она мне на памятник, и даже назвала имя и фамилию, но я не обратил внимания, с иронической серьезностью оглядывая фигуру. Единственное, что меня в ней заинтересовало, — это странный материал, из которого она была сделана.

— Что это? — спросил я, совершенно машинально проводя пальцем по гладкой, даже скользкой, как стекло, поверхности...

— Поэт, — ответила Она растерянно.

Я не понял.

— Да нет! Из чего он сделан, из какого материала?

— Как «из чего»? — переспросила Она, и лицо ее сморщилось. — Я же говорю тебе Поэт... только...

Тут я начал догадываться, но поверить и осознать все никак не мог... «Он памятник себе воздвиг нерукотворный».

— Пузырь? — спросил я, не в силах продолжать.

— Да, — ответила Она.

— Встал на пьедестал, а к утру... памятник?!

— Да, — опять повторила Она, — было еще несколько таких, но их убрали. Этот, кажется, лучше...

Я не спросил, в каком смысле лучше. У меня не хватало духу снова взглянуть в ту сторону. А каково же стаскивать очередного Поэта с пьедестала?! И какова же должна быть у него уверенность в собственном таланте, чтобы не побояться воздвигнуть себе памятник?

— А эти? — неуверенно спросил я.

— Ну что ты!

«Эти» — были скульптурами спортсменов или простыми парковыми фигурами, типичными для всех парков. Они стояли неподалеку от памятника Поэту. Он из плоти и крови, они из бронзы, глины, камня, мрамора. В пропорциях они были, может, и лучше. А он стоял в нелепой величественной позе среди гипсовых фигур, будто ждал, когда они повернутся к нему.

Меня поражало то, что он стоял не на площади, вокруг не толпился народ. В небольшом парке, заброшенном уголке.

«Ну и что? — опять старался я убедить самого себя. —

А разве гениальные строки также не отбирают у Поэта часть жизни?! Разве иногда они не походят на такой же одинокий, затерянный памятник своему таланту, всю трагедию которого не в силах осознать позднейшие исследователи и почитатели?!

И все же... Поэт, покрытый стеклянной оболочкой, — замолчавший навсегда ПОЭТ. Замолчавший, чтобы его услышали. А может, призвавший МОЛЧАНИЕ, «наглядно» выразив слова другого поэта: «Мысль изреченная есть ложь?!».

Я наконец смог взглянуть на Нее, снова попытался преодолеть то, что стеной выросло между нами... Она продолжала говорить, но в глазах ее была та же грусть, что и вчера.

— Я обещала зайти сегодня вместе с тобой к приятелям, — сказала Она. — Конечно, конечно, — перебила Она мой вопрос, но тут же спохватилась и чуть-чуть прикусила губу, снова заговорив старательно, не торопясь.

А я думал о том, что у меня никогда не было такого необычного состояния, которое я бережно нес в себе, как жонглер свои бокалы на острых вертящихся стержнях...

Мы подошли к дверям какого-то дома... Мне никуда не хотелось идти, ни с кем не хотелось разговаривать. Но Она улыбнулась, и я понял, что мне все равно, лишь бы Она была рядом... Если бы не Она, я бы, наверно, сидел еще со вчерашнего дня в корабле и не рвался в Город. Не пытался бы ничего понять. Сейчас все стало и проще и сложнее; я все хотел объяснить, найти какой-то выход, хотя это и было слишком самонадеянным желанием, но в конце концов ученые Города — очень маленькая часть всех ученых, а люди Города — самая маленькая колония Земли... Но почему мне не дано просто ходить по улицам с девушкой, которая очень нравится... очень, и заниматься тем, чем занимаются тысячи влюбленных, вместо того чтобы думать о пузырях?!

«Разговорчики», — как назывались такие встречи, и вечера в этом доме отличались от всего, что я «слышал» до сих пор: в них была ирония и живость, изысканность и понимание...

Здесь ждали меня, и ждали специально, почему, я пока еще не знал: из любопытства или по какой другой причине. Нас встретил Скульптор. Пришли еще Друг, Знакомый и их Приятельница. Я уже не мог просто с сожалением и даже некоторым снисходительным сочувствием наблюдать и делать вид, что такой же, как и все, чтобы не смущать окружающих... Здесь наблюдали за мной. И несмотря на то, что я впервые замечал в глазах собеседников зависть к тому, что могу молчать и не бояться, могу говорить, когда мне хочется, я терялся. Мои слова становились важными, весомыми, и, как назло, ничего умного не приходило в голову.

Я виновато взглянул в ту сторону, где Она, жена Скульптора и их Приятельница разговаривали, оставив нас на время одних.

Скованность не оставляла меня, может, оттого, что высказывания Знакомого, как мне казалось, явно направлялись в мой адрес, хотя на первый взгляд могли показаться обычными заготовками на каждый день.

— Говорить всего труднее как раз тогда, когда стыдно молчать, — процитировал он...

Любое общее высказывание кажется чрезвычайно справедливым и точным, даже если оно средство автоматического говорения, именно поэтому Знакомый смущал меня все больше и больше... Должно быть, против меня лично он ничего не имел, но у него было явное намерение — заведомое я бы сказал — поставить меня не то чтобы на место, но как-то продемонстрировать независимость своей жизни от другой, может быть, прекрасной, но пока недоступной ему... Он не столько говорил, сколько «комментировал» нашу беседу с Другом Скульптора, который, напротив, был полон желания что-то выяснить благодаря этой встрече и тоже стеснял меня: что я мог сказать? К счастью, о пузырях они заговорили сами, сразу стало легче. Я сказал, что у каждого Города, конечно, есть свои неприятности, но о них знают все. Поскольку этот Город перестал быть пунктом пересадки и обособился, о жизни этой колонии землянам ничего неизвестно. И наверно, вместе искать защиту легче.

— Человек никогда не бывает так счастлив или так несчастлив, как ему кажется, — почти перебил нас Знакомый, иронически улыбаясь, новой цитатой, на которую и не требовалось отвечать...

Я подумал, что, к сожалению, человек иногда даже не представляет, насколько он несчастлив, — вот что плохо, иначе он старался бы найти выход... Но они-то представляли себе степень несчастья более чем остальные и тем не менее... бездействовали... Нельзя же такие разговорчики считать реальным поиском.

— Иной раз нам не так мучительно покориться принуждению окружающих, как самих себя к чему-то принудить...

По губам он, что ли, умеет читать? Не мог же Знакомый знать, о чем я думаю, к нашему разговору с Другом Скульптора это предложение никак не относилось... Или это ответы самому себе, тоже заготовленные «на каждый день», с тем отличием, что он составил их для себя сам, отыскивая близкие по духу... Многие сентенции он произносил совершенно не задумываясь... Но ведь в блоках и заготовках — как давно я успел заметить, — есть своя логика, и я научился угадывать, что выражает тот или иной блок...

— Чаще всего сострадание — это способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные, это предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас...

— Зло, как и добро, имеет своих героев...

Тут уж и остальные стали обращать внимание на искус-

ственность поведения Знакомого, хотя делал он все легко и изящно. Видимо, этот напористый стиль ему не был свойствен, а может, они боялись, что я не так пойму. Натянутость увеличивалась, несмотря на все усилия Друга Скульптора. Явно подразнивая остальных, Знакомый небрежно заметил:

— Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается, но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее.

Она, судя по всему, прислушивалась, потому что отошла от дивана, где остались сидеть жена Скульптора и Приятельница, подошла к креслу, где сидел Знакомый, шутливо потеревила его за волосы и спросила негромко: «Ты что, у нас вздумал изображать Мудреца?»

Я подумал, что это прекрасный повод перевести разговор, и спросил: «Мудрец? А кто это?»

Наступила пауза замешательства, мне, наверно, не следовало спрашивать об этом. Они ответили очень уклончиво, но тем не менее я понял, что Мудрец — единственная личность в Городе, которая нашла свой способ борьбы с пузырями.

Скульптор постарался мягко сгладить последнюю сцену в явно несостоявшейся беседе и знакомстве, и, чтобы завершить вечер, меня отправили наверх смотреть его работы.

Я приготовился к зрелищу фигур и старался заранее придумать, что смогу сказать ему, и даже не заметил, как осмотр уже начался.

— Вот, — сказал Скульптор, обводя рукой мастерскую...

Я посмотрел вслед за его рукой, но не увидел ничего, кроме колпаков разной высоты с ажурными прорезями...

— Можно подойти ближе, — мягко улыбаясь, сказал Скульптор, понимая мое недоумение...

Только когда я приник к одному из ажурных отверстий, очень строгому по форме, я увидел скульптуру, но не целиком, а только часть ее. Так как прорезь была довольно маленькой, я заглянул в другую. Мелькнула полуулыбка, но тут же исчезла в тени. Так — от одного к другому отверстию — разглядывал я скульптуру, постепенно составляя общее представление о ней. Фигура будто ускользала, не поддаваясь мне, оставаясь во многом «незавершенной» и оттого бесконечно совершенствуясь в моем сознании. Я создавал ее сам, постигая по частям общую форму.

«Интересно, — думал я, переходя от одного колпака к другому, — он придумал это в связи с пузырями или нет?! Противопоставление одной оболочки другой: открывающей и уничтожающей...» Я ничего ему не сказал, и молчаливое восхищение он принял с благодарностью.

Я не стал выяснять, зачем Она повела меня в этот дом... Я спросил ее о Мудреце и о том, почему вызвал своим вопросом замешательство...

К Мудрецу я пошел один... Правда, я так и не понял, как его найти, но зато у меня было одно преимущество перед остальными горожанами — я мог ходить за Городом спокойно, не боясь пузырей.

Я вышел рано утром... почти перед рассветом. Дошел до последнего усилителя и увидел блестящую вдалеке реку и рядом с нею деревья, камыши, траву. Я решил идти сначала до реки, а потом по берегу: вряд ли Мудрец будет сидеть в степи.

Все глуше доносились слова утренней передачи, а потом ее не стало слышно совсем. Я шел в какой-то неопределенной тишине, образовавшейся за чертой Города, а потом через некоторое время, когда приблизился к реке, впервые за много дней — и даже не только здесь, в Городе, а вообще — услышал, как шумят деревья. Звук был простой, но совершенно неповторимый...

Я шел вдоль берега, наслаждаясь забытым состоянием, и даже не вспомнил, зачем вышел, примирившись с мыслью, что это будет утренняя прогулка, как вдруг услышал голос... Я даже вздрогнул, настолько это было неожиданно, и остановился в нерешительности...

Мудрец неподвижно сидел в тени дерева и смотрел на воду, не отрывая взгляда. Я сразу подумал, что, наверно, ему сейчас, так же как и мне в детстве, когда смотришь в одну точку на воде, кажется, что не река бежит мимо, а ты сам вместе с берегами мимо неподвижной воды уплываешь в другую сторону. Не знаю, занимало ли его это: выражение его лица было таким отсутствующим, что я не мог сказать, стар он или молод...

— Мало приятного, — услышал я. — В знойный день принимать незнакомых людей...

Сначала я подумал, что он обращается ко мне, осуждая за непрошеное вторжение. Но через некоторое время Мудрец продолжал, видимо, все к той же теме «мало приятного»:

— Ходить в туфлях, которые жмут... Корпеть на экзаменах в жару... Быть закованным в цепи...

Это уже ко мне никак не относилось, но я все равно не знал, что мне сейчас надо сделать, и выслушал следующую порцию высказываний...

— Никому не расскажет: немой, что видел во сне... Провалившийся на экзаменах, что не выдержал из-за собственной небрежности... Лекарь, что болен неизлечимой болезнью... Знаменитый борец, что его избили...

Я приблизительно представлял, как должна происходить встреча с мудрецами: надо молча подойти и ждать, когда он обратит свой взор на пришедшего и скажет или сделает что-то чрезвычайно парадоксальное, из чего станет ясно, как надо поступать или, напротив, как не надо поступать... Я проделал то, что требовал от меня «этикет»...

— Навевает уныние: крик мула в глухой деревне... Свирель пастуха...

Стоя в тени дерева на некотором расстоянии, я не пытался даже поприветствовать его, потому что до сих пор не знал, заметил ли он меня. Выражение его лица оставалось по-прежнему неопределенным, но когда я присмотрелся, то уловил глубокое спокойствие, нарушить которое был не в силах, несмотря на то, что ситуация представлялась мне довольно нелепой. Полуодетый человек, о котором в Городе ходят смутные легенды, которого обвиняют неизвестно в чем. Сколько же ему надо времени, чтобы вернуться из запредельного мира и осознать появление некоего материального тела рядом с ним. Тела, которое имеет много общего с ним и ищет ответа на те вопросы, которые он для себя, наверно, уже разрешил...

— Неуместно: любоваться искусством палача во время казни... Глазеть на утопающего...

Никаких четких временных перерывов между фразами не было.

Он говорил, когда хотел, обдумывая мысль до конца. Может, он терпение мое проверяет таким образом?

— Нестерпимо: наблюдать за игрой в шахматы, когда запрещают подсказывать... Когда слушаешь несусветную ложь... Выздоровливающему смотреть, как едят то, что ему запрещено...

На меня он не обращал никакого внимания. А если все дело в том, что он говорил? И мне следует быть повнимательнее?.. Но пока я ничего особенного не заметил в его высказываниях.

— Ни на что не пригодны: дырявый горшок... Стоптаный ботинок... Прошлогодний календарь... Сломанная игла... Облезлая кость...

Это, положим, я и без него знал не хуже, но на звание Мудреца не претендовал...

— Кажется: летом, что от красного платья так и пышет жаром... Зимой, что зеленое холодит... Когда видишь тяжелый занавес, что за ним кто-то прячется... Возле дома мясника — запах крови...

Я продолжал слушать, надеясь, что это только начало... Одно

странно: наверно, действительно необходимо иметь полную уверенность в собственных силах, чтобы вот так, без всякой защиты, сидеть здесь, в то время как в Городе ни секунды никто не может обойтись без дополнительной помощи усилителей... У меня даже мелькнула мысль, а не прекратилось ли действие пузырей, чего никто не хочет замечать. Но нет! Я же сам видел радужные вихри вокруг машины...

Помолчав ровно столько, сколько требовалось для обдумывания следующего высказывания, Мудрец продолжал:

— Неприятно: плыть на лодке с рваными парусами... Резать тупым ножом...

Нет! Я зря жду... Ничего сказать он не хочет, или не может, или не считает нужным... А может, настолько уверен в исключительности своего пути, что не желает предлагать его другим или вообще не желает иметь дела ни с кем?! Но почему же его не терпят в Городе? Или он не терпит Город? Что особенного в том, что он говорит? Ведь сидит же он без всякой защиты, не торопится с высказыванием, если только не чувствует настоятельную потребность сформулировать очередное наблюдение... Он уверен, независим, спокоен, чего нет в Городе... Он будто учится говорить заново, открывая простейшие вещи, учится говорить только о том, что не вызывает у него сомнений... Ни на это не пригодны: дырявый башмак... Сломанная игла... Облезлая кость...

Я решил выяснить у Словоохотливого, прежде чем уехать, что же не нравится им в Мудреце. Мне казалось, что именно его ответ поможет составить полную картину ситуации, сложившейся в Городе...

Надо сказать, что я несколько преувеличивал свое впечатление от Мудреца и его способа борьбы с опузириванием, который сам так и не понял, для того только, чтобы расшевелить Словоохотливого и услышать настоящий ответ, — к счастью, я промолчал о Ней и о том, откуда я узнал о существовании Мудреца, — сделал вид, что наткнулся на него случайно, прогуливаясь по берегу, что наполовину было правдой.

Словоохотливый посмотрел на меня каким-то странным взглядом, высыпал, наверно, весь дневной запас предложений, засуетился, попросил подождать немного и... исчез.

Под сопровождение какого-то рассказа для детей я ходил по комнате, продолжая напряженно думать о Мудреце и о том, что я не понял там, под деревьями... Неужели я уже так увяз в мелочах, что не могу понять главного: как горожанин научился слушать других?!

Пока я упивался важностью собственных размышлений и значимостью моей фигуры, вернулся Словоохотливый. В нем было оживление, наконец-то подкрепившее застывший блеск в глазах. Искренняя доброжелательная готовность услужить исчезла. Появилась предусмотрительность... Такая же, какая появляется у человека, когда он собирается вернуть высокочившего хищника назад в клетку... Свои намерения Словоохотливый выразил тремя словами: «ВАС ПРИЗЫВАЕТ КОМИССИЯ».

Мне сразу не понравилось его поведение, я понял, что промахнулся. Посещение Комиссии не было запланировано, и оно могло появиться только после моего вопроса и рассказа о Мудреце... Впрочем, может быть, им нужны серьезные доводы и наблюдения. Но где-то в глубине души у меня зародилось сомнение относительно того, что эта Комиссия создана для борьбы с пузырями и Словоохотливый был приставлен ко мне не просто сопровождающим. Я подумал, что мне, наверно, лучше отправиться к себе на корабль, дожидаться, когда ремонт будет закончен...

— Сначала я должен съездить на корабль и посмотреть, как идет ремонт, — начал я.

Но Словоохотливый нежно мне улыбнулся: посмотрел в глаза, ласково покачал головой, и сказал, что вопрос очень важен, что чем скорее разберутся, тем лучше и т. д. и т. п.

Я уже привык к тому, что речь горожан чрезвычайно усложнена из-за необходимости издать наибольшее количество звуков в наименьшей смысловой фразе. Но начало обсуждения, которого мне пришлось дожидаться несколько дней, прошло как у молодого неопытного тигра, только выпущенного на арену: его многому научили, он знал приемы своего дрессировщика, но, оглушенный звуком оркестра, шумом толпы, шелканьем бича, все забыл, растерялся, стал неловко прыгать не на свое место: то забираясь на тумбу повыше, то, наоборот, ниже, чтобы укрыться от света.

Здесь шум оркестра заменили цитаты, которые обрушили на меня в первую же секунду. Должно быть, для того, чтобы я убедился, насколько это серьезно. Каждый из выступающих членов Комиссии, расположенной за столом против меня, начинал непременно с важности вопроса, потом обвинял меня в то-ропливости и нежелании понять всю глубину проблемы... Затем они рассказывали историю Города, трудности, которые преодолели колонисты, осваивая планету, как все любят теперь свой Город и дорожат его честью... — эту часть я уже знал наизусть, потому что она повторялась точь-в-точь у каждого, перемежаясь фразами на каждый день. Поэтому я не утруждал себя и свою память необходимостью следить за прихотливым

течением вводных слов и предложений, чтобы логично отвечать... Во всяком случае, меня охладило уже то, что они сами не слушали себя... Каждый бормотал свои тексты под двойным рядом усилителей, расположенных в зале заседания Комиссии. После нескольких часов я понял, что начинаю тихо тупеть... Во всяком случае, я надеялся, что буду принимать в этом Заседании хоть какое участие, но убедился, что и сами члены Комиссии принимают в нем минимальное участие.

Теоретическая идея претензий-обвинений ко мне была много мощнее практических выводов. Все походило на карточный домик, покоящийся на гигантском бетонном основании так, что сам домик терялся при исследовании основания. Для большей уверенности каждый из выступающих поддерживал предыдущего выступающего, следующий за ним присоединялся к нему, и так они кружились на месте. Обвинение превращалось в бесформенный, на глазах увеличивающийся ком, разобраться в котором было еще труднее, чем в пресловутом гордиевом узле... Во всяком случае, заключения я не дождался к концу первого дня Заседания — оно шло без публики. Следующий день был объявлен открытым днем. Пускали всех желающих.

Таких оказалось много. Но Ее в зале я не увидел. Не знаю, почему Она не пришла: то ли из боязни, то ли из сожаления. Я старался не думать о Ней. Я все думал, что надо сказать на моем завтрашнем выступлении, которое объявил Ведущий Процесс.

Но, как я понял, это все равно не было концом Заседания, он терялся в неопределенном будущем.

Этой ночью мне снова приснился сон. Я шел по саду, все деревья, трава, листья в нем покрыты льдом. Я наклоняюсь над одной веткой, вижу красивый узор на ее листьях, даже крошечные ворсинки, но сверху прозрачный, чистый лед... Я дохнул, как делал это в детстве, и лист оттаял. Тогда я склонился над другой веткой, дохнул на листья, и они оттаяли один за другим. И я счастлив, что все так хорошо, что можно так быстро и просто вернуть ясную зелень этому саду, но когда я поднимаю голову, чтобы осмотреться, то вижу, что оттаяла самая маленькая часть, а все остальное по-прежнему стиснуто льдом, а моего тепла и дыхания уже не хватает, холодный воздух начинает пронизывать меня, и в горле образуются маленькие кристаллики льда. Они режут язык, колют горло, и кажется, что лед проникает внутрь. Я стараюсь не дышать, но ощущение, что застываю изнутри, остается. Пришлось проснуться.

Когда зал успокоился, все сели по местам, и Комиссия заняла свои места, я попросил слова — услышал в ответ перечисление всех пунктов, параграфов и проч., по которым мое вы-

ступление откладывалось. Я сел и попытался слушать, чтобы не смотреть в Зал, где Ее не будет.

Довольно молодой человек, я бы сказал, с излишней пластикой объяснил, склоняясь то в одну, то в другую сторону, почему опасно появление Случайно Приехавших в Город... Он нудно бормотал, что я подрываю идею защиты Города, пытаюсь лишить Горожан их единственного спасения, а также разрушить единство, спаявшее жителей Города, выковавшее их своеобразие и особенности. Я пытаюсь уничтожить не только прошлое, но и будущее Города... — это уже повторяли не раз, можно было не слушать. Тем более что шум увеличивался волнами, музыка врывается в окна... Комиссия монотонно гудела на разные голоса за столом, публика — в зале... И так же, как тогда в первый день встречи, мне показалось, что и заседание — это всего лишь повод ПОГОВОРИТЬ...

Почему-то мне в этот раз не хотелось, чтобы наступила Торжественная минута. Вернее, я даже не представлял, что такое возможно. Я не смог произнести свое приветствие, но в Зале Комиссии я говорил, не смущаясь шумом, к которому привык, не затрудняясь от того, что меня не слышат и не слушают. Мое выступление так же, как и все остальные, тонуло в общем шуме. Снова я чувствовал, как рассеивается мое усилие, как неважно и незначительно произнесенное мною СЛОВО. Я, наверно, мог говорить что угодно, что мне вздумается. Речь теряла смысл, превращаясь в такую же формальность, как и остальные выступления. А меня это почти не возмущало.

И вдруг — о неожиданность! — мое выступление приняли с одобрением, даже заплодировали, кто-то, наоборот, завозмущался. И хотя прозвучал звонок, в зале еще долго оставался народ, обсуждая мои высказывания. Я шел по проходу в свою комнату над залом заседания, прислушиваясь к тому, что говорят в зале.

— По-моему, ему «заткнут рот», — солидно заметил один. Я не мог понять, почему он сделал такой вывод.

— А я вообще считаю, что нельзя пускать всяких проходимцев в наш Город, — зло говорил другой.

— Не знаю, не знаю, если бы он не умалчивал о многом, тогда можно было бы судить, — несло с другой стороны.

На меня нашла апатия, но где-то в глубине под ложечкой засосал червячок страха перед еще большей опасностью, пока неопределенной. Я постарался не обращать на него внимания.

А снизу из усилителя против моего окна доносился Гимн Города: «Говори со мною вместе, говори со мной... Как погаснут фонари. Говори, о чем захочешь, говори со мной, говори со мной, говори...»

В саду появился мальчишка — лица я разглядеть не мог, но он смотрел на мое окно — может быть, единственное на всем этаже, дальше шла глухая стена зала заседания... Не знаю, заметил ли он меня или нет, но его жест рукой, очень знакомый мне, я уловил: он натягивал рогатку.

Камень пролетел точно в комнату. Мальчишка скрылся в кустах — я не успел подумать, чего это он так испугался, потому что меня насторожил звук упавшего камня. Он был чем-то обернут. Так и есть... Записка, что ли? Я содрал ее, подержал в руках, не зная, спрятать ли и будут ли обыскивать, — такие мысли приходят машинально, после того как читаешь-ся детективов.

Но никто не приходил, и я, осторожно развернув ее, прочитал: «Сегодня вечером мы подъедем на «Скорой шумовой». Готовься. Доведем к окраине Города. До корабля будешь добираться сам».

«Она», — подумал я... Внутри будто открылись все клапаны, сердце заколотилось, кровь зашумела, как буйная река. А я уже поверил, что мне удалось забыть о Ней. Я почти убедил себя, что было только сожаление. Я даже посмеялся над собой, когда не увидел Ее в зале, над своими «бесплодными усилиями любви», над нелепостью того, во что стал вмешиваться. Пока я тихо жевал бумагу, глупая улыбка переползала с одной щеки на другую. И на Заседание мне стало наплевать. Оно меня уже не занимало. Я ждал вечера и думал о том, как мне уговорить Ее. Иначе я не мог бежать. Пусть это было самое эгоистичное мое желание, пусть оно было всего лишь оправданием для самого себя. Но я знал одно: если я вырвусь отсюда, то не смогу никогда объяснить себе, почему оставил Ее. «Я обязан увезти Ее силой», — думал я, забывая, что в машине Она будет не одна и, вообще, сможет ли состояться «похищение».

Шум все нарастал. Я знал, что к часу ночи он достигнет максимума и будет продолжаться до шести утра. Самая сильная обработка начиналась, когда Город засыпал. Соппротивление каждого горожанина ослабевало, зато усилители включались на предельную мощность, чтобы ни одна искорка не могла прорваться, сохранив свою структуру.

Впервые меня это устраивало. За таким грохотом не услышишь не то что шороха шагов, скрипа двери, гула машины, но и звука пролетающего самолета.

Я осторожно выглянул из окна, чтобы посмотреть, где находится охрана Здания, но никого не было видно. Подошел к двери, чтобы попробовать замок, но, к великому своему изумлению, почувствовал, что дверь поддается, — ее никто и не запирает. «Может, это ловушка? — осторожно всматривался я в глубь коридора. — Или... Если бы кто на Земле вздумал

предъявить обвинение в моей задержке, они могли бы смело сказать, что не запирали меня, не закрывали — я мог в любой момент уйти... Да, но мне-то это было неизвестно, и я бы ждал, когда они соизволят отпустить меня». Я рискнул выйти. Усилители разрывали пустые комнаты. Я дошел до зала. Эхо усилителей создавало впечатление, что там по-прежнему идет Заседание. Неприятное чувство.

Я не услышал, но увидел «Скорую шумовую», подъехавшую по одной из аллей парка.

Они говорили негромко, но напряженно, зная, что погони нет, но неизвестно, будет ли она. Предугадать трудно. Мое заточение, мой добровольный арест, о котором они догадывались, закончился. В машине сидели все те, которых я обвинял в бездеятельности, и мне стыдно было смотреть им в глаза. Но свое намерение я не оставил — я наклонился к Ней, глаза Ее были усталыми и внимательными, будто чего-то ждали, и сказал:

— Без тебя я не улечу... Я не смогу... Я не имею права... Пойми...

Она кивнула, объясняя что-то своему спутнику, но какое у Нее стало лицо...

Я не думал, что Она так быстро согласится, но и не ожидал, что у Ней может быть такое отрешенное лицо. Не знаю, как я выдержал. Больше я не проронил ни слова.

Ее спутники тоже все поняли и тоже не пытались отговаривать или что-то объяснять. Они не вмешивались, и я не мог понять, как они относятся к моему поступку. «Все равно», — думал я.

Машина, почти не снижая скорости, сделала поворот, дверь распахнулась, и нас мягко перебросили за ограду с помощью лестницы, которой собирались снимать меня с этажа, если я не догадаюсь выйти сам: она работала как рука, только суставов было больше. Мы едва удержались на ногах.

— Скорее, скорее, — просил я, хотя говорить Ей об этом не было необходимости. Она-то знала лучше меня, что надо торопиться, пока мое исчезновение не обнаружено.

— РазКартошкаДваКартошкаТриЧетыреПять, — забормотала Она, поднимаясь, — ШестьКартошекСемьКартошекНачинайОпять.

И вдруг я понял, что Она впервые осталась ночью за пределами спасительного Города, что ей не так уж и хочется бежать со мной неизвестно куда. Я слышал, как Она сдерживает слезы, и не знал, как успокоить ее, что сказать?!

Я крепко взял ее за руки, и мы пошли.

— РазКартошкаДваКартошкаНачинайОпять.

Она уже успокаивалась, но ее «картошки» добивали меня. Они сыпались на меня как из бездонного мешка. Так прошло минут пятнадцать. Мне показалось, что уже все позади, тревоги не слышно. Да и вряд ли кто ночью схватится. А к утру мы дойдем до корабля. Сейчас Она успокоится, и я объясню Ей все. Она поймет. И вдруг...

Она не взвизгнула. Она застонала от страха, втянув голову в плечи, и дернула меня за руку.

— Говори, говори. Немедленно говори!

Я сразу понял, чего Она испугалась: радужные искорки пронесли в воздухе. Красивый блестящий рой.

— Повторяй за мной, — сказала Она резким, злым голосом, — ты что, не видишь?!

Теперь я увидел их. Это были пузыри.

— Ты можешь делать что угодно и как угодно, — снова сказала она, — но сначала ты должен выбраться отсюда. Другие рискуют не для того, чтобы... никто ничего так и не узнал о Городе.

«Вот оно что, — сообразил я, — поэтому Она так отчаянно решила идти со мной. Они думали не обо мне и не о собственных привязанностях. Они думали о Городе. И впервые могли сделать для него хоть что-то».

Я шел рядом с Ней и повторял детскую считалочку. Она решила, что я ни на что другое пока не способен.

— КольНаверхуТакНаверху, — повторял я, — АКольВнизуТакУжВнизуАКольНаПолпутиНаверхТакНиВнизуНиНаверху...

Текст шел автоматически, а я думал о том, как был несправедлив к ним.

— АКольНаПолпутиНаверхТакНиВнизуНиНаверху...

Розовый пузырь лоснился блестящим боком. Второй таким же свинячим цветом отделял ее от меня.

В действительности пузырь не был столь красив, как мне представлялось. Он совсем не походил на детский мыльный пузырь.

Он был очень живой, очень хищный. У меня появилось настоящее чувство страха, как при виде самого опасного зверя, но я-то видел Памятник Поэту, я слышал звук «Скорой шумовой», видел, как учатся дети. Я был подготовлен, а каково же было им: тем, первым, которые столкнулись с пузырями неожиданно, на кого они безнаказанно могли нападать, пока не было никакой защиты?! И каково жителям Города ощущать эту опасность ежеминутно?! Только теперь, когда мой иммунитет неожиданно исчез (в самый нужный момент), когда я почувствовал прикосновение этого скользкого бока, я мог понять, насколько сильно развито чувство опасности у каждого из них... а я так долго искавший выхода для них, столкнувшись с пузырем, смог только повторить то, что считал заблуждением и ошибкой.

— АКольНаПолпутиНаверхТакНиВнизуНиНаверху...

Розовый бок становился все нахальнее, он уже толкал меня, терся о рукав. Омерзительное чувство заставляло иногда забывать о страхе. С ним не так-то легко справиться — это зажавшееся рыло нечувствительно к детским считалочкам, но что тогда?!

К кораблю мы подошли совершенно обессиленные. Но хотя во рту у меня все пересохло, хотя язык стал наждачной бумагой, раздражающей нёбо, я не смог сдержать радостного крика при виде трапа, опустившегося мне навстречу.

— Дошли, дошли, — воскликнул я, сбиваясь со считалочки, — Дошли! Немного, еще немного. Ну!

Я почти на руках вытащил Ее, задраил дверь, толкнул ее в кресло так, чтобы Она не мешала, и отдал команду машине.

«Если корабль не взлетит, — думал я первые тягостные и бесконечно длинные секунды, — им не так-то просто будет захватить нас». Но я зря опасался. Ремонт закончился, и машина пробудилась по команде.

— Ну вот, — сказал я, не оборачиваясь, по инерции все еще всматриваясь в указатели, — теперь порядок. Я могу передать управление автомату.

И тут я услышал, что Она говорит... Она снова возвращалась в свое прежнее состояние: снова чувство опасности и страха занимало ее всю, заставляло сжиматься в крохотную точку в самой себе. Она снова бомбардировала меня этой проклятой картошкой. Я повернулся, чтобы прикрикнуть на нее... Радужные искры носились по кабине, сплотились вокруг нее и подбирались ко мне.

— Что это? — воскликнул я в отчаянии. — Как они сюда попали? Ведь их не было, когда я приезжал. Неужели это мы их внесли сейчас как заразу?!

Корабль стартовал плавно и четко, так что меня только качнуло и мягко вдавило в кресло. Но это было жуткое чувство оттого, что искорки роились рядом, и казалось, что именно под их тяжестью вжимаешься в сиденье.

Тонкая пленка окружала ее, и радужная оболочка почти не вибрировала, становясь тем устойчивее, чем слабее ее охрипший, уставший голос.

Сначала меня охватила паника, а через некоторое время неизвестно откуда поднявшаяся неприязнь к ней, будто только с ней искры проникли в корабль. Я едва сдержал первый порыв. Но, когда я представил, что мы будем не только всю дорогу сражаться с пузырями, но можем и привезти эту заразу на Землю, только тогда я по-настоящему понял всю сложность нашего положения.

Должно быть, «шумовая обработка» в Городе не прошла даром, я услышал, как твержу вместе с ней совершенно маши-

нально: КольНаВерхуТакНаВерхуАКольНаПолпутиНаВерхТак
НиВнизуНиНаВерху.

А розовый свиной бок все равно подбирался ко мне, искажая все вокруг: рубку, приборы, кресло и Ее, — голова у нее стала расплюсненной, нелепой, глаза выпуклые, шея короткой, рот безобразно растягивался при каждом слове.

Я брезгливо скривился — такой далекой и чужой показалась Она мне, — забывая, что, наверно, так же безобразно сам выгляжу сквозь слой пузыря.

Гул пустого зала заседания, мимо которого я прошел, так поразивший меня, и окрепшее чувство, вернее, желание сопротивляться, которое пришло вместе с их запиской, все же продолжало биться, искать выхода, страстное желание освободиться от страха оттесняло страх.

— АКольНаПолпутиНаВерхТакНиВверхуиНиВнизу...

Лаборатория, ребенок, требующий сказку, скульптор... Одно воспоминание наплывало на другое, но ничто пока не подсказывало, что делать сейчас, в эту минуту.

Мудрец. Мудрец... Что же я не понял там, у реки?

— АКольНаПолпутиНаВерхТакНиВверхуиНиВнизу...

Он тоже вынужден говорить — его окружает зараза Города, но ведь деревья, трава, кусты — все остается нетронутым...

— ...ТакНиВверхуиНиВнизу...

Должно быть, только неестественное состояние жизни, каким, наверно, является Город, как заноза, впившаяся в тело Земли, вызывало нападение лейкоцитов — пузырей... Ни дереву, ни траве — ничему живому они не угрожали. Собаки и кошки, птицы и насекомые — они даже не знали о существовании пузырей. И как ни странно, совсем маленьким детям пузыри тоже не опасны. Чем старше они становятся, тем больше появляется шансов подвергнуться нападению пузырей, изолирующих гутердное тело от здорового тела Земли.

— КольНаВерхуТакНаВерху...

Но неужели наша бедная Земля получит ко всем своим несовершенствам еще и эту заразу?! Неужели наши бедные муравьята будут взваливать на себя непосильные пшеничные зерна.

— АКольВнизуТакУжВнизу...

И вдруг я вспомнил! Как же я не обратил на это внимание сразу? Я снова и снова, будто прокручивал пленку, возвращался к тому моменту, когда мы подошли к кораблю. Как шарахнулись радужные вихри от меня, когда раздался мой вопль: «Дошли! Дошли!» — как долго они роились вокруг, не смея подобраться ближе... Вспомнил Заседание Комиссии, унылые дни, в которых я увяз, как муха; сомнения, которые меня одолевали; как исчезла цельность первых дней приезда; вспомнил свой сон, когда лед и холод проникали внутрь... А передо мной было ее искаженное пузырем и ужасом лицо: выпу-

ченные глаза, в которых страх и отчуждение. Ни слова не слышно, только беззвучно открывается и закрывается по-лягушачьи растянутый рот.

— Послушай! — почти кричал я. — Послушай! Их не проймешь этими дурацкими считалочками, эти свиньи привыкли... Послушай. Ты слышишь меня или нет?!

Радужный бок задрожал, завибрировал.

— Я понял, — кричал я ей, озаренный открытием, — почему у меня исчез «иммунитет», — совсем не потому, что прошло определенное время, и я понял, кто такой Мудрец...

Оболочка дрожала, разъединяясь на отдельные мерцающие искорки. И казалось, что становится не так душно, хотя пот лил с меня градом. Звон в ушах начал проходить, я все более верил себе. Я понимал, что надо делать. Мы стояли на грани. И эта предельность решила всё. Оболочка уже показала свои слабые «места»...

Все более воодушевляясь, я говорил ей убежденно, уверенно, страстно, пытаюсь заразить и ее, хотя знал, что сейчас звук доносится до нее как сквозь несколько дверей.

— Мудрец должен говорить, как и все в Городе, но он говорит невыученные слова, он говорит и глупость, и просто то, что приходит ему на ум. Он добился той же естественности, что шелест листьев, защищающий деревья, журчание воды, спасающее реку, поэтому ему и не страшны пузыри даже ночью... Его атмосфера, которую он создал вокруг себя, такая же цельная, как природа... Понимаешь, в чем была ошибка всех, кто искал выход, — они искали его во вне, а не в себе...

— «Только глоток свежего воздуха, а не этого удушливого и спертого...»

Искры трепетали, исполняя какой-то затухающий танец...

Она смотрела напряженно, шевелила губами, но следила за мной, стараясь понять, что я говорю. Как, каким образом. Ей удалось сохранить это удивительное в Городе умение слышать другого, понимать его?!

В этот момент нас снова вдавило в кресло — корабль менял курс.

Она испуганно посмотрела на меня, и губы Ее, оставив детскую считалочку, выговорили то, что Ее действительно волновало в этот момент.

— Нет! Нет! — ответил я. — Нет! Все в порядке. Только не надо больше повторять эти дурацкие считалки, от них можно сойти с ума. Ну попробуй, говори только, что хочешь сказать мне.

Она побледнела от волнения и напряжения, и я знал, как трудно ей сейчас. Искры сомкнулись, и тонкая оболочка затрепетала над ней.

— А-а-а! — вскрикнула она с отчаянием. — У меня не получится... я не могу... я привыкла...

И тогда я повторил то, что сделала Она, обучая меня по дороге к кораблю.

— Давай так — тебе будет легче, — возьмем простую, самую простую историю. Пойми только, что не надо ничего особенного... Главное говорить то, что ты можешь назвать «своим». Пусть даже про этого муравьенка...

— Какого? — донеслось до меня.

Спрашивала Она механически.

— Это из ваших же детских программ. О том, как муравьенок шел по дороге и увидел амбар, как он взвалил на себя пшеничное зерно и потащил его домой.

Должно быть, я так хотел объяснить ей понятнее, что даже не заметил, как смешно изобразил этого муравьенка, чтобы Она быстрее вспомнила историю, показал, как он крутил головой и как взваливал на спину круглое зерно.

Она улыбнулась, я, обрадованный успехом, удвоил артистизм, снова показывая муравья, чтобы Она забыла о пузырях, об опасности.

И тогда она засмеялась робко и неумело. Первый раз при мне Она смеялась..

Оболочка дрогнула... и рассыпалась на тысячи искорок.

Мы посмотрели друг на друга изумленные и потрясенные. Даже я не предполагал такого эффекта... и захохотал оттого, что «пузырь тоже может лопнуть от смеха». Мы смеялись захлеб оттого, что страшный зверь оказался таким хрупким и непрочным.

Мы смеялись, освобождаясь от чувства зависимости, от того, что разделяло нас все это время. И вместе с освобождением пришла раскованность и естественность.

Мы говорили, перебивая друг друга, объясняя происшедшее, изумленно и потрясенно смотрели друг на друга, на чистую рубку, говорили, вспоминая о Городе, снова смеялись, почти без всякой причины, от чувства, теснившегося в груди, которое не могут выразить никакие слова. Иногда мы изумленно смотрели друг на друга: мы ли это?! Иногда я даже не слушал, что Она говорит, я слушал голос, мелодику, как Она выговаривает буквы, — и это объясняло больше, чем слова, и за всем этим забывалось, успеется найти нужное слово или нет. Я был уверен, что такой свободы Она не ощущала даже под охраной и защитой самых мощных усилительных установок, потому что впервые перестала бояться невидимого, но всегда подстерегающего пузыря, впервые Она осознала, как легко можно справиться с ним, даже не думая об этом.

Последние искорки забились в верхний угол и растаяли... Она даже не заметила этого...

Я отстегнул ремни кресла, и Она тоже, чтобы шагнуть ко мне, и вдруг кресло упруго оттолкнуло меня, и я почувствовал, как мягко плыву, потеряв верх и низ. Глаза Ее слегка

округлились от неожиданности, и Она тоже поплыла — я не предупредил о невесомости, точнее, забыл, потому что обычно успевал переключать на искусственную гравитацию... Может быть, и правильно сделал. Она впервые переживала невесомость. И у меня томительно сжалось сердце от сострадания к той тяжести, которую Она несла всю жизнь.

— Мне надо проследить за новым курсом, — сказал я Ей, — а ты отдохни, наверно, все это время было не до отдыха.

Она кивнула головой, рассказывая о последних днях.

Я не перебивал Ее, повернувшись к машине, проверяя новый курс, но и ничего не отвечал Ей. Теперь мне надо было ждать. С первой трудностью — говорить о том, что Ее действительно волновало, говорить естественно, — Она справилась; теперь предстоит еще большая трудность — научиться молчать, когда нет необходимости говорить.

Она поняла. Голос за спиной становился все тише и тише. Наступила первая короткая Пауза — Моя настоящая ТОРЖЕСТВЕННАЯ минута, о которой я так мечтал в Городе; но Она не смогла выдержать ее долго, снова что-то забормотала, как человек, давно не спавший, от напряжения никак не может поверить, что можно заснуть, он вздрагивает, открывает глаза, снова успокаивается, чтобы опять вздрогнуть через несколько секунд, пока окончательно не погрузится в глубокий уверенный сон. Голос прорывался все реже и реже, я не оборачивался, чтобы дать ей успокоиться и почувствовать молчание в самой себе. И вот долгая, долгая пауза... Тишина. О, какая она была наполненная. Я обернулся... Нет... Она не спала, Она лежала с открытыми глазами, слушая тишину.

Я тоже молчал и думал, сумеем ли мы сохранить такую атмосферу до самой Земли: атмосферу, в которой не сохранится, не законсервируется ни одна искорка пузыря. И не преувеличиваю ли я? Может, Земле эта опасность вовсе не страшна?!

ОЛИВЬЕ — ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

I

Вечером второй пятницы октября молодой человек, привыкший считать, что Дима — это и есть то, что он из себя представляет, гулял по улице и бормотал стихи, стараясь набрести на забытое обстоятельство или желание.

— Та-та-та та-та-та-та, купить, — бормотал Дима про себя какие-то строчки. — Хорошо бы чего-то купить!.. — И поправился тут же: — Да не «чего-то», а «собаку»!.. Вот там как: «Хорошо бы собаку купить!» Собаку... Купить... Хорошо бы... Вот это было бы действительно хорошо! — И поскольку за последние двенадцать часов это была первая мысль, показавшаяся ему действительно хорошей (может, и появлялись вчера какие другие, да забылись), то он немедленно шагнул к проезжей части и вскинул правую руку: — Такси!

Неторопливо проезжавший красенький «Москвич» с надписью «Социальное обеспечение» на дверце тормознул.

— В центр? — спросил Дима шофера.

— Пара рублей? — ответил тот вопросом, и Дима повалился на заднее сиденье, чихнув от поднявшейся пыли.

«Господи, и чем это тут только пахнет?» — мысленно ужаснулся Дима, но мысль о запахах вновь напомнила ему о собаке и вернула ощущение хоть какой-то уютиности бытия.

Через двадцать пять минут Дима был уже у старинного своего приятеля-доголюбца, а через двадцать пять часов Диму уже познакомили с Оливье.

К моменту знакомства с Димой Оливье было полтора года, и все эти полтора года он прожил у людей интеллигентных, обаятельных и умных до такой степени, что, когда в их институте встал вопрос, кого послать в двухгодичную заграничную командировку, никаких сомнений не возникло. Ребенка решено было оставить у бабушки, собаку брать бабушка категорически отказалась, и вот, уплатив весьма скромную сумму, даже не половину пятничного выигрыша, Дима оказался хозяином громадного пепельного дога с отличной родословной, великолепным характером и прекрасно обученного.

— Вы ведь понимаете, нам не деньги нужны, — говорил хозяин, торопливо, не считая, засунув в карман Димины червонцы: он спешил высвободить руку, дабы смахнуть набежавшую слезу, — нам нужна уверенность, что Олюшка — так мы иногда зовем его, — словом, нам нужна уверенность, что Олюшка попадет в хорошие руки...

— Конечно... — соглашался растроганный Дима, а Саша-доголюб, их общий приятель, тем временем нетерпеливо переминался с ноги на ногу, торопясь получить обещанный Димой портвейн.

— Вот здесь мы с тобой и будем жить, — говорил Дима вечером, открывая дверь своей квартиры и приглашая Оливье пройти первым. Он был слегка пьян от Сашиного портвейна, хоть и мало пил, зато говорил теперь чуть больше, чем обычно.

— Вот наша комната... — говорил Дима, снимая плащ и бросая его на диван, — а жить ты будешь... ну, скажем, здесь... Да, здесь будет лучше всего, в углу, у телевизора... Сейчас для тебя подстилку найдем... вот... будем, значит, жить с тобой похлостому, будем уют друг другу создавать, да?

Оливье молчал, разумеется, но от грусти ли только — трудно сказать. Конечно, ему тяжело было расстаться с хозяевами, такими милыми и заботливыми, да и не в том дело, каковы были хозяева, все равно Оливье не мог не грустить, но грусть свою старался не подчеркивать, понимая, что уж Дима тут совершенно ни при чем и не за что портить ему настроение, и без того не ахти какое, своей меланхолией. Итак, Оливье молчал, а Дима говорил непрерывно:

— Вот, уют, значит, будем создавать... Будешь у меня за домохозяйку... Чашки там мыть будешь, языком вылизывать... Половничок об мусоропровод вытряхивать и вообще... Блох нет? Хотя, что я, какие там у тебя блохи... Ну вот, живи... — Дима закончил сооружение подстилки из старого своего пальто. — Ложись сюда... — Оливье лег. — Удобно? — спросил Дима и, убедившись, что удобно, произнес уместное, как ему показалось, слово из собачьего лексикона: — Место!

Оливье понял, вздохнул, вытянулся и тем самым показал, что, по крайней мере, сегодня ничем больше досаждать хозяину не будет.

— Ну, вот и чудненько, — резюмировал Дима. — Ты полежи, а я попробую поработать. Над диссертацией. Знаешь, что это такое?

Оливье знал это слово, более того, услышав его, почувствовал одновременно и успокоение — не произошло резкой перемены среды, в чем до сих пор пес не мог не сомневаться. И Оливье, уложив голову на лапы, замер окончательно.

Дима тем временем выволок на стол свою старую пишмашинку «ундервуд» чуть не первых лет выпуска, заправил бумагу и решительно вывел заглавие: «ДИССЕРТАЦИЮ».

В напечатанном виде слово Диме понравилось, и он не очень умело, так как пользовался машинкой редко, подчеркнул его. Машинка повиновалась, и хоть и со скрипом, но довольно-таки ровную черту под словом провела. Это вселило в Диму окончательную уверенность в собственных силах, и он решительно подарил по клавишам, отчего на первых же словах у машинки отвалилась буква «ё». Дима расстроился, плюнул на диссертацию и включил телевизор. Увидев, что показывают, расстроился еще больше, телевизор вырубил, свет вырубил и, бросив псу прощальное: «Спокойной ночи!» — повалился на диван спать. Было довольно рано еще, но сон пришел скоро, навеянный портвейном, мерным дыханием Оливье и решением завтра же купить электрическую машинку взамен «ундервуда»: если покупать в кредит, то денег не только хватит, но еще и останется...

К середине ноября, когда снег лег уже основательно и прогулки начали доставлять Диме гораздо большее удовольствие, он окончательно подружился с Оливье. Беды и горести обоих то ли забылись, то ли притупились, во всяком случае, ни один о них не вспоминал, но каждый был занят своим делом — Дима исправно посещал службу, вечерами сочинял дальние подступы к диссертации, регулярно выводил гулять Оливье, отчего сам поздоровел, а из людей ни с кем, кроме сослуживцев и Саши-доголюбца, почти не общался. С Сашей они теперь особенно сошлись, часто ездили друг к другу в гости, но Дима все же чаще — и в центр легче выбраться, чем наоборот, и квартира у Саши двухкомнатная, по наследству досталась, да и просто веселее бывало у Саши, всегда кто-нибудь сидел, всегда о чем-нибудь болтали, а Оливье тем временем находился дома и, чтобы не очень скучать, воображал, что сторожит квартиру. Этим, в сущности, в отсутствие Димы все его занятия и ограничивались. Вот когда Дима был дома, дел у Оливье становилось больше: надо было слушать Димины болтовни, выполнять нехитрые команды типа подноски шлепанцев, наконец, самое главное, надо было создавать настроение, когда Дима садился работать, и это как раз у Оливье получалось лучше всего, пока однажды он не перестарался.

Это случилось, когда, постучав на машинке довольно времени, Дима ее выключил и потянулся к телевизору с намерением щелкнуть, и при этом мимолетно загадал: вилка в сеть включена или нет? И тут он увидел Оливье, который, держа вилку в зубах, тыкался ею о розетку, явно намереваясь включить телевизор. Когда это ему наконец удалось, он был немедленно повален на пол хозяином — к немалому удивлению Оливье. Тот пришел в восторг от такого нехитрого фокуса.

Последствия сказались уже на следующий день. Дима приволок с работы собственноручно вылепленный пульт управ-

ления телевизором — ящик крупноватых размеров с кнопками включения-выключения и длинным рычагом регулятора громкости. К концу вечера недоумевающий Оливье освоил всю эту механику, за что и получил поцелуй в нос, кусок пирожного и разрешение пользоваться телевизором самостоятельно в отсутствие хозяина.

Поцелуй Оливье обрадовал, пирожным он остался доволен, а вот телевизором воспользоваться что-то не поспешил — наверное, тот своим шумом помешал бы ему воображать, что он стережет квартиру.

А мозги Димы тем временем, раз заработав в направлении Оливье и механизмов, крутились теперь не переставая, и вот у Оливье появилась куча разнообразных занятий — он включал и выключал по команде все электроприборы, какие только имелись в доме, он стал выносить мусор на помойку, хоть в доме и имелся мусоропровод, но зато для этого ему пришлось выучиться пользоваться лифтом, наконец, Дима стал приучать его брать телефонную трубку по звонку, класть на столик и говорить в нее «гаф», что у Оливье, поскольку был он догом, а не шавкой, получалось как «гоу!».

Теперь Дима приставал ко всем сослуживцам с просьбой набирать свой номер, те набирали, лай Оливье и ум его хвалили, но остыли к этому занятию значительно раньше Димы и набирать номер впредь, хоть дело и происходило в рабочие часы, наотрез отказались. Таким образом, одна из забот Оливье уменьшилась, хоть и не исчезла совсем: во-первых, Диме звонили порой и не только для того, чтобы послушать Оливье-ное «гоу», а во-вторых, разве редко люди попадают отнюдь не туда, куда рассчитывали, опуская последнюю свою двушку в автомат? Вот и к Диме попадали так частенько, и тогда, слышав в трубке какое-нибудь: «Алло, Сидора Моисеевича, пожалуйста!», Оливье лаял с особенным удовольствием. Получались ли из-за этого инфаркты, Оливье знать не мог.

Кончилось дело тем, что Саша позвонил Диме на работу и осведомился:

— Ты что, заболел шизической френией? Немедленно отучи собаку заниматься ! — и Саша употребил непечатное, но весьма выразительное слово.

Если бы Дима его послушался!

Теперь Оливье говорил свое «гоу», только если Димы не было дома; если же был, то Оливье не говорил ничего, а только клал трубку на столик, и ее подбирал Дима. Так шло до тех пор, пока какой-то неприятный знакомый не поймал Диму своим звонком и не проморочил ему голову с добрых полчаса.

— Эх, собачка, — сокрушенно молвил Дима, кладя наконец трубку, — что ж ты не сказал, что это Мотыль звонит?

И с этого вечера идея научить Оливье разговаривать перешла в Диме из латентной фазы в открытую.

Конечно, у Димы и не возникало бредовой идеи научить собаку изъясняться глоткой — не годится собачья глотка для разговоров, и баста, и Дима это знал не хуже нас с вами. Даже увиденный как-то по телевизору казус не переубедил его, а легкость, с которой новая электрическая «Оптима» фиксировала Димины мысли на бумаге, с самого начала внушила ему намерение научить собаку писать. Для мышления необходима вторая сигнальная система, то есть речь, но кто сказал, что речь может быть только акустической? Да никто не говорил! Нам это просто кажется естественным, поскольку соответствует нашему естеству, но и только! Слово — это символ, знак, а знак в принципе может быть каким угодно, и все с этим согласны в принципе, а вот научить собачек писать почему-то до сих пор в голову не приходило... И Дима взялся.

Не стоит сейчас останавливаться на трудностях чисто технических, типа переоборудования машинки и присоединения к ней панели с крупными клавишами, пригодными для собачьих лап, не стоит поминать о проблеме «Как закладывать бумагу?», тем более что пока она преждевременна, не стоит говорить и о том, как Дима заработал отвращение к колбасе, демонстрируя собаке награждение умной особи, умеющей написать слово «еда»... Увы, этой умной особью только он сам и был — Оливье никаких слов не писал... Он только грустно смотрел на Диму, иногда вилял хвостом, иногда вздыхал, а порой пытался вынести на помойку полупустое мусорное ведро — словом, выражал полную готовность служить и впредь с максимальной отдачей всех своих собачьих сил, но служить именно в рамках собачьих сил.

И ведь что обидно — алфавит-то освоили просто прелесть как быстро! Всего несколько дней, и Оливье в ответ на любой четко произнесенный звук уверенно бил лапой по нужной клавише, а бить по клавише в ответ на предъявление изображения буквы он научился еще быстрее и показал великолепную способность к запоминанию. А вот складывать из букв слова...

Наконец числа 15 января, когда Саша позвонил Диме и позвал его на дачу отмечать прошедший Новый год по старому стилю, Дима плюнул на все и поехал, поручив Оливье заботам доброго соседа-пенсионера.

Когда расставались, Оливье посмотрел на Диму хоть и молча, но так печально, что того немедленно стала есть совесть, но тут же возникло и раздражение:

— Да что ты мне, жена, чтобы и уехать уже от тебя не мог!? — воскликнул он и хлопнул, выходя, дверью.

С дачи Дима вернулся спустя неделю, утром, и отправился с вокзала прямо на работу, к начальству, за разномом и отпущением, по получении которых приступил к службе,

с увлечением пересказывая сослуживцам дачные перипетии.

Попад наконец домой и звоня к соседу, у которого оставил ключи, Дима впервые ясно вспомнил об Оливье и тревожно подумал, а подумав, произнес в лицо открывающему дверь Ивану Петровичу:

— Ну, как он тут?

— Исключительно умный пес! — умиленно ответил тот, узнав Диму. — Мы прекрасно провели время, просто прекрасно!

— Дома он сейчас? — кивнул Дима на свою дверь. — Когда один оставался, не лаял, не шумел?

— Да что вы! — замахал руками добряк пенсионер. — Я вообще его голоса не слышал! Тих как мышка!

«Телевизора без меня, значит, не включал, — думал Дима, вставляя ключ в замок, — действительно умница!», а Иван Петрович тем временем скромно скрылся, не желая нарушать интимной радости встречи после долгой разлуки.

Оливье стоял за дверью. Убедившись, что открывает именно Дима, а не кто другой, и увидев наконец драгоценного своего хозяина на пороге, пес разразился таким бешеным лаем, с такой стремительностью бросился к Диме и стал лапами ему на плечи, что едва не свалил того с ног, но гораздо больше на Диму подействовала огромная, бушующая радость, которую проявила собака, и Дима аж прослезился от умиления и подумал: «Ну зачем такому речь? И так ведь весь как на ладони!», а Оливье вдруг соскочил с него и бросился в комнату, и, пока слегка опешивший Дима расстегивал пальто и снимал шапку и шарф, из комнаты вдруг донесся стук машинки, небыстрый, но ровный и уверенный. Дима замер.

Оливье вернулся в прихожую, держа в зубах лист бумаги, на котором заглавными буквами значилось:

«БУДУ ПИСАТЬ, РАЗ ТЫ ХОЧЕШЬ».

Дима вспомнил, что в таких случаях от изумления полагается делать что-нибудь несуразное, и так как ничего оригинального в голову не пришло, то он просто уселся на мокрый коврик.

II

Вот что интересно: откуда у Якова Борисовича такие деньги?

Рассказывают, скажем, про всяких кладовщиков, что воруют безбожно, и про заведующих всеразличными базами, что с завидной регулярностью занимаются пересортицей, так не Якова ли Борисовича имеют при этом в виду?

Увы, точно ничего мы про это не знаем и скорее всего самостоятельно узнать никогда и не сможем, да только неважно это — на суде все выяснится, и не только выяснится, но и огласится в общей части приговора.

Зато мы точно знаем, что деньги у Якова Борисовича есть, немалые деньги, правда, какие именно, этого Яков Борисович нам не скажет. Более того, он этого даже своей жене, будь у него жена, не сказал бы. И куда он их деваает, не сказал бы. Во всяком случае, особенно не тратит, не из осторожности, не из скупости, просто не тратит потому, что деньги ему нужнее, чем то, что на них можно купить. Но, как и у всякого смертного, помимо главного призвания, есть в жизни Якова Борисовича и увлечение поменьше, хобби, так сказать, хоть и связанное с основным Якова родом деятельности хобби, — любит Яков замки. Замки, запоры, сейфы и все такое, и как человек, не чуждый прогресса, предпочитает он все самоновейшее, электронно-лазерное, чтобы ни одной трущейся детали, а только кнопки с цифирью, ни для кого, кроме Якова, не понятной. И не собирает он ни марок, ни инкунабул, не гоняется за редкими пластинками с автографами Рихтера или Карузо, зато на входной двери, на дверцах сейфов, платяных шкафов и тумбочных ящичков, и даже на туалетной двери Яков Борисович установил чуткую и разнообразную сигнализацию. В ответ на всевозможные действия предполагаемого злоумышленника сигнализация готова была разразиться сигналом воздушной тревоги, боем курантов, пронзительным женским визгом: «Газы! Газы!», петушиным криком, лошадиным ржанием, собачьим лаем, пожарной сиреной, и в довершение ко всему однажды утром взбесившаяся дверь в ванную комнату наградила Якова таким мощным электрическим разрядом, что пришедший в себя через час Яков Борисович немедленно этот вид превентивной обороны по всей квартире истребил, дважды при этом оказавшись на волосок от гибели.

Расстроившись, Яков Борисович решил не ходить в этот день на службу, а вместо этого пообедать в неурочное время, для чего и отправился в молочный магазин за кефиром.

Было это ранней весной. Всю недолгую дорогу до магазина Якову Борисовичу, ослабленному неожиданными и сильными переживаниями, приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на льдистой дорожке в результате заморозков и дворничьего нерадения. Необычно возбужденный и даже слегка одурелый, Яков Борисович тихонько ругался себе под нос, упиравсь взглядом в скучные носки своих башмаков, и это занятие заворожило его настолько, что, и очутившись в магазине и стоя в очереди к прилавку, он только и делал, что смотрел себе на ноги и чего-то бормотал, почему и не заметил сперва, за кем именно ему довелось стоять. Поэтому, услышав возглас продавщицы: «Гражданин, помогите собачке сеточку подержать!», он сперва машинально взялся за одну ручку авоськи, все еще не видя, кто держит вторую, и, лишь когда продавщица стала укладывать в авоську две бутылки молока и банку сметаны, он, провожая взглядом ее руку, разглядел

наконец, что с той стороны за авоську держатся не чьи-то пальцы, как следовало ожидать, а громадные собачьи клыки.

Казалось бы, что тут особенного? Кому не приходилось слышать, или читать в газетах, или видеть по телевизору собак, самостоятельно посещающих магазины? И не в том дело, что к досужим разговорам Яков Борисович не прислушивался, газет не читал и телевизора не включал, а просто слишком большой неожиданностью для и без того шарханутого Якова Борисовича это явилось, вот он и разжал пальцы, а бутылка из авоськи выскользнула и, понятное дело, разбилась.

Изумление Якова Борисовича было до того велико, а может, подействовали и убедительные клыки Оливье, но, в общем, ущерб собачке он возместил безропотно, тут же уплатив тридцать копеек за новую бутылку, и бережно помог уложить ее в авоську. Оливье неторопливо удалился, а забывший про свой кефир Яков Борисович принялся расспрашивать продавщицу об этой удивительной — надо все-таки признать — собаке.

Персоналу магазина Оливье был хорошо знаком, а рассказывать и слушать про него было слишком большим удовольствием, и потому ни очередь за Яковым Борисовичем, ни уборщица, которой он, стоя у прилавка, мешал убирать, не препятствовали Якову удовлетворить свое любопытство. И вскоре он узнал все, что могла рассказать про Оливье восторженная продавщица и добавить к ее рассказу уборщица, что пес стал появляться впервые месяца два назад, что зовут его Олей, что раз в неделю с ним приходит его хозяин, очень милый молодой человек, и за все сполна расплачивается за неделю вперед, потому что собаке платить и получать сдачи мелочью неудобно, а вот где они живут, продавщица не знала, и уборщица тоже, но тут вмешался один мальчишка и, ликуя от своей осведомленности, вызвался, жертвуя своей очередью, показать балкон, на котором он часто видит Оливье, громко восклицая при этом, что это тут, недалеко, в третьем корпусе.

Оказалось и вправду недалеко, и вот Яков Борисович, сориентировавшись по балкону, стоит уже перед дверью Диминой квартиры и, повторяя про себя: «Купить! Купить его!», нажимает на звонок.

Димы, натурально, не было дома, но дверь все же отворилась — открыл ее Оливье, и он же за нею и стоял.

— Хозяин дома, умница? — сладко спросил Яков Борисович, а сам еще больше уверился в необходимости купить этого умелого пса. — Так дома хозяин-то?

«А тебе какое дело?» — хотел спросить Оливье, но не счел нужным.

— Нету, значит? — понял Яков Борисович. — А вечером он будет?

«А куда он денется?» — подумал Оливье, и хоть снова ничего не сказал, но Яков Борисович его опять-таки понял.

— Тогда я вечером зайду, — заключил Яков Борисович, и поскольку свое: «А зачем ты здесь нужен?» — Оливье произнес только мысленно, то Яков Борисович спокойно повернулся и отправился домой, радостно возбужденный и все приговаривая «Его обязательно надо купить!», и даже готов был напевать эту фразу, если бы только умел он напевать, до того она ему нравилась.

И еще одна маленькая радость посетила его, когда он обнаружил, что бумажка, которую все это время мяли, но смяли не чрезмерно его пальцы, не просто бумажка, а чек из магазина на кефир. Действительно, как тут не обрадоваться, ведь мог же и выбросить впопыхах-то целых тридцать копеек, и заспешил энергично Яков к магазину, и успел до начала перерыва, и получил свой кефир без провололочек, и домой он пришел уверенный, что все ему удается и что судьба, у которой до сих пор все благодеяния приходилось буквально выцарапывать, кажется, становится наконец к нему благосклонной.

— Видал? — спросил вечером Дима, проводив Якова Борисовича. — Твою голову оценили в семьсот рублей! Интересно, откуда у этого замухрышки такие деньги?

Как видим, не только нас интересовало происхождение денег Якова Борисовича. Ничего, скоро и ОБХСС заинтересуется, а вот Оливье к их родословной отнесся равнодушно.

«Не важно «откуда», — изрек он, — но важно «куда»!»

— Ну, ты излагаешь! — восхитился Дима. — Эдак мне придется начать писать книгу: «Оливье. Афоризмы и максимы». И кстати, что ты имеешь в виду?

«Я имею в виду...» — начал Оливье, но следует объяснить, каким именно образом он начал.

С того вечера, как Оливье заговорил, или, вернее, записал, и тем самым состоялось Великое Пробуждение Собачества, и на Земле появился второй вид разумных существ — Канис Сапиенс, говорить, или писать, Оливье приходилось много. Настолько много, что от машинки друзья при прямых беседах вскоре вынуждены были отказаться; они перешли на морзянку, которой Дима, в прошлом радиолюбитель, владел более-менее сносно, а Оливье очень скоро овладел в совершенстве и стал отбивать точки-тире что лапой, что хвостом со скоростью не меньшей, чем у любого радиста-виртуоза, способного отбить и принять черт знает сколько знаков в минуту. Ну а от Димы виртуозного стука и не требовалось, он говорил нормально, а в общем, уже через пару недель друзья овладели своим способом общения настолько, что стали разговаривать совершенно свободно на любые темы — запас слов у Оливье оказался достаточно большим, память и восприимчивость великолепными, и читать книги он выучился с той же стремительностью, с какой

делал вообще все, что делал, пользуясь для этого специальным пюпитром и листая страницы языком.

Первое время друзья просто радовались, что наконец-то поняли друг друга, и эта радость помогала преодолеть неизбежные начальные трения, вызванные превращением вещи в субъекта. Трения, а вернее, малюсенькие толчки, возникали по поводам самым разнообразнейшим, скажем, уже в первый вечер Оливье попросил Диму не курить, по крайней мере, в комнате, и Дима едва не вспылil, но сдержался, погасил сигарету. Не склонный к самоанализу, Дима не задумался над причинами своей сдержанности, просто приписал ее к своим достоинствам, и успокоился — Оливье пришлось тяжелее. Куда более чувствительный и рефлексивный, он мгновенно понял, что основа сдержанности — страх. Да, да, самый вульгарный страх — не забывайте о размерах Оливье и о том, что теперь он уже не был автоматом, запрограммированным на слепую любовь и безусловное подчинение, но был существом со своими запросами и свободой воли! К счастью для себя, Дима не полез в такие тонкости, к несчастью для себя, Оливье для того, чтобы чувствовать такие тонкости, никуда не надо было лазить... Состояние его легко себе представить — вообразите только, как-то бы вам пришлось, если бы самое любимое вами существо хоть на мгновение, хоть безотчетно, но испугалось вас, и притом именно ваших зубов и когтей!

К счастью, существо, в данном случае Дима, ничего не заметило ни в себе, ни тем более в Оливье, чья мимика была для Димы одинаковой и непонятной почти совершенно. Столь же быстро, сколь мимолетным был страх Димы, Оливье все это осознал, убедился в своей закрытости для Димы, то есть, вообще говоря, в своем преимуществе, и от этого ему стало еще хуже, но вскоре все утряслось и успокоилось, и в дальнейшем отношения стали складываться по формуле, предложенной Оливье, но устраивающей обоих: «Мы друзья, но ты командир».

Итак, Собачье Пробуждение состоялось, и настало время подумать об его последствиях и о формах его расширения, и на этом этапе Дима проявил больше осторожности и предусмотрительности, не стал трезвонить по всем углам, что вот, дескать, появился у меня говорящий пес, сам, дескать, научил, но порешили они с Оливье первое время сидеть тихо, а Дима пусть разнюхает мнение специалистов на сей счет. Словом, к рекламе Дима не спешил, помня, что еще ни один клоун никогда не получал Нобелевской премии и вряд ли когда получит, а Оливье — тот просто не был заинтересован в рекламе, у него не было причин торопиться заявлять о своих новоявленных способностях, но, наоборот, его не оставляло стремление сперва самому получше во всем разобраться.

Мнение специалистов на сей счет оказалось единодушным: «Бред!» Так Диме заявлял любой специалист, какого ему уда-

валось вовлечь в беседу на эту тему, — и специалист по собакам, и специалист по разговорам, и любой другой специалист, в какой бы форме ни пытался Дима преподнести ему свой феномен: в форме ли анекдота, или в форме предположения, или даже просто в форме: «А вот мне рассказывали...»... Все равно ответ бывал кратким и удручающим: «Бред!»

— Да, Олюшка, — жаловался Дима вечерами, — не спешат и не поспешат давать нам с тобой Нобелевскую премию, не верят они в тебя, в лучшем случае про рефлексы твердят... А так хотелось бы славы!

— Да, слава — вещь хорошая, — соглашался Оливье.

— Вот видишь! — радовался Дима поддержке.

— Еще как вижу! — подтверждал Оливье.

— А еще, даже покажи им сейчас тебя, так ведь непременно потребуют воспроизводимости, а где я им ее возьму? Как я им докажу, что ты не мутант, не выродок какой-то, а что любую шавку так научить можно?

— Никак не докажешь, поскольку любую шавку научить нельзя. Любого дога в лучшем случае! — Оливье тоже был не лишен тщеславия.

— А! Шавку, дога!.. — Дима отмахивался. — Тебя-то я учил правильно? Вроде да, поскольку ты говоришь... Но, с другой стороны, заговорил-то ты в мое отсутствие!.. Ты сам-то хоть знаешь, как это произошло?

— Стараюсь разобраться...

— А побыстрее не можешь?

— Быстрее всего было бы попробовать научить еще одну собаку. И обобщить опыт. К тому же в двух собак поверят вдвое быстрее. Две собаки вдвое очевиднее.

— А где я тебе возьму вторую собаку? Ведь на шавку ты не согласишься? — Дима искоса, с лукавой издевкой взглядывал на Оливье, но тот отвечал серьезно и утвердительно:

— Да, на шавку я не соглашусь. Только догессу с хорошей родословной — надо думать и о потомстве!

— То-то, что надо... А сколько она стоит, твоя догесса, знаешь?

— Должно быть, немало... — И на этом их беседа заходила в неизменный тупик — денег не было, и взять их было негде. Пару раз с отчаяния Дима пробовал сходить на бега, но, проиграв оба раза по двадцать пять рублей, окончательно убедился, что везение потому и везение, что неповторимо, и об ипподроме думать перестал, предложение же Оливье облаивать или даже хватать за ноги неугодных лошадей, дабы те сбивались и не мешали угодным, замахав руками, отверг, как чреватое и нереальное.

Вот в таких вот занятиях и проскочили два месяца, отделяющие первые слова Оливье от тех слов: «Я имею в виду...», какими он начал, когда мы его прервали. Сказал же он:

— Я имею в виду, куда он их денет.

— А вот черт его знает, — отозвался Дима, — если во время не конфискуют, то, может, так они у него и сгниют в кубышке! — Судьба этих денег расстроила его чуть не до слез.

— Почему же тогда их у него не отнимут? — резонно спросил Оливье.

— Да, видать, некому, — пожал плечами Дима, — впрочем, не все еще потеряно, может, успеют конфисковать...

— А что для нее нужно, для конфискации?

— Ну, во-первых, чтобы он попался. А потом решение суда...

— Такой попадется, жди... — усомнился Оливье.

— Думаешь, нет? — в тоне Димы была безнадежность... — А между тем нам бы с тобой этих денег, а, Олька? — Дима оживился. — Машину бы купили, чтобы ездить, — Дима закинул ногу на ногу и обхватил колено, — машинок бы пишущих, сразу школу для вас, неучей, организовали бы, а дальше уж вы сами — какая сенсация, а? Это ведь не просто говорящий пес, необъяснимый феномен природы, от которого, ты уж извини, больше цирком пахнет... И ты, как уже было оговорено, Директор Первой Школы Собачьего Пробуждения. Уж тут тебе скучать и унывать не пришлось бы, не то что сейчас ты что-то нос повесил. — Дима погладил собаке уши и потрепал ее по горлу. — Тут у тебя дел бы хватало — комиссии принимать, на звонки из районо отвечать, неразумных щенков видом своим пугать да еще на преподавателей давить, чтобы не портили пресловутый процент успеваемости... И разве только это?... — Действительно, далеко не только это представилось сейчас Диме. Впрочем, стоит ли пересказывать, о чем он вдруг замечтался? Разве каждый из нас не может с легкостью и удовольствием представить, куда он денет громадные деньги? Словом, «Эх, мне бы миллион!»... Могу только вас уверить, что фантазия у Димы работала ничуть не хуже, чем у любого из нас, и ассортимент всяческих представляемых удовольствий никому не показался бы скудным и убогим.

— Представляешь, Олька, — заговорил между тем Дима, все больше при этом вдохновляясь, — сколько ходит по земле всяческих изобретателей, не гениев, гении — те всегда пробьются, а просто талантливых, и вот изобрел этот талантливый что-то очень полезное, мелкое, правда, такое, о чем ни один гений и задумываться бы не стал, но полезное все же, а ему каких-нибудь ста рублей не хватает, чтобы хоть модельку-то аппарата-то своего соорудить, а то ведь не верят ему, вот не верят, и все... Он, может, в институтах не обучался, он, может, в интегралах этого всего представить не умеет, вот ему и не верят... А у другого заболел кто-то, лекарства дорогие нужны, редкие, а у третьего... У третьего, может, свадьбу

сыграть не на что... — Дима задумался, и тишину прервал Оливье:

— Это мне как раз свадьбу сыграть не на что.

— Как то есть? — не сразу среагировал Дима.

— Точнее сказать, не на что невесту купить!

Дима хмыкнул.

— Впрочем, — продолжил Оливье, — моя-то беда поправимая. Ты продаешь меня этому Якову, получаешь деньги, покупаешь мне невесту, а потом я от Якова сбегу.

— А он придет требовать тебя судом. Увы, для закона ты — вещь.

— А на суде я продемонстрирую наличие у меня сознания и свободы воли, после чего сделка станет незаконной, и он меня не получит.

— Вот-вот! Тебя-то он не получит, он деньги свои назад получит, а я получу пару лет за мошенничество.

— Тогда я, перед тем как сбежать, перегрызу ему глотку.

— Этого еще не хватало! — Дима вскочил с дивана. — Тогда ведь тебя...

— А кто будет знать, что я — это я? У меня что, паспорт есть? Или отпечатки пальцев?

— Паспорт у тебя как раз есть, и без паспорта он тебя не возьмет, так что и тебя возьмут, голубчика, и со мною вместе...

— Однако! А чего мне стоит прихватить с собой и паспорт, и даже твою расписку в получении денег, если он ее с тебя вытребует?

— Прихватишь у него! Да он их так запрячет...

— А я подсматрю!

— У такого подсмотришь!

— Ты нет. Я да.

— Ага, глазастый какой... Небось догадается Яков меры-то принять, предосторожности...

— От кого меры, от меня? От собаки?

«Вот это да!» — осенило Диму.

Ни Яков, ни кто другой ничего от пса Оливье прятать не станет. И Оливье, который давно уже не пес, легко и нежно, именно легко и нежно, добудет это, тщательно от людей скрываемое, и принесет его сюда, к Диме. Непременно принесет! — И Дима заговорил вслух:

— Слушай, — сказал он, — а ты что, и вправду загрыз бы Якова?

— А разве нужно? — удивился Оливье. — Ведь ты же меня не продашь?

— И еще как продам! — взвился Дима. — Продам, дружок, и не мочи возражать! Грызть его, правда, не надо, а надо сделать вот что... — И Дима торопливо и сбивчиво принялся рассказывать псу, что тот должен будет сделать.

Через два дня после того, как эта огромная собака со странным именем поселилась у него, Яков Борисович почувствовал себя наконец-то в покое. Первые два дня он все никак не мог привыкнуть к тому, что вот раньше он жил здесь один, а теперь их двое. Вообще-то Яков Борисович был не из тех людей, которые видят в собаке нечто отличное от приспособления от воров; тот факт, что собака — живое существо, проходит как-то мимо их умственного взора, но размеры Оливье не позволяли умственному взору так легко проскользнуть мимо него, и главное было даже не в его размерах. Ум, очевидный и невероятный ум этого существа, тем более существенный, что именно из-за ума-то и купил Яков Борисович этого пса, а не просто из-за размеров, так вот, этот самый ум смущал Якова Борисовича и доставлял ему зудяще-неприятное беспокойство. И потому первые двое суток пребывания Оливье в своей квартире Яков Борисович относился к нему как к еще одному обитателю с какими-то своими, не вполне понятными запросами и со следующим отсюда неудобством совместного проживания. Но одним из самых сильных свойств натуры Якова Борисовича была страсть гордиться своей собственностью; эта страсть, да еще нескрываемое дружелюбие Оливье и та радость, которую Яков ощущал всякий раз, как эта громадина повиновалась малейшим его приказаниям, помогли Якову уже через два дня почувствовать себя хозяином. Очень скоро из этого последовало, что Оливье он стал воспринимать, как животное, очень сильное, умное и т. д. животное, но животное, которое ему, Якову, принадлежит, и все. И уже через недельку-другую Оливье стал для Якова не чем иным, как только частью обстановки, частью, требующей повышенного внимания — нужно кормить, выпускать гулять, но только из-за этого Яков вспоминал о нем чаще, чем о любой другой мебели, находящейся в квартире. Обижался ли на это Оливье, Яков не просто не знал, он так же мало над этим задумывался, как мы о чувствах шкафа в передней. Впрочем, Оливье и не обижался, как легко можно догадаться.

Так шли дни, недели, укрепилась весна, и земля почти подсохла, и даже в Якове заговорило что-то от какого-то прежнего, скорее всего никогда и не бывалого Якова, но такого, каким он, может быть, когда-то мог бы стать, и тянуло Якова, легонько так, необременительно тянуло на странное, на что только весной и может потянуть такого, как Яков. Да нет, не стал он оборачиваться вслед молодым женщинам, и не мысли о поездке на юг, скажем, к морю, забеспокоили его, а так, смутное что-то, пивка бы попить, допустим, но какое может быть пиво при его, Якова Борисовича, занятии и при его, Якова Борисовича, заботах?

И знал в общем-то Яков, что не сегодня-завтра кончится весна, и прекратятся эти смутные мыслишки, эти потуги непонятные, и сгинут тихо и незаметно, ничего по себе не оста-

вив, и полностью прекратится всякое беспокойство, и уйдут волнения, да они уже и уходят, да и волнения ли то были? Ну день еще, ну два, и все, и ни одного волнения не останется... Как бы не так!

Волнение, настигшее его, было вовсе не весеннего свойства, но какая разница! Есть ли разница для человека, особенно для такого, как Яков, от весны или не от весны получил он свой инфаркт?

А получил он его вот как: однажды, на исходе весны, в результате одного из своих темных дел Яков Борисович получил на руки одновременно большую сумму денег. Очень большую, может, сто тысяч, может, и двести, а скорее всего триста.

Вам трудно себе представить такие темные дела, в результате которых получают такие деньги? Вообразите, мне тоже. Потому-то я ничего и не пишу об этих самых делах, а не то, знай я, как они делаются, я с охотой поделился бы своим знанием и с читателем и с прокуратурой. Однако не знаю вот и довольствуюсь только тем, что вообще-то такие дела как-то все же делаются, и никто не заподозрит меня в преувеличении, когда я называю эту сумму, — ни прокуратура, ни читатель.

Как бы там ни было, а деньги эти Яков Борисович получил и принес домой. Всегда ли, получив такую сумму, Яков Борисович относил ее домой, или, может, когда сразу нес куда-то в более надежное место, я не скажу. Не скажу и того, долго ли он собирался держать ее у себя дома, зато скажу, что пришлось держать очень недолго.

Войдя в квартиру, Яков первым делом бросился к не слишком остроумному тайнику под ванной, за ржавым тазом, и вознамерился спрятать деньги туда. Спрятал бы — и ладно, но, опустившись для этого на корточки, был вдруг Яков посещен мыслью, от которой с корточек немедленно поднялся и принялся звать Оливье. Оливье, пес дисциплинированный, немедленно на зов и явился.

— Смотри! — указал ему Яков на ванну, вернее, больше на то, что под ней. — Сюда не пускаты!

Эх, подвело Якова тщеславие, не перед кем ему было похвастать, вот он вывалил все свои тысячи прямо под нос Оливье:

— Гляди, сюда я деньги прячу!

«То-то, что прячешь, — подумал Оливье, — эдак, ежели запрячешь, то мне их оттуда вовек не выскрести!»

А Яков не унимался — сунул руку в тайник, чем еще больше убедил пса, что его лап для этого недостаточно, и выволок оттуда и те деньги, что раньше там находились, — вот расшалился Яков и расшалился! Ну, может человек хоть какое-то удовольствие себе позволить? Может или не может? Вот Яков и позволил — остальные деньги вытащил и к новым положил, поигрывать ими начал, пересчитывать, да не то, что так уж

прямо и пересчитывать, а просто подсчитывать, не для счета, для удовольствия.

Оливье понял, что ждать ему больше нечего.

В следующее мгновение Яков, сидевший до того на корточках, оказался опрокинутым назад и небожно стукнулся затылком о колено раковины, а потом зажался между этим самым коленом и ванной, и поскольку сразу вместе с этим начал чувствовать, что сходит с ума, то на неудобство и даже на прямую боль, причиняемую соседством с коленом и ванной, никакого внимания не обратил. А сойти с ума было от чего: Оливье, оттолкнувший Якова как-то мимоходом, теперь прислонил раскрытый портфель Якова к его же ноге и, соскребая лапами с гладкого кафельного пола ванной пачки денег, брал их в пасть и укладывал в портфель.

Несмотря на дикость происходившего, смысл его Яков осознал сразу: «Грабитель!» — и попробовал взвыть. Оливье оторвался от своего занятия, посмотрел Якову в лицо и своим низким глухим голосом произнес: «Гоу!»

Это было единственное, что Оливье, как и все остальные собаки, умел произносить вслух, и этого оказалось достаточно. Яков умолк и молчал все время, пока Оливье собирал деньги, и после того, как Оливье покинул ванную, Яков тоже молчал до тех пор, пока не услышал, что щелкают многочисленные электронные быстродействующие замки на входной двери — черт его знает как, но за время жизни у Якова Оливье наводстрился отворять их, — и лишь после того, как эта дверь хлопнула и закрылась за Оливье, Яков шевельнулся, но кричать не стал, а поднялся, вышел в прихожую, открыл дверь и выглянул на лестницу. Оливье не было видно, и тогда Яков решился кричать, открыл даже для этого рот, но закричать не сумел — дыхание перехватило, и тут же Яков повалился с ног, опять ударившись ушибленным уже затылком о притолоку и боли при этом не ощутив, так как был уже без сознания.

Соседи обнаружили Якова достаточно скоро для того, чтобы «неотложка» успела оказать ему помощь, и Яков Борисович пережил свой инфаркт миокарда, осложненный легким сотрясением мозга.

Преждевременный, но краткий эпилог

Много лет спустя Дима, посерьезневший и постаревший, холостой и небогатый, успевший стяжать известность в своей области знания и давно уже защитивший диссертацию, не ту халтурную, о которой говорилось раньше, а настоящую, на тему... Впрочем, что нам до ее темы, главное, никакого отношения к собакам тема эта не имела.

Нобелевской премии ему не дали, и кое-кто думал, что именно из-за этого так странно Дима относится к собакам.

Ни одна из них, даже самая разговорчивая, никогда не приставала к Диме, хотя, вообще говоря, не стесненные людскими правилами поведения, собаки постоянно заговаривали на улицах с кем попало, и это в конце концов так понравилось людям, что вскоре и у них вошло в привычку. Но вот Диму собаки не трогали. Посторонним казалось, что собаки испытывают к Диме страх, но посторонние ошибались. Просто собаки чувствовали, что Диме было бы неприятно разговаривать с ними, и оставили его в покое...

Таким образом, творец Собачьего Пробуждения оставался единственным на Земле в стороне от него, и надо заметить, выглядело это тем более странно, что стоило Диме немалых усилий — действительно, книги, написанные собаками, фильмы, снятые собаками для собак или для собак и людей, телепрограммы, смешанные спортивные состязания — оставаться в стороне от всего этого было нелегко. Да что там фильмы, а старший инженер соседней лаборатории мохнатый сенбернар Дик? Дима едва здоровался с ним, и главным образом из-за этого, хотя Дика такая холодность совершенно не задевала, замдиректора по АХО, московский водолаз, высказал мнение, что это Дима из-за Нобелевской выкоревживается. Увы, ошибался и замдиректора. Подлинные мотивы Димы станут ясными из предлагаемой вашему вниманию последней части, в которой Дима занят главным образом тем, что читает

ПИСЬМО ОЛИВЬЕ

Проблема закладки бумаги в машинку была решена давно, еще до Якова. Дима приволок из машинного зала своего института (уволился-то он только после Якова!) рулон бумаги, на которую ЭВМ выдает свою цифирь, насадил его на вращающуюся ручку, а ручку прикрепил к каретке, и бумага потекла с нее под клавиши непрерывным потоком, и Оливье оставалось только осторожно обрывать ее по мере надобности.

— Можешь приступать к сочинению мемуаров, — заявил Дима по окончании работы, но к мемуарам Оливье приступить не успел — подвернулся Яков.

Зато летом времени у Оливье хватило бы на тетралогию, и потому Дима совсем не удивился, когда однажды, вернувшись домой после одного из первых сентябрьских дождей, был встречен в прихожей Оливье, державшим в зубах несколько листов бумаги.

— Это тебе, — сказал Оливье, — прочти, пожалуйста, только поставь мне сперва пластинку Моцарта.

— «Реквием», как обычно? — спросил Дима, проходя в комнату и бросая плащ на диван.

— Да, «Лакримозу». И читай на кухне, если тебе не трудно.

Ты мне очень помешаешь, если войдешь до того, как кончится пластинка.

— Ну давай, медитируй! — хохотнул Дима, настраивая проигрыватель, и послушно отправился в кухню. Чувство вины, легкое, но несомненное, помешало бы ему спорить и при более обременительной просьбе Оливье.

На кухне Дима первым делом поставил воду для кофе, а затем устроился на стуле поудобнее и принялся читать.

«Как ты знаешь, — писал Оливье, — это лето я провел практически в полном одиночестве. Не прими за упрек, скорее наоборот, так мне было легче разобраться, ведь все мои занятия состояли исключительно из размена оставленных тобою десятков на колбасу и окорок в нашем магазине, где написанные мною на машинке записки принимались за твои, и потому надуть меня никто не пытался, а хоть бы и надували... Итак, я мог целыми днями читать, гулять, наш цифровой замок, хоть и похож на яковский, но не подвел меня вопреки твоим опасениям ни разу, и, главное, я непрерывно думал, и прежде всего над тем, зачем мне это надо — думать. Я не мог спросить об этом у тебя — ты не давал мне времени для вопросов, ты мчался все лето во всевозможных направлениях со всевозможными спутниками и спутницами на всех видах транспорта... Бог знает, где тебя только не носило, но дело было и не в этом — я чувствовал, что ты ответа не знаешь.

Расскажу одну короткую историю, что произошла со мной где-то на тихой центральной улице — не обратил внимания на ее название. Я брел куда-то без определенной цели, поглощенный своим, и вдруг заметил человека с круглой сетью в руках, приближающегося ко мне. Намерения его были ясными и агрессивными, и это так озадачило меня, что я на мгновение замер, но ведь мои мгновения куда короче ваших! Для собачника — это был собачник, я уже не сомневался, не прошло и миллисекунды, а я уже стоял не потому, что замер от неожиданности, а потому, что понимал: пока надо стоять. Ситуация скорее забавляла меня — ты знаешь, это был первый случай в моей жизни, когда кто-то посмел на меня напасть, и в общем, мне было интересно, что этот оборот предпримет дальше. То есть было совершенно очевидно, что он собирается накинуть на меня эту свою сеть, или петлю, неважно, и сейчас примеряется, как бы ее бросить половчее. В тот момент, отлично сознавая, что времени у меня раз в десять больше, чем у него, я забавлялся разгадкой шарады: «Интересно, о чем он сейчас думает?» Наверное, о том, сколько ему за меня заплатят — ведь не для живодерни же он рискует целостью своей кожи, нападая на меня? Да и кто сдаст на живодерню собаку, которую сам Яков оценил в семьсот рублей? Таким образом, дело для меня заключалось в спортивном состязании, где на карте с моей стороны не стояло ничего. Догадайся он просто позвать

меня за собой, и я, может, пошел бы — просто из интереса посмотреть на дураков, которые отвалят за меня деньги, а потом останутся с носом. Но тут я заметил, что этот человек (если человеком можно назвать) со своей точки зрения точно так же не рисковал ничем, как я с моей. В его глазах не было ничего, кроме тупой уверенности в барыше. В его глазах я увидел сотни удачных бросков, сотни задушенных собак, но в его глазах я не увидел разницы между мною и прежними. Это решило дело. В момент броска я еще находился там, куда он метил, но, когда его сеть долетела до этого места, я был уже рядом с ним, и его коленная чашечка хрустела под моими зубами. Этот хруст и его вопли порой снятся мне и сейчас, и тогда я просыпаюсь в отличном настроении, но суть не в том. Суть в том, что тут я впервые за все время использовал разум. То есть впервые разум пригодился мне для моих личных, собачьих целей. Не берусь вычленить, что было от разума, а что от инстинктов, кто о чем предупредил и кто на что подвигнул, но разум присутствовал тут несомненно, пусть даже смешанный и неотделимый от инстинктов в этом акте. Итак, разум нужен, чтобы избежать собачника? И для того, чтобы грызть не что попало, а именно коленную чашечку? Маловато.

Я понимаю, что в процессе борьбы за существование жизнь встает перед видом, как один большой собачник, и тут разум делается существенным фактором, но коль скоро вы, люди, уже обрели его и даже вывели нас, догов, то зачем теперь разум нам? Для каких целей? От каких собачников спастись? Ведь иных собачников, кроме людей, нет на этой планете, но, по крайней мере, с догами у вас мир, а если бы и нет, то разве поможет нам наш молодой разум, да еще задавленный тысячелетним предрассудком повиновения Человеку? И мне стало ясно, что собаке разум не нужен. И сейчас же я понял, почему заговорил, — помнишь, ты все допытывался, а я не мог ответить? А между тем ответ содержался в первой же моей фразе: «Буду писать, раз ты хочешь». В том-то все и дело! И как же долго я не мог понять, что тебе это действительно необходимо, чтобы понимать меня — я-то ни в каких словах не нуждался, ты всегда был для меня открытым и ясным, я постоянно видел все твои желания и намерения, а подозревал, что ты видишь меня насквозь. И пусть при этом ты часто вел себя так, как если бы совершенно меня не понимал, — на то твоя господская воля, считал я, не считал то есть, чувствовал, переживал, назови еще как-нибудь, не знаю, в общем, жил так, и все. Как же мне было тяжело признать вдруг, что божество нуждается в каких-то значках для того, чтобы что-то понимать! Как же долго я не мог примириться с этой мыслью, и как сильно я тебя этим, должно быть, мучил!

И тут ты уехал на дачу, и я понял, что не мне судить, а следует делать то, что требуется от меня, и слова стали выплы-

вать откуда-то огромными пачками, я ведь всю жизнь провел в мире слов, слышал их постоянно, и теперь смысл каждого был мне понятен и ясен, я мог попробовать каждое на язык и на нос, представить написанным и произнесенным, мог вертеть, как хотел, ими и не заметил за этим, как прошла неделя и ты вернулся. Услышав, как ты поворачиваешь в замке ключ... А впрочем, не стоит об этом, главное ты уже знаешь — собаке нужна пресловутая вторая сигнальная, как щуче зонтик, и если вы, люди, действительно решите заняться Собачьим Пробуждением — а насколько я вас знаю, вы, раз начав что-то, ни за что не остановитесь, пока не дойдете до конца, каким бы он ни был, — так вот, если вы решите заняться Собачьим Пробуждением, помните — только из любви к хозяину собака способна заговорить. Других стимулов у нее нет, и нечего тыкать ей в нос колбасой с диким воплем: «Еда!»

Но методика — дело десятое. Если бы на этом свете были только мы с тобой и если бы на нас все кончалось, я бы просто плюнул на все, ни о чем не стал бы беспокоиться и только проявил побольше настойчивости в деле удовлетворения моих дух- и матпотребностей. Но на нас ничего не кончается, а для нас, — собак, с меня все только начинается, и тут я испытываю нечто странное. Разум, казалось бы, самое непогрешимое, что есть во мне, подсказывает мне, что мне нечего заботиться об отношении ко мне последующих поколений, что с моей смертью все для меня кончится и абсолютно все равно, станут ли потом собаки поклоняться моей памяти или, напротив, всякая шавка станет стыдить детей моим именем, а то и хуже: ни одна шавка обо мне просто не вспомнит. И вот, казалось бы, что мне до этого, но я знаю: за тех, кто будет после меня, я отвечаю потому, что я первый. Это я знаю не разумом, хоть без него и не смог бы этого осознать, но без него и проблемы бы не возникло!

И я говорю тебе, я, единственный представитель вида, которому нет и года, говорю тебе, одному из представителей вида, которому миллион лет, — так нельзя.

Вы так привыкли к своей разумности, что ничего, кроме нее, стараетесь в себе не замечать — как же, это ведь то, что отличает нас от животных! Как будто не быть животным само по себе достоинство. Но я вас понимаю: разум — это и вправду здорово, есть от чего закружиться голове и есть от чего потерять ориентацию. Разум, как и всякое иное средство, стремится к переоценке своих достоинств, но способов для этого у него гораздо больше, чем у любой другой составляющей человека, и в результате вы даже в определение вида своего внесли слово: «разумный», как будто каждый из вас не бывает большую часть своей жизни неразумным хуже любой кобылы!

В конце концов, и этим знанием я обязан тебе: ты помнишь нашу беседу о Зине?

«Женюсь я на ней, должно быть...» — сказал ты, и я пришел в ужас — не потому, что она не нравится мне, не потому, что она курит в моем присутствии и на все отвечает: «Еще чего!» и «Что ты мне лапшу на уши вешаешь!» В конце концов, какое мне дело, но ведь и ты не то что любил ее, ты ведь ее терпеть не мог, и вдруг — «женюсь, наверное». В твоих словах не было ни капли разума, а только покорность овцы на бойне, и ты сам это сознавал! Ведь это ты тогда сказал — ужаса моего ты, к счастью, не заметил, и разглагольствовал устало-спокойно: «Разум дан человеку для совершенно определенных целей, — говорил ты, — как орудие камерное, с ограниченной областью приложения, и лучшее, что он может, — это указать самому себе границы своих возможностей. Вот инстинкт продолжения рода значительно сильнее и разуму не подконтролен, вообще говоря. Если бы каждый был волен жениться лишь на той, кого он действительно любит — не скажу даже: любить ту, кого он действительно хочет любить; если бы каждый был волен дожидаться своей принцессы, и каждая — своего принца, две трети браков не заключалось бы, а из остальной трети три четверти заключалось бы дураками, которые ошиблись. И будь человек действительно разумен, как он о себе мнит, — так ты сказал! — он бы давно вымер, чего не наблюдается. И в сущности, если бы это не было общим признаком всего живого, то следовало бы говорить не «человек разумный», а «человек размножающийся». А с кем размножаться — с Зиной или не с Зиной, — какая разница? Ибо разум на то и есть в конце концов, чтобы сказать: никаких принцесс нет!»

Вот такую тираду ты выдал, и тут же тебе позвонил кто-то, предложил какие-то диски, не то какие-то костюмы, и ты помчался покупать, покупать, как и все остальное время с весны.

Оставшись один, я решил при первой же встрече с Зиной попробовать на прочность ее визгливую глотку — не насмерть, а чтобы отучить ходить сюда, но еще до встречи я понял, что всех не отучишь, да и ты, как по заказу, с Зиной порвал, но только потому, что появилась Рая.

Эту душить было не за что. Эта не говорит про лапшу на ушах и не курит при мне, вернее, вовсе не курит, и единственная ее вина — это что ты ее опять-таки не любишь, но не ее же за это душить!

И в конце концов, не в принцессах дело, понял я, а в том, что ты гибнешь. И причина лежит на поверхности — деньги Якова. Их слишком много, а деньги — это прежде всего сила, энергия, и вот тебе дали в руки огромную кучу энергии, а ты, как ребенок, не способен удержать ее в своих руках и не способен ею управлять, но еще меньше способен от нее отказаться! И ты брызгаешь ею во все стороны, и к тебе липнет всякая дрянь, стремясь урвать свой кусочек, и при этом так легко по-

верить, что все равно все в порядке и разве страшны похмелья тому, чей дом набит французским коньяком?

Тебе нужно похмелье, страшное и неподвластное тебе.

В настоящее время я не вижу иного способа, как только лишить тебя денег Якова. Поскольку добровольно ты от них не откажешься и сошлешься при этом на то, что у тебя хватит сил противостоять соблазнам, я — но сначала приготовься не сорваться с места и не прибежать ко мне, этим ты мне очень помешаешь, но ничего не добьешься, — так вот, я принял меры для принудительного изъятия у тебя денег. Читай дальше!»

Дима был настолько огорошен этим внезапным переходом от повествования к действию и настолько отказывался понимать прочитанное, что подчинился приказу и не помчался в комнату к Оливье. На дальнейших строках он лихорадочно рассчитывал найти что-то такое, что показало бы ему, что он ошибся в оценке этих страшных слов — «принудительное изъятие».

«Я прочитал уголовный кодекс и знаю, что тебе грозит за организацию ограбления...»

«Знает — значит, не мог донести!» — уцепился Дима за эту мысль.

«Я знаю, что тебе это будет очень тяжело, но не так, как мне, предающему тебя...»

«Неужели?!» — мелькнуло у Димы. Теперь он и не смог бы подняться, если бы и захотел, ноги отказали бы ему, но он и пытаться не стал — может, рассчитывал все-таки вычитать в дальнейшем себе амнистию, а может, просто вспомнил страшные клыки Оливье?

«И главное — если этого не произойдет, тебе будет гораздо хуже».

«Конец!» — понял Дима. И стал читать дальше.

«Я надеюсь, у тебя хватит ума не запираться, да это было бы бессмысленно — я указал, где ты хранишь деньги, ты ведь тоже, как и Яков, не прятал их от меня... А перепрятать ты не успеешь...»

Не сердись. Все не кончится на этом, и, может быть, ты еще получишь за меня Нобелевскую премию. Но для того чтобы со следующими не обошлись так же безответственно, как со мной, а главное, для того, чтобы ты поверил мне, поверил, что я сделал это для тебя, мой разум, подойдя к границам своих возможностей, указал мне все же выход...» — Выход?!

«Дело обстоит так, что тебя невозможно спасти, не предав; и, кроме меня, предать тебя некому, но пока я жив, предать тебя я не в состоянии. Эрго, мне следует перестать жить. Прощай. Я давно научился обращаться с твоим ружьем. Оливье».

— С ружьем?! — теперь Дима вскочил на ноги, но тронуться с места не успел — из комнаты вслед за последней нотой «Лакриказы», не давая установиться тишине и заглушая резко зазвеневший дверной звонок, прозвучал выстрел.

АРОМАТ ВОЗВРАЩЕНИЙ

Высокий, стройный, он стоял, опершись на черенок обыкновеннейшей мотыги. Сумерки быстро сгущались: темнота, колыхаясь, начинала накрывать землю.

Тити еще раз обвел взглядом сад, от привычного зрелища стало капельку легче на душе.

«Как будто все в порядке, — подумал он сквозь тревожные мысли. — Сад — заглядение. И все-таки... все-таки... такое ощущение, будто находишься в зоне магнитной аномалии или около станции сверхвысокого напряжения, там, в Центре. Не все благополучно, а что именно, не понять».

— К черту! — рассердился он, отшвырнул мотыгу и вошел в дом. Но дом был пуст. Маргариты не было ни в первой комнате, ни во второй, не было нигде... «Хоть бы предупредила, что уходит», — подумал он обиженно, открывая дверь своей каморки. Сел за стол, нервно стал листать тетрадь, пока не дошел до чистой странички. Профессор наказал ему записывать все, что он делает, чувствует, о чем думает. Тити выполнял все предписания Профессора, но сегодня у него не было на это сил...

Взял карандаш, почти машинально написал крупными буквами поперек страницы: «Сегодня Маргарита куда-то ушла. Это беспокоит меня. Причина беспокойства — Маргарита. Маргарита для меня...»

Поспешно закрыл тетрадь, как бы боясь быть застигнутым за чем-то постыдным, и снова увидел тот день, когда Маргарита приехала в Учебный центр. Профессор очень обрадовался ей. Тити был любознателен по натуре, и ему захотелось получше разглядеть ее.

— Ну, ну, не тарачи так глаза, — сказал ему Профессор. — Подойди-ка ближе. — И Тити быстрехонько подошел, смущенно моргая.

— Это Тити, — сказала ей Профессор. — Надеюсь, вы поладите. Но он не вполне взрослый, от него можно ждать всяческих чудачеств — этаким мечтательным юноша. Я ведь тоже

когда-то был мечтателем... Помнишь? — Профессор улыбнулся как-то по-особенному, пристально глядя на Маргариту.

— Ладно, мы поехали, счастливо оставаться, — сказала Маргарита торопливо.

Тити по-прежнему хлопал ресницами, немного обиженный, отправляясь с женщиной в путь.

Они ехали долго. Сначала на автомобиле, потом на пневмопоезде, еще потом летели над морем на вертолете. То есть неизвестно, было ли это море, или это так показалось Тити. Он впервые попал туда, где было столько синевы и тишины. Лишь шелестели над головой лопасти винта да внизу, под туловом вертолета, зыбились волны.

Домой они добрались в сумерках.

— Это Тити, — сказала Маргарита, губами касаясь щеки вышедшего им навстречу мужчины. — Хочется иметь хоть что-нибудь рядом с собой в этой глуши. Ты ведь то и дело оставляешь меня одну...

— Ничего не поделаешь, Марго, такова жизнь. А жизнь — большое дело. И короткое.

Тити быстро освоился со своими обязанностями. Требовалось поддерживать в порядке дом и маленький сад. Только и всего. Свободное от работы время он, подчиняясь инстинкту самосохранения, проводил в приятной расслабленности, погруженный в воспоминания о школе и о школьных друзьях. Многие из них стали программистами и операторами, водителями сверхзвуковых поездов и межпланетных кораблей. «Каждому свое», — говорил себе Тити.

Муж Маргариты редко появлялся в доме, проводя почти все свое время в рейсах. Появляясь, он трепал Тити по плечу и спрашивал:

— Как дела, старина?

Оставался с Маргаритой день, другой, третий, потом садился на свое реактивное помело, и Маргарита оставалась ожидать возвращения. Они ожидали его вдвоем, каждый на свой лад, и получали письма с планет, которые он исследовал. У Маргариты, когда читала, становились влажными глаза, и в эти минуты она была необыкновенно хороша собой.

Ведь она работала над каким-то проектом, который поглощал ее мысли, не давал ей покоя:

— Тити, цыпленок, принеси-ка мне чашечку кофе!

Тити отшвыривал мотыгу и сломя голову мчался на кухню исполнять желание Маргариты. Ее желание — закон, так внушил ему Профессор.

— Спасибо, миленький! — Сто колокольчиков звенело под крышей, и Тити чувствовал как бы электрический ток во всем теле. Это происходило с ним всегда, когда он появлялся перед нею. И он оставался торчать около ее кресла: может, Марга-

рите пожелается еще что-нибудь, а уж за Тити дело не станет, он всегда готов хоть солнце достать с неба.

— Не пишется, да и только, — говорила иногда Маргарита с огорчением.

Тити молчал, застенчиво моргая, как обычно.

Так проходили дни. Маргарита давала в общем-то мало поручений, дом был в идеальном порядке, садик перед ним тоже, потому что Тити был старательный и, кроме того, ему претил беспорядок.

Иногда, чтобы убить время, он бродил по лесу, но чаще был занят попросту тем, что ожидал с замиранием сердца, когда его позовет Маргарита. А она все молчала да молчала.

Поспевали яблоки, и улетали ласточки, и выли ветры, и шел снег. Потом снова наступала весна и зацветали деревья...

— Тити, чудачок, где ты? — говорила Маргарита, появляясь в дверях, и при звуках ее голоса Тити чувствовал, как у него начинает кружиться голова. Маргарита весело улыбнулась ему, и Тити в ответ моргал ресницами, все моргал.

— Титель, — говорила она, — сомчи к роднику, там в лесу, ты знаешь где.

И он мчался через сумрачный лес, счастливый от мысли, что при возвращении опять увидит ее. Сердце чуть не выпрыгивало из груди, лес распаивался перед ним, как двери в мир радости, и он постоянно видел ее перед собой. Сквозь гушину деревьев и смородинных кустов, сквозь ветви, всюду — Маргарита.

Потом он снова пребывал в ожидании. Но Маргарите было не до него. И Тити, устав ждать, слегка стучал в дверь. Маргарита стремительно открывала ее:

— Ты?

И с явным разочарованием уходила в глубь дома.

И Тити охватывало чувство жалости. Почему именно жалости, он не смог бы объяснить, но ему становилось очень и очень жаль кого-то.

Однажды он нашел в подвале дома книги, старые как мир, и принялся читать их одну за другой, в последовательности, понятной ему одному: «Королева Марго», «Мадам Бовари», «Анна Каренина», «Коварство и любовь»... Тити мог читать дни и ночи без отрыву, но и по прошествии нескольких недель он все грустил. Как будто ожидал чего-то, что должно произойти со дня на день, предчувствовал что-то, но все оставалось по-старому.

Однажды неожиданно для Тити вернулся Он. Тити остался в саду, и не поспешил Ему навстречу, остался стоять, где стоял, одинокий и жалкий, и осмотрелся кругом глазами путника, забредшего нечаянно в чужой сад и не знающего, как ему уйти незамеченным. Пока отсутствовал Он, он мог воображать, что и ему здесь принадлежит нечто. Но Он, возвратившись, сразу становился центром всего происходящего... Все было для Него.

Ночь сгущала темноту над садом; наверху, в бездне неба, мерцали звезды. «И звезды тоже Его», — подумал Тити...

— Эй, старина, — сказал Он, хлопнув его по плечу. — Собери-ка свои вещицы, потому что завтра тебе возвращаться в Центр. Кажется, там тебе предстоит еще покормить над учебниками.

Тити испуганно заморгал ресницами и кинулся к двери. Он бежал по анфиладе комнат, сам не зная зачем, потом увидел Маргариту.

— Что с тобой, Титель, случилось что-нибудь?.. Он ведь вернулся вовремя, как я и ожидала. Он всегда возвращается...

Тити покачнулся, как от удара. Тот, кто вернулся со звезд, был прямо-таки захватчиком и, будто ему не хватало звезд, взял здесь разом все, и все подчинилось ему.

Маргарита увидела, как из его глаз будто зеленым огнем полыхнуло. Тити медленно рассыпался на полу, и теперь уж Маргарита бросилась бежать, распахивая настежь двери, пока не увидела мужа, углубившегося в чтение тетради, дневника Тити. Но Маргарита не думала об этом; она схватила его за руку и потащила в комнату, где Тити был теперь не более чем горсткой пепла.

Он опустился на колени и тщательно сгреб в маленький холмик земные останки того, кто был Тити.

— Я похороню их, — сказал он. — Я похороню его на космодроме. Пусть всегда будет он там, где поиски и беспокойства. Он был порядочный парень...

— Ты полагаешь? — спросила жена удивленно.

— Да, — сказал Он. — Да, — повторил Он, как бы поняв нечто. — Прочти-ка газету... Там речь идет о Тибальде, о Тибальде Тигиняну из Учебного центра... Он говорил мне однажды о Тити, которого обучил по специальной программе «романтический юноша». Но он не имел права так издеваться над парнем. Профессор не имел права издеваться над своим учеником даже в том случае, если речь шла...

— Может быть, это была шутка, — сказала она, покорно глядя на него. Ей вдруг припомнилось нечто почти забытое.

— Глупая шутка, — сказал муж зло, но злость быстро прошла, и он думал теперь только о Тити, окончившем свое существование в его доме.

— Все-таки роботы менее стойки, чем те люди, на кого они похожи...

— На кого именно? — спросила жена.

— Те же жесты, та же манера держаться с тобой... Робот был построен по схеме Тибальда Тигиняну, потому и имел сокращенное имя — Ти-ти.

— На кого именно похож? — вновь спросила она с недоверием.

— Оставь, — мягко сказал муж. — Тити был сильно привязан к тебе.

— Но для чего ему понадобилось ворошить старое? И таким странным способом...

— Не знаю, — ответил он просто. — Может быть, чтобы хоть так быть вблизи тебя, — кто знает?

Потом он положил руки ей на плечи и что-то прошептал ей на ухо, жена улыбнулась сквозь слезы, и в эту ночь было много мира в их доме и много любви...

Она мечтала всю ночь о том, что муж останется навсегда дома, останется охранять ее от одиночества, что его более не позовут к себе дальние миры... О многом мечтала она, и все ее мечты были прекрасны. А утром она спросила:

— Когда отправляешься?

— Послезавтра.

И она опять осталась ожидать его. А в доме воцарился неведомый аромат, принесенный им из зарослей вселенной, аромат морского табака, и столько других ароматов, которые только он один мог принести в этот дом. И этого было вполне достаточно для того, чтобы она ждала его хоть до конца света; ведь если бы она не ждала, то, может быть, он бы не вернулся больше ни разу. А это значит, дорогие женщины, что на Земле остаются менее достойные мужчины.

Перевод с молдавского В. МЕЩЕРЯКОВА

БЫЛИ СТАРОГО КОСМОГАТОРА

— Как я рад, как я рад! — Антоний Эндотелиус-младший хлопотливо усаживал гостей в кресла. — Очень хорошо, внучек, что ты решил навестить меня да еще с приятелем.

Внук в ответ пробормотал что-то невнятное.

— А что не предупредил старика? Сюрприз решил сделать? Молодчина! А что перчатки не снимаете? Тепло ведь.

— Мода, дедуся, — хрипло ответил приятель внука.

— Ну если мода, — понимающе развел руками старый космогатор. — Вы минуточку посидите, поразвлекайтесь сами, а я приготовлю кофе по-гуарамски. Такой, какой ты любишь, внучек. Правда ведь?

— Очень люблю, — поспешил согласиться внук.

Вскоре хозяин вернулся, держа худыми длинными пальцами поднос с тремя чашечками кофе.

— Может быть, ребятишки, на террасе устроимся? Там морской ветерок веет и трубочку можно выкурить, никому не мешая.

Внук с приятелем переглянулись:

— Ну что ты, дедушка! Тут так уютно. А дым твой нам насколько не помешает и будет напоминать давние времена.

Антоний Эндотелиус, загадочно сощурившись, посмотрел на внука.

— Чем бы вас поразвлечь? — спросил он задумчиво, набивая трубку. — Расскажу одну из историй, которые со мной произошли.

— Да, да! — хором поддакнули внук и приятель. — Расскажите о матодах.

— Хорошо, — согласился старый космогатор.

Он удобнее устроил в кресле свое длинное костлявое тело, раскурил трубку и, задумчиво глядя на клубы дыма, начал рассказ:

— Я не буду напоминать вам о том, что в свое время меня считали лучшим Чрезвычайным Инспектором. Имя мое было известно по всей Галактике и даже за ее пределами. Я разга-

дывал самые загадочные происшествия. Это теперь я немощен и стар, многое стал забывать, мышление притупилось. А когда-то... Впрочем, из скромности я не буду больше акцентировать ваше внимание на своих несомненных, но, увы, былых достоинствах. Итак, только факты. Отчетливо помню: летнее утро тридцать первого июля, десять часов пятьдесят две минуты сорок три секунды. Вспыхивает экран видеофона. Я узнаю лицо старшего эксперта по внешним перевозкам. Лицо его было бледным, под глазами залегли тени, голос дрожал.

«Необходима ваша помощь», — проговорил он, едва поздоровавшись.

«Я готов, — ответил я. — Помогу вам найти грузовоз, пропавший при загадочных обстоятельствах».

Инспектор Элдер не раз убеждался в моей исключительной проницательности, но и на этот раз не мог удержаться от возгласа изумления.

«Как вы догадались?!»

«О, это очень просто, — небрежно заметил я. — Во-первых, в моей энциклопедической памяти лежат сведения о том, что двадцать девятого июля возвращаются дальние грузовозы. Во-вторых, судя по вашему виду, вы не спите около двух суток, то есть с двадцать девятого июля. В-третьих, голова ваша чуть повернута вправо. Это из-за того, что вы двое суток пытались связаться с грузовиками, а экраны связи с грузовиками стоят чуть справа. Соединив все эти звенья, я пришел к выводу, что один из грузовиков не вернулся. И наконец, если вы обратились за помощью ко мне, значит, исчезновение грузовика было загадочным».

«Гениально! — не удержался Элдер. — И вместе с тем как просто!»

«Все, что гениально, просто, — скромно произнес я. — Теперь расскажите обо всем поподробнее».

И вот что рассказал старший эксперт. Не вернулся на базу фотонный ноль-грузовик 98/117; пилотировал его Василий Сазонов. И раньше его полеты были не вполне обычными, но этому не придавали особого значения. То он возвращался на несколько часов раньше срока, то прилетал отдохнувший и загоревший из самого тяжелого рейса. Загоревший! А в секторе АС 325 Б/84, куда он летал, нет ни единой приличной яркой звезды, излучающей ультрафиолет. Все звезды красные, с температурой фотосферы намного ниже шести тысяч градусов. Под такими не загорись!

Поговорив с Элдером, я пошел в информатеку и просмотрел ряд необходимых мне материалов.

На следующий день я пошел на космодром. Мой корабль, оснащенный сверхмощными двигателями, стоял в самом глухом углу. Сквозь бетонные плиты, на которых стоял корабль, проросла жесткая трава. Люк открылся с трудом. Зашел я в

рубку, бог ты мой! Что это? Мерзость запустения! Повсюду слой пыли толщиной в палец, везде паутина, летают мухи, размером чуть ли не с воробья. Должно быть, мутантные. А пауки! Вы представляете, каким должен быть паук, чтобы поймать такую мушку? С трудом я навел порядок, загрузил ракету и отправился в сектор АС 325 Б/84. Действительно, грузовик будто в воду канул. Вдруг гравиметр стал показывать наличие гравиполя большой напряженности. Какая-то масса сильно притягивала ракету. Вначале я не придавал этому особого значения, но гравитация стремительно нарастала. Я со свойственным мне великолепным хладнокровием решил включить маневровые двигатели, чтобы развернуться дюзами основного двигателя к источнику гравитации. Но, о ужас, после нажатия клавиши я не услышал знакомого грохота со свистом. Маневровые двигатели не заработали! Я молниеносно включил дефектор, и на экране появилась надпись: «Не сработал контакт № 173 цепи № 25». Я бросился к цепи № 25 и, ломая ногти, сорвал крышку. На электродах толстым слоем лежала паутина. Она как диэлектрик воспрепятствовала замыканию контактов. Очистив контакты, я бросился в рубку. Но было слишком поздно. Показатели гравиметра были таковы, что нельзя было и мечтать вырваться из могучих гравитационных объятий черной звезды. Да, это была черная звезда — образование крайне загадочное. Ее неимоверно большая сила тяготения свертывает время и пространство в тугой кокон, из-под этого панциря не может вырваться даже свет.

Мой мозг по быстрдействию не уступал вычислительной машине, однако в тот раз я размышлял мучительно долго. Но и на этот раз чрезвычайно сложная проблема была решена. Я вспомнил старую-старую теорию: если лететь к центру черной звезды с достаточным ускорением, то можно достичь скорости, превышающей световую. Вследствие этого летящий объект оказывается в иной физической реальности, где время течет в обратном направлении.

Больше не раздумывая ни секунды, я включил двигатели на полную мощность и с еще большей скоростью помчался к центру черной звезды. На какое-то время я забылся; когда же очнулся, то оказалось, что ракета с громадной, но быстро уменьшающейся скоростью удаляется от черной звезды. Вокруг простирался совершенно незнакомый космос. Ровно светили звезды, похожие на Солнце. Мой взгляд упал на корабельный хронометр, секундная стрелка двигалась в обратном направлении.

И тут меня осенила мысль. Вот она, разгадка того, что пилот Василий Сазонов возвращался раньше срока загоревшим и отдохнувшим. Неплохо придумал, лодырь этакий! Где же планета, на которой он отдыхал? Моя несравненная интуиция подсказывала мне, что это должна быть планета земного типа.

На такую планету я и отправился. Несколько дней прошло в бесплодных поисках. Я уж было начал подумывать об отлете, предположив, что, как ни странно, интуиция на сей раз меня подвела. Но случайно на дереве, стоящем недалеко от места посадки, я увидел надпись, вырезанную перочинным ножом: «Тут был Вася». Был! Но где же он теперь? Надо было немедленно обследовать другие планеты. Я вошел в корабль и уже хотел было стартовать, как неподалеку с грохотом опустился фотонный ноль-грузовоз. Из грузовика вышел... Вася. Первым моим побуждением было выскочить из корабля навстречу пилоту, но, взглянув на него внимательнее, я отказался от него.

Я понял, что это был не Вася. Это был... матод. Я успел заметить когти на его руках.

Рука внука вздрогнула, и кофе пролился на скатерть.

Космогатор увлеченно продолжал:

— Не напрасно я провел целый день в информатеке. Мне стало известно, что на дальних окраинах Галактики были случаи столкновения с матодами — существами злобными и крайне мстительными. Природа наделила их недобрым разумом и способностью изменять форму своего тела в довольно широких пределах. По желанию они могли принять облик любого животного и даже человека. Да, да, друзья мои, не удивляйтесь, даже человека! Единственное, что могло их выдать, это когти, которые по прочности превосходили сталь.

Я передал матоду по рации, что выйти не могу, так как подвернул ногу, и предложил вместе лететь на базу. «Вася», колебавшись, согласился. Мы полетели параллельными курсами. Я внимательно наблюдал за действиями моего спутника и вовремя заметил, что грузовоз начал разворачиваться ко мне главными дюзами. «Эге, голубчик! — подумал я. — Никак ты хочешь меня поджарить». Мой корабль был маневреннее, и я успел опередить матода. Я развернул корабль и ударил по грузовозу пламенем. Его обшивка таяла как масло. Взрывом матода выбросило из кабины, но он ухитрился как пиявка уцепиться за обшивку моего корабля. Его живучесть была потрясающей. Его когти оставляли глубокие борозды на обшивке. Манипулятором я пытался захватить матода, чтобы поместить его в изоляционную камеру. Матод рванулся и, оставив в манипуляторах свой коготь, стал медленно удаляться от корабля. Так закончилась моя встреча с матодом.

Теперь о настоящем Васе. Этот лодырь доотдыхался до того, что оказался в давно прошедшем времени и вынужден был вылететь в реальное время, чтобы дожидаться момента, когда можно было бы вернуться на базу. Несколько месяцев он просидел на одном из спутников Юпитера, играя с аборигенами в шашки-подавки и другие интеллектуальные игры. Тогда-то матод и украл его грузовоз, воспользовавшись беспечностью пилота.

Коготь матода хранится у меня под стеклом в соседней комнате. Если вам интересно, можете взглянуть. Прошу.

Со старомодной грацией поклонившись, Антоний Эндотелиус, как гостеприимный хозяин, пропустил гостей вперед. Гости поспешно вошли в комнату. Старый космогатор быстро нажал кнопку у входа, и толстая стальная плита упала сверху, закрыв гостям путь назад.

На стене перед гостями зажегся экран, и оттуда иронично улыбался Антоний Эндотелиус-младший, старый космогатор, бывший Чрезвычайный Инспектор.

— Вы весьма неосторожны, господа матоды, — насмешливо произнес он. — Зная о вашей мстительности, я давно поджидал вас. Но кровавая месть над Чрезвычайным Инспектором не удалась по вашей же вине. Вас выдали прежде всего ваши перчатки, которыми вы скрывали когти. Глупо! Кто же в такую погоду носит перчатки? Я хорошо знаю своего внука; он не настолько слепо следует моде, чтобы подчиняться ей всецело. Теперь о кофе. Кофе по-гуарамски не в силах выпить ни один человек, кроме меня. Его пьют жители Гуарама, имеющие сверхпрочный семислойный желудок. А моя трубка? Табак, который я курю, сделан из древесины псевдодуба. Дым из моей трубки необычайно крепок. От этого дыма однажды погиб Космический Кашалот. А вы расхваливали аромат этого дыма. Еще раз глупцы!

Матоды, запертые в комнате, бесновались. Они всем телом бились о дверь, царапали ее когтями и выли так страшно, что даже через бронированную дверь это производило жуткое впечатление.

— Я вас оставляю, надеюсь, вы простите меня за это, — усмехнулся Антоний Эндотелиус. — Пойду сообщу в Центральный Совет о своем улове. Пусть присылают комиссию.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ СКЕРЦО

Василий Степанович семенил по коридору заводоуправления, искательно заглядывая в таблички дверей: какая покажется добрее. Толкнулся было в один кабинет, но, встретив холодный взгляд большого, видимо, начальника, сидевшего за большим столом, отступил и поспешно прихлопнул дверь, едва не защебив палец.

Затем он остановился перед надписью «Фотостудия». Постоял, соображая, и несмело обрадовался. Поднял руку, чтобы постучать, но заколебался и на минуту застыл в такой позе. Наконец стукнул раз... другой...

Дверь неожиданно щелкнула и приотворилась от удара. Василий Степанович перепугался... но никто не выразил неудобства, и пришелец посмотрел в помещение.

Оно оказалось длинным и полутемным. Смутно виднелась разнообразная аппаратура и провода. Над столом с зажженной лампой склонился молодой человек в ярко-желтой рубашке, с пушистыми черными усами. Он сосредоточенно протирал платком разноцветные стеклышки и вставлял их в прибор, похожий на толстую подзорную трубу.

Василий Степанович потоптался, его не замечали. Тогда он решился сам начать разговор — следующей удачной репликой: — Э-э...

Парень оторвался от работы и, повернув голову вбок (чтобы не дохнуть на оптику), коротко сказал в темноту:

— Входите.

После чего снова углубился в дело.

Василий Степанович растерянно помедлил и проник в комнату.

— Ищу Ставрогина...

Фотограф выразил на лице, что он слушает, но пока лишен возможности разговаривать. Подождав и почувствовав себя неловко от молчания, посетитель добавил:

— Я издалека... Узнал телефон Ставрогина, только не отвечает... А на территорию не пустили... Я увидел на доске По-

чета: Ставрогин, инженер — и пришел сюда... Наверно, вы фотографировали, знаете его...

Молодой человек опять отвернулся в сторону, чтобы подышать, и между шумными вдохами сообщил:

— Занятой товарищ — Ставрогин.

Гость подумал, следует ли уходить после таких слов, или еще нет, и торопливо полез во внутренний карман пиджака, извлек кипу истертых — в большинстве, должно быть, давно ненужных — бумажек. Перебрал ее и вытащил кусок почтового бланка.

— Я получил перевод... На обороте написано: «Согласно заявлению Б. В. Ставрогина».

Фотограф впервые взглянул на пришедшего, а заодно и на бланк. Там была указана трехзначная сумма. Парень осторожно положил прибор, приподнялся и протянул руку:

— Мйшей меня зовут. За что перевод-то?

— Меня Васей. Не знаю за что.

— Садись. Как не знаешь? Ты Ставрогину соавтор?

— По какому делу соавтор? — не понял Василий Степанович, присаживаясь на стул.

— Он изобретатель у нас, — не без гордости сообщил Миша. — Ты ему помогал?

— Не знаком с ним вообще.

Молодой человек поднял брови и вернулся к своему занятию. После раздумья он спросил, опять отвернувшись:

— А какую-нибудь работу для завода выполнял?

— Даже не слышал никогда про ваш завод.

Фотограф недоуменно помолчал минуту-другую. Вложил в прибор последнюю линзу и наклонился за стол, начал там, видимо, привинчивать собранное устройство к чему-то. Послышался писк, будто он задел говорящую куклу.

— Может, ошибка? — предположил гость, надеясь на возражение.

Миша пожал плечами. Выпрямился и достал из нагрудного кармана плоскую коробочку. Из нее со свистом вылетел и закачался никелированный штырь. Коробочка зашуршала.

— Рация, — небрежно пояснил Миша. — Мы со Ставрогиным работаем над одним тут агрегатом. Борис дал мне эту штуку, чтобы в любой момент со мной советоваться. Он такую же всегда носит при себе...

— Слушаю, — раздался резкий голос.

— Борис Вадимович! — скороговоркой начал парень, вмиг потеряв часть уверенности. — Фортиссимо сгорело...

— Опять попури с интегралом будет в три люкса? — сердито осведомился голос.

— Нет, я поставил прокладку в синус умерато.

— Не уникально. По системе Станиславского там нату-

ральный логарифм в миноре и диссонансы на звонких и шипящих.

Фотограф виновато промолчал и покосился на Василия Степановича: как на него действует столь умная беседа?

— В аллегро-факторнале возведем ребемоль в квадрат, — решил Ставрогин. — Все?

— Еще вас человек дожидается. Передаю ему.

Миша сунул рацию под нос гостю. Тот не ожидал такого поворота и долго не мог найти что сказать. Тогда Миша отвел руку с аппаратом и сам проинформировал Ставрогина о цели «Васино» приезда.

— Рад приветствовать вас, Вася, — радушно пророкотало в коробочке. — Направляюсь к вам. Михаил, изготовь портрет гостя для многотиражки и для галереи изобретателей.

Рация треснула и отключилась.

Миша торопливо встал, пряча ее, и сказал:

— Пойдем!

Он повел приезжего в другой конец студии.

Повсюду стояли ширмы и штативы, столы с фотографическими ванночками. Хозяин шел быстро, а Василий Степанович в полутьме зацепился ногой за провод. Пока он освобождался, Миша пропал впереди за высокими железными ящиками. Что-то холодное скользнуло по лицу пришельца... Он отпрянул. Это оказалась свисавшая сверху фотопленка.

Возле неясно белевшей стены Миша усадил гостя на табурет. Отошел и с усилием подкатил на тележке что-то круглое и поблескивающее.

— Зажмурься, — предупредил он.

Тотчас слева от Василия Степановича взорвался ослепительным светом громадный прожектор. Вся комната мгновенно утонула во мраке, лишь приезжий остался в центре горящего, расплавленного пространства.

— Другие ретушируют... — объяснил фотограф, в несколько приемов переставляя по полу какую-то тяжесть, громящую жестью. — А я считаю, натуру надо как следует осветить. Ведь что такое морщинка? На фотографии это тень. Надо ее убрать...

Спереди в Василия Степановича ударил белым светом юпитер. Справа слабенько загорелась лампочка на штативе. Снизу в лицо вонзился луч «пистолета». Вверху запылал софит.

— Но тень все же нужна, — добавил Миша. — Для выпуклости. Поэтому такой мощный прожектор. Он все остальное пересиливает.

Гость почувствовал припекание. Постепенно становилось очень тепло.

— Поглядел я: Ставрогин изобретает... Ну и сам тоже... А ты, наверно, что-нибудь изобрел. Работаешь кем?

— Музыкантом работаю, — отозвался Василий Степанович,

изо всех сил стараясь не моргнуть, чтобы не сплеховать на портрете.

— Ну да? — вдруг обрадовался Миша. — На чем играешь?

— Трублю. На трубе.

— А-а... На баяне не можешь...

— Почему не могу? — оскорбился музыкант. — На баяне могу и на гармошке...

— Что ты говоришь!

Завизжали колесики, из тьмы высунулась деревянная фотокамера на скрипучей подставке. Хозяин студии, согнувшись позади нее под черным покрывалом, посоветовал:

— Подумай про что-нибудь возвышенное.

Василий Степанович выпятил грудь и, поислав тему для высоких мыслей, вспомнил о переводе. Это денежное явление сильно нарушило его жизнь. Артист уже несколько дней был в опасливом недоумении, и хотя все-таки завел секретную от жены сберкнижку, но раздумывал так глубоко, что во время концерта не заметил бекара в нотах и дул до-диез вместо до, пока дирижер, исчерпавший все способы сигнализации, не кинул в него палочкой. Тогда трубач придумал для оркестра уважительную причину — запой, жене сказал, что едет в командировку за новой сурдиной, и отправился на завод.

— Надо тебе в руки что-нибудь техническое дать! — догадался Миша.

В темноте шаркнул выдвигаемый ящик стола, загремели железки. Василий Степанович воспользовался моментом и потер кулаками глаза, их пекло. Случайно он дотронулся до пиджака и отдернул руку, обжегшись. Он заопасался: не подпалить бы одежду...

— Во, штангель! — нашел фотограф. Он появился из черноты, неся штангенциркуль. Вся фигура Миши оставалась темной, лишь по краю ее обвело золотистое сияние. Молодой человек сунул инструмент в руки деятелю культуры и вернулся во мрак, сам заслоняя глаза ладонью. Снова завизжали колесики.

— А мы тут со Ставрогиным соорудили баян с проектором, — заговорил Миша, опять вывозя камеру на свет. — С каждой нотой связали какой-нибудь цвет. На клавиатуре исполняется музыка, а на экран летят разные лучи. Выходит цветомузыка.

— А, — отозвался артист, чтобы показать: это слово ему знакомо.

— Выше голову... Тогда верхнюю пуговицу застегни. Или у тебя ее нет? Тогда ниже голову, подбородком закроешь... А может агрегат и наоборот работать, выдавать звуки в соответствии с красками предмета, который перед ним.

Василий Степанович боялся пошевелиться: при движениях раскаленная одежда обжигала. Коленям стало горячо от брюк. Левую щеку стянул жар.

— Опробуешь нашу машину? А то профессионала не найдем никак.

— А, — утвердительно сказал музыкант. Но уверенности в голосе не было: за баян-то Василий Степанович брался разве только на свадьбах. А там играют не очень виртуозно.

Вдали, за концом света, стукнула дверь, кто-то вошел.

— Сейчас птичка вылетит, — поспешно пообещал Миша. Артист оцепенел. Штангенциркуль он держал перед собой обеими руками, как трубу, точно собирался в него дунуть.

— При полной иллюминации? — насмешливо произнес вошедший, быстро приближаясь в неразберихе.

Фотограф пробормотал что-то смущенно. Стукнул проэкспонированной фотопластинкой, светильники, кроме лампы, медленно угасли. Вместо птички к музыканту устремился высокий мужчина в сером, идеально сидящем костюме. Ему было, наверное, под сорок. Он лучезарно улыбался и протягивал приезжему руку.

— Здравствуйте, Василий... простите?

— Степанович, — сказал артист, после яркого света слепоглядя на Ставрогина, и потер ладонями обожженные колени. Инженер решил, что гость вытирает руки перед пожатием, и на всякий случай вежливо тоже посмотрел на свою ладонь.

— Он на баяне может, — подал голос Миша, удаляясь. — Хочет испробовать нашу музыку.

— Весьма обязаны, — признательно произнес Борис Вадимович.

Из красных и синих кругов перед артистом выплыла рука в белой манжете и с золотым кольцом. Он потряс ее: рефлекс — подают, здоровайся. Ставрогин подхватил валявшийся поблизости стул и сел, аккуратно подпернув брюки. Он улыбался, но лицо было холодноватым.

— Вообще-то я трубач... — нерешительно сообщил Василий Степанович. — В оркестре...

Но Миша уже тащил громадный баян с наложенной на него сверху подозрительной трубой. Несколько раз споткнулся о кабели, повалил какие-то предметы и опустил агрегат на колени музыканту.

Баян оказался необычно тяжелым. Раз уж отступить было некуда, оркестрант постарался как можно более лихо накинуть ремни на плечи. И машинально поставил пальцы туда, где начинается «Когда б имел златые горы...». Но, покосившись на инженера, опустил руку.

— На объектив переключено, — спохватился фотограф.

Борис Вадимович откликнулся:

— Ничего. Полезно для знакомства с возможностями аппарата. Направьте инструмент, к примеру, на Михаила и растяните мехи.

Парень приосанился и расправил усы, хотя их положение

ряд ли изменяло его цветовую гамму. Он был в ярко-желтой рубашке, в малиновых брюках, из кармашка пышно торчал зеленый платок.

Василий Степанович с недоумением потянул баян в стороны.

Раздался скрипучий, режущий вопль — смесь визга с воем. Крепко засвербело в ушах.

Музыкант подпрыгнул и едва не упустил машину на пол. Ставрогин вовремя удержал ее.

— Светофорное сочетание, — сказал он, иронически глянув на фотографа. Чем-то щелкнул на аппарате и попросил: — Повернитесь к стене, Василий Степанович. Исполните что-нибудь.

Из проектора возник конус света. Артист пришел в себя, вытер холодный пот и пересел лицом к белой стене, яркий круг упал на нее.

Трубач некоторое время помедлил, как бы сосредоточиваясь, а на самом деле для важности. Затем тряхнул редкими волосами и вдохновенно заиграл.

По экрану метнулся синий сполох. Простенькая мелодия недружно расширилась, в ней появились украшения. Освещенный круг стал бурым, из него всплывали рыжие пятна. Исполнитель запустил длинную фиоритуру с пронзительными висюльками. Экран сделался устойчиво серым...

Оркестрант прервал игру и поковырялся в пуговках баяна:

— Не настроено, что ли...

— Возможно, пьеса, — корректно возразил Борис Вадимович, — ...не совсем удачная. Если позволите, я предложу вам ноты.

Интерпретатор побагровел. Играл он свой собственный опус.

Ставрогин вынул из кармана неожиданно затрепанный блокнот и полистал его.

— Ваше произведение? — свысока, чтобы скрыть конфуз, осведомился неловкий сочинитель.

— Ни в коем случае! Не решусь злоупотреблять вашей любезностью.

Инженер поднес Василию Степановичу рукопись. Трубач снизошел до нее и долго читал, непроизвольно надув щеки и шевеля пальцами. Наконец собрался с духом и очертя голову пустился по нотным линейкам и по клапанам.

Этюд начинался едва ли не одними паузами. На стене они сопровождалась чернотой. Затем стало повеселее, темп ускорился. Появились фиолетовые и голубые тона. Пошли хитрые узоры в мелодии, зеленые и желтые всплески на экране. После нескольких смеющихся созвучий произведение завершилось триолями и оранжево-красным пламенем.

— Ишь! — признал музыкант, отпуская кнопки. — Чье это?

Инженер хитро переглянулся с фотографом и спросил:

— Простите, а чье авторство вы могли бы предположить?

Василий Степанович точно отличал, пожалуй, только Щедрина от Моцарта. Тем не менее он не захотел ударить лицом в грязь и как можно тверже заявил:

— Ранний Прокофьев.

На случай ошибки у него был заготовлен ответ, что это подражание Прокофьеву или что замечательный композитор в юности невольно заимствовал кое-что у предшественников, как любой творец поначалу.

— Да? — вдумчиво произнес Ставрогин. — Надо будет проверить... Но изящный опус, не правда ли?.. Михаил! — вдруг сказал он. — Сбегай ко мне, на столе большая тетрадь, принеси.

Фотограф, к этому времени затолкавший зеленый платок поглубже в карман, чтобы уменьшить свое сходство со светом, кинулся к выходу.

— Поставьте инструмент, Василий Степанович. Я очень и очень рад был увидеть профессиональное исполнение. Что же касается присланного вам вознаграждения...

— Да, — заинтересовался трубач и опустил баян на пол.

— Наш инструмент как бы переводит произведения музыки на язык живописи. И наоборот. Разумеется, этот перевод неполон: машина не рисует картин и не пишет симфоний... Скажите: задача, опубликованная в областной газете, — ваше единственное шахматное сочинение?

— Задача? — опешил артист. — Не сочинял я задачи...

— То есть... простите?.. В редакции сообщили именно ваш адрес.

— Не знаю.

Ставрогин перестал приятно улыбаться. Помолчав, он сообщил с сожалением:

— Увы, Василий Степанович. В таком случае вознаграждение выплачено неправильно.

Трубач открыл рот. Некоторое время он сидел так, потом забормотал:

— Как неправильно?.. Что увы?! — Голос его окреп. — Почему неправильно?! При чем тут задача?! — Он встал. — Такие деньжищи — неправильно?! Я тебе дам, «увы»! Ксилофонист! — неизвестно почему обругав Василий Степанович.

— Успокойтесь, — холодно произнес инженер. — Давайте разберемся!

— Давайте! — согласился разгорячившийся музыкант. — Разберемся!

— Садитесь... Сядьте!

Оркестрант с размаху сел.

— Я разрабатывал универсальный станок, — начал Борис Вадимович. — Никак не вывязывался узел, подающий заготовку после токарной обработки к фрезе. Мне попала шахматная

задача, положение фигур в которой копирует схему станка. Черный король — обрабатываемая деталь. Ферзь, дающий мат, — фреза. В задаче предусмотрены кривошипны, то есть кони, и упор — черная пешка. Край доски — станина. В какую бы сторону ни отскочил черный король, он неизбежно зажимается белым королем и ладьей и фрезеруется. А по пути он еще подвергается сверлению (сверло — слон, который дает шах) и шлифованию проходной пешкой.

Артист хлопнул глазами.

— Автор задачи и я решали одну и ту же проблему, но каждый на своем материале. За соавторство начислен гонорар.

Василий Степанович ошеломленно посмотрел по сторонам. Достал из кармана случайно завалявшийся там платок, минуту глядел на него и, забыв вытереть лоб, снова сунул в карман.

— Это Валерка!! — вдруг осенило его. — Он деревяшки вечно гонял по доске!

— Кто это?

— Шпаненок мой! Точно!! — Музыкант схватил Бориса Вадимовича за руку и пылко потряс. — Выкинул я шахматы! Двойку он схлопотал... А задача была! С кривошипями. Еще пять рублей я получал за Валерку на почте. Ему-то не дают! Купил ему перочистку. И себе... ну там, пригодилось.

— Очень рад, — сдержанно отозвался Ставрогин. — Поздравляю.

— Спасибо, товарищ... Борис Вадимович. — Гость хитро засмеялся: — А ведь вы могли не сообщать! Никто бы не догадался.

— Я готовлю диссертацию, — сухо пояснил инженер. — Нужно документально подтвердить возможно большее число таких случаев.

— А-а! Еще есть случаи?

— Конечно. Существует множество аналогичных законов в разных областях человеческой деятельности. Например, закон Ома был открыт после длительных изысканий, а в гидравлике подобная закономерность сама собой разумеется. Ясно, что стадо тем скорее войдет в ворота, чем они шире и чем энергичнее погонщик.

Однако Василий Степанович не помнил закона Ома. Изобретатель оборвал изложение и поднялся:

— Простите. Я вынужден спешить. Не смею задерживать и вас.

Артист тоже встал и радостно поскакал к выходу, по пути задевая разные предметы и расплескав реактивы из ванночек на столе.

— А играл-то я чего? — спросил он, останавливаясь у двери.

Ставрогин, бесшумно следовавший за ним, вспомнил:

— Да, ведь Михаил еще должен прийти... — Он в затруднении помедлил и неохотно продолжил объяснение: — Можно найти параллели между наукой и искусством. Скажем, крещендо в музыке то же, что возрастающая прогрессия в математике. Незвестный член — пауза. Обращение аккорда — это извлечение корня... или освобождение от знаменателя, не припомню. То есть вычисления переводимы на язык музыки. Вы исполняли решение системы тригонометрических уравнений.

Оркестрант остолбенел. Он стоял возле двери так долго, что терпеливо ожидавший Ставрогин смягчился.

— Намереваюсь предложить вашему оркестру марш. Это работа по векторному анализу. Параграф третий — партия трубы.

Сбитый с толку работник искусства не нашел что ответить.

— Мир един — это мы расчертили его на сферы влияния и огороды. Но что бы ни было сделано в любой области, оно продвигает вперед всю цивилизацию. Одни науки опережают другие, могут помочь отставшим. Конечно, нельзя механически переносить законы с одной почвы на другую. Но почему не проверить, не соотнести?.. Недавно мне по работе пришлось заниматься остыванием металлов. Сопоставил данный процесс с деградацией в биологии, с инфляцией в экономике, с регрессом в социологии, с редукцией в языкознании... Удалось найти кое-что новое для металлургии.

— В музыке диминуэндо, — неожиданно для себя брякнул трубач. — Затихая, значит.

Борис Вадимович посмотрел на него с интересом. Достал блокнот и записал.

— Спасибо. — Он улыбнулся. — А фотографию сына вы нам пришлите.

— Как приеду — тут же!

Дверь распахнулась, в нее влетел фотограф. В одной руке он держал толстую тетрадь, в другой — конверт.

— Письмо из Академии наук! — закричал он.

— Тише, — осадил инженер. Отобрал партитуру и торжественно передал Василию Степановичу. Затем прочитал надписи на конверте и вскрыл его.

Миша нетерпеливо переминался, пытаясь заглянуть в письмо.

Ставрогин по диагонали ознакомился с текстом, усмехнулся и прочел вслух:

— «Присланная Вами работа П. И. Чайковского открывает новую страницу в развитии математических наук. Как Вы пишете, ученый безвременно ушел от нас. Просим сообщить все, что известно Вам о личности и биографии выдающегося

математика. Сохранились ли другие его рукописи?» И так далее.

— Это какой Чайковский? — прошептал музыкант.

— Петр Ильич. Я перевел в вычисления его симфонию.

Молодой человек, подпрыгивавший от радости, бросился было обнимать инженера, однако не решился и на полдороге изменил намерение, заключил в объятия приезжего. Василий Степанович высвободился, деревянно открыл дверь и тихо покинул студию.

Совсем обеспамятев, он добред по коридору до выхода, спустился по ступеням на улицу...

Мимо пробегал паренек в форме профтехучилища. Артист вышел из оцепенения и схватил прохожего за рукав.

— Извини, — сказал он. — Где тут у вас магазин «Спортовары»? Хочу сынишке шахматы купить... Пусть составляет задачи.



ГРАНИ БУДУЩЕГО



ФАНТАСТИЧЕСКОЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ

I

Эти писатели-реалисты, более того, «бытописатели», едва ли не «документалисты», словно сговорились: то ли молву опровергнуть решили, то ли что-то эдакое в воздухе почуяли, но факт остается фактом: у одного вдруг ни с того ни с сего настоящий, реальный медведь с мужиком о жизни беседует (спился потом, бедолага, медведь спился...), у другого и того хуже — лошади из колхозного табуна на разные философско-этические темы задумываться стали. А третьи, как говорится, до чертиков дописались: самые что ни на есть современные черти творят у них что хотят. Фантастика, да и только.

Когда такой, например, вполне серьезный писатель, как Василий Белов, пишет «Современный вариант сказки про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, услышанный недалеко от Вологды, на Кубенском озере во время бесклевья» (сборник «Целуются зори»), мы понимаем: не все же о серьезном да по-серьезному. Вот вздумалось писателю пошутить, к тому же он и не выдает свои байки за «правду жизни»: рыбацья байка — известное дело, чего только эти рыбаки не нафантазируют! Так что вроде бы и тут писатель не отступился от реальности, выходит, опять-таки все «как в жизни». Почти документально.

Когда у того же Белова читаем, как медведь в лесу мужика помял («Оборвал, охламон, все пуговицы»), думаем: бывает. Но когда мужик предлагает медведю мировую и подает ему чекушку — «он выпил прямо из горлышка. Лапой машет, от хлеба отказывается: мол, хорошо и так, без закуски...» — тут уже ясно: выдумывает, фантазирует. Но что поделаешь, любит народ байки рассказывать, да еще выдавать лукаво выдумку за истину («Вот ведь не поверишь, а все равно расскажу...»). Да и сам писатель не скрывает лукавства, точно обозначая жанр своих «историй»: «Бухтины вологодские завиральные...» Так что и здесь нет погрешности против истины.

Ну а если в народе жива эта страсть к фантазированию и

если современный писатель строит свое произведение, сливая в органическое целое фантазию и реальность, — «значит, это кому-нибудь нужно?». Значит, в этом жанре есть нечто такое, что дорого писателю-реалисту, остро чувствующему насущные проблемы времени?

Ну хорошо, у Белова медведь хоть с мужиком реальным-то беседует, да и вся байка рассказывается все-таки человеком доподлинным. А вот, скажем, у Василия Шукшина «медведь достает пачку сигарет и закуривает...», «Раза два напивался уж...» да еще и в рассуждения кидается. И беседу ведет не с каким-нибудь вологодским («тем самым») мужиком, а... с Иваном-дураком... И пить-то медведь начал из-за, стыдно сказать, чертей. Какой уж тут реализм, какая тут серьезность!.. Ведь и сам автор «Характеров», «Печек-лавочек», «Калины красной» ясно дает знать: перед нами просто «Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума» («До третьих петухов»).

Но так ли это? Да и зачем все-таки автору далеко не шутейных повестей и киносценариев пришло вдруг на ум позабавить читателя сказкой? Припомним: и в «серьезных жанрах» у Шукшина что ни герой, то «чудик», фантазер, неприкаянный искатель правды. Приглядеться к ним — не в одном отыщется под современной оболочкой нечто от вечного Иванушки...

Там, в сугубо реальном что-то упрятано от сказочного. Здесь, в сказочном, — от реального. А герой и здесь и там в сути своей единый — шукшинский.

Но откуда эта тяга к смешению (пожалуй, вернее, к слиянию) разных, таких несовместимых, казалось бы, внешне жанров, форм, методов? Какие веяния времени вызывают к жизни это тяготение реалистов к сказке, к фантастике?

И не придумываем ли мы проблемы? Может, проще объяснить наметившееся в нашей литературе явление, скажем, некоторой усталостью серьезных писателей от серьезных своих произведений, желанием немножко передохнуть? А там и снова за привычное — серьезное дело. Как ни крути, а «фантастических» произведений не так уж и много у наших сегодняшних писателей-нефантастов. И не они определяют «магистральную дорогу» их творчества. А потом что за невидаль! Пушкин тоже писал сказки, даже Лев Толстой, но разве эти «побочные» писания делают их Пушкиным и Толстым? Разве без них мир этих художников стал бы иным? Как, скажем, без «Евгения Онегина», «Медного всадника» или «Войны и мира»?!

Но не скуки же ради, не от нечего делать писались их «Сказки»? Значит, виделся в этом толк и смысл. Но не будем о Пушкине и Толстом, спустимся на землю. Какой толк, к примеру, в шукшинском дураке? Каков его современный смысл? Что открывает он нам в понимании, скажем, народного характера сегодня?

Это смотря как смотреть и смотря что видеть. Можно, конечно, и так, как видел, например, современник и сотоварищ по журналу («Русское слово») Писарева Варфоломей Зайцев, который всерьез утверждал: в русских сказках «из трех братьев два старшие обыкновенно неглупы, а третий глуп, и этот-то знаменитый Иванушка-дурачок и есть любимый герой народных сказок! Таким образом, в них отражается симпатия народа к глупости и твердая вера в то, что дураку на свете жить лучше, чем умному».

А вот мудрец Пришвин признается: «Начинаю еще яснее видеть себя, как русского Ивана-дурака, и удивляться своему счастью, и понимать — почему я не на руку настоящим счастливым и хитрецам.

У меня такого ума-расчета, чтобы себе самому было всегда хорошо и выгодно, вовсе нет. Но, если я все-таки существую, и не совсем плохо, это значит, что в народе есть место и таким дуракам».

Уже и эти два примера не наталкивают ли на мысль, что в «наивном образе», созданном народной фантазией, не так уж и мало реальности.

Если люди разных эпох, задумываясь над проблемами жизни, времени, над судьбами народными, не просто упоминают образ, но, постигая его, пытаются осмыслить и разрешить мучающие их вопросы, то так ли наивен, только ли забавен сам образ? Так ли уж нереально он фантастичен? И не заключена ли в нем глубокая бытийная философия, мудрость, современная, может быть, и нашей с вами эпохе?

Едва ли не в каждом народном образе, в его порою скрытом для нас, реалистов, подспуде, таится удивительная созидательная сила, которую Пришвин называет легендой или сказкой. *«Легенда как связь распадающихся времен — вот единственно реальная в свете сила (курсив мой. — Ю. С.). Сказка — это связь приходящих с уходящими».*

И не случайно писатели начинают обращаться к фольклорным образам, открывая в них не только философскую глубину, но и широту, связующую времена.

Ну а что же беснующиеся в сказке Шукшина «До третьих петухов» черти? И они не произвольная придумка автора, но тоже одно из древнейших порождений народной фантазии, емкое бытийное обобщение, прочно вошедшее в наш обиход. Привычный образ русской сказки — темная, враждебная человеку и миру, разрушительная (но умная) стихия («нечистая сила») вошла в сознание нашего народа и уже в древний период стала традиционным литературным персонажем. Вспомним этот образ в «Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим», в «Повести о Савве Грудцыне», в пушкинской «Сказке о попе...» и его же философски трагическое истолкование в стихотворении «Бесы»... Происходит как бы постепенное

накопление возможностей и проявлений внутри единого по сути образа. Каждое последующее конкретное его воплощение как бы потенцирует в себе и все известные предшествующие. (Естественно, это относится не только к образу черта.) Кстати, суть такого явления как бы наглядно подчеркнута, например, и эпиграфом из Пушкина в романе Достоевского «Бесы», и всем идейно-образным строением произведения. Черт прошел и через роман «Братья Карамазовы», всплыл в символике «Мелкого беса» Федора Сологуба, определил атмосферу бесовщины в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова.

Черти Шукшина явно из этого ряда.

В отмеченном характере подобной традиционности образов уже заключена способность «соединять времена».

Я вовсе не хочу сказать, что в конкретном воплощении сказки «До третьих петухов» ее автор сумел создать образ, включающий в себя и то, что было достигнуто в этом плане Пушкиным, Гоголем, Достоевским и т. д. Нет, конечно же, здесь нужно говорить скорее о весьма ощутимых утратах. Но традиционный образ живет еще и как бы своей особой жизнью — в опыте читателя, невольно подключающего данный конкретный образ к тем его воплощениям, которые уже отложились в его сознании. Конечно, для этого нужна определенная подготовленность читателя к сотворчеству с писателем. Но без этой внутренней традиции сознания нет и истинного читателя. Ибо чтение — это не столько получение информации, сколько — и прежде всего, и главное — внутренняя созидательная работа сознания.

Но все-таки каков внутренний смысл традиционного образа, в чем его созвучие нашему времени?

Говоря о традиционном образе, и обратимся к традиции.

II

Русская классическая литература — явление особое, всемирно-историческое. Его можно и нужно осмысливать не только в ряду литератур других стран, но и вместе с тем в цепи вершинных явлений истории развития человеческого духа. XIX век в нашей литературе — это русская эпоха мировой истории культуры. Россия заставила мир прислушаться к своему новому слову в общемировом диалоге культур, поставила мир перед необходимостью взглянуть на себя, на свои проблемы русскими глазами.

Не случайно именно XIX век некоторые наши исследователи справедливо называют веком русского Возрождения. В. Кожинов, например, обоснованно утверждает, что «искусство пушкинской эпохи родственно ренессансному реализму». Родственно не значит аналогично. Уже в XVIII веке русская литература осваивала через опыт Европы античное наследие и принципы «новой литературы», но в XVIII веке, считает исследователь,

«еще не достигло зрелости и цельности подлинно национальное самосознание, которое было бы способно утвердить себя в адекватной форме».

Россия не просто приобщалась к европейской культуре, но, усваивая ее опыт, приходила к собственному, национальному самосознанию, которое и отразилось в нашей литературе впервые в полной и всесторонней форме в творчестве Пушкина. Именно национально-народный гений Пушкина сделал нашу литературу европейской и даже всемирной. Это давно уже стало аксиомой. Заговорил же я об этом вот почему.

Возрождение предполагает возрождение чего-то к новым формам жизни. Естественно, что сама жизнь вызывает необходимость этого явления. Итальянское Возрождение, как мы знаем, было прежде всего освоением опыта античности. Европа через Италию воспринимала и в своих национальных формах усваивала этот опыт. Античность стала образцом для подражания, эталоном и бродилом развития национальных культур Европы.

Основой новой европейской культуры стала греческая античность, в которой Европа как бы увидела и осознала свое «детство», так как именно в Древней Греции «оно развилось всего прекраснее» (Карл Маркс). Однако что же лежало в основе самой этой греческой культуры? «Предпосылкой греческого искусства является греческая мифология, то есть природа и сами общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазией...» Но не любая мифология. «Египетская мифология никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства. Но, во всяком случае, какая-то мифология», — писал Карл Маркс.

В основе развитой культуры (каковой, безусловно, была древнегреческая) в конечном счете лежит мифология. Притом не любая, а именно данного народа. Мы и сегодня пользуемся образами и символами греческой мифологии. Они вошли в наше сознание через опыт европейской (в том числе и русской) культуры. Однако заметим, такое значительное влияние на общеевропейскую культуру греческая мифология оказала не сама по себе и не потому, что она была наиболее развитой, наиболее соответствующей духу нового европейского сознания, складывавшегося в эпоху Возрождения. Нет, не только поэтому, но прежде всего потому, что Европа обратилась к античной культуре через Гомера и Гесиода посредством постижения ее вершинных образцов.

В первой трети XIX века античность — плоть и кровь русского искусства.

С творчеством романтика Жуковского в русскую жизнь входит едва ли не весь античный пантеон: Вакх, Эрот, Зевс, Аврора, Горгона, Аполлон; «Брега Эллады», «Илионские девы»,

«добрый Вахвов дар вино», «Олимпийские вершины» и т. д. становятся заметным и, главное, обязательным элементом русского поэтического да и прозаического и даже эпистолярного стилей.

Уже не солнце садится на западе, но «горящий Феб все к западу стремится» (Батюшков), не весна пришла, но «Флора милая, на радужных крылах, к нам обновленная слетела» (Баратынский) и т. д. Причем такая лексика постепенно перестает быть уделом лишь «высокой» поэзии. Трудно назвать поэта, который тогда «чудом» избежал бы этого влияния, потому что то была не мода, не поветрие, но естественный этап в поисках своего, национального стиля.

В поэзии Пушкина, нашего национального поэта, который подлинно был «наше пророчество и указание» (Достоевский), античность становится существенной формой выявления национального и даже элементом становящегося самосознания именно как русского. Поэт осмысливает свою судьбу и свое назначение: я пел «под Геликоном, где Касталийский ток шумел, я, вдохновенный Аполлоном»... И совершенно естественное для Пушкина (и для стиля времени в целом) заключение: «И неподкупный голос мой был эхо русского народа».

Но вместе с тем в творчестве Пушкина постепенно нарастает и иной стилиевой пласт, иные образы тревожат его воображение: «...мой добрый домовой, храни селенье, лес...» (1819).

Наряду с нимфами появляется «Русалка»; рядом со стихами «Пришли ее мне, Феба ради, и награди тебя Амур» — «Песнь о вещем Олеге» (1822); одновременно с «Вакхической песнью» и «Арионом», которые, конечно же, воспринимались как современное слово в духе и смысле времени, в том же самом духе, но в них, подспудных, пока еще не явно господствующих формах, национальный гений осуществляет себя и в «Зимнем вечере» с его:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

Библейская символика «Пророка» естественно соседствует с Пегасами и Ипокренами, а обе вместе — с «простонародными» «Песнями о Стеньке Разине» (1826).

Пока еще даже могут уживаться в одном стилиевом целом «Навстречу северной Авроры» и «кобылку бурую запречь» (1829), однако такие сочетания становятся со временем все более редкими. Античность начинает осознаваться уже как бы не внутри национального, но рядом; как нечто естественное для времени, но особое.

Осознание этого процесса отделения античности от реальности своеобразно воплощено и в «хрестоматийных» стихах Тютчева «Весенняя гроза», где естественную картину грозы венчает строфа:

«Ты скажешь: ветренная Геба...» и т. д.

То есть поэт как бы разделяет единое явление между двумя формами восприятия и сознания: Я говорю: «гроза», «вот дождик брызнул, пыль летит» и т. д., а Ты скажешь: «ветренная Геба».

Эпоха русского Возрождения, осваивая достижения европейской культуры и вместе с ней античности, приходила к новому осмыслению своего наследия, в том числе и народной образности, уходящей корнями в глубь тысячелетий, в славянскую мифологию.

Величие Пушкина, по мысли Достоевского, как руководящего гения, «состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почти совсем не понимавшими его людьми, нашел твердую дорогу, нашел великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был народность, преклонение перед правдой народа русского». Путь к этой правде шел, в частности, и через осмысление своей, национальной, народной культуры.

Позиция Пушкина не сразу и не у всех находила понимание. В связи с его «Сказками» Н. И. Надеждин писал в 1832 году: «Европейские литературы возвращают теперь свою народность, обращаясь к своей старине. У нас это возможно ли? Таково ли наше прошедшее, чтобы восстановлением его можно было осеминить нашу будущность?..»

Пушкин верил в «наше прошедшее» именно потому, что как пророк предвидел и «нашу будущность». Может быть, и это заставило того же Надеждина через некоторое время пересмотреть свои взгляды и уже в 1837 году заявить, что европейские народы приступили к восстановлению своих «неписанных преданий... Пора и нам взяться за это важное, еще не тронутое поле».

Но на этой ниве уже была проложена пушкинская борозда. Духовную атмосферу всеобщего интереса к национальной старине сразу же по приезде в Петербург осознал и Гоголь. В письмах к родным он настойчиво повторяет просьбы присылать ему все, что можно услышать и разыскать о народных обычаях и нравах. Его интересуют песни, сказки, старины, поверья. Вот хотя бы одно из таких писем: «Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч., и проч., и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно».

В 1831—1832 годах выходят его «Вечера на хуторе близ Диканьки» с их колдунами, ведьмами, русалками, с их органическим переплетением реальности и народно-фантастической образности. Необходимость освоения национальной, тысячелетней народной культуры осознается как одна из важнейших основ социального и духовного самосознания России той эпохи.

Сначала внутри всеобщего процесса русского Возрождения как освоения передовой культуры Запада, а затем, все более осознаваемое как главное, центральное, начинается освоение и родных истоков. Внутри Возрождения на основе всевропейской культуры зарождается процесс как бы собственно русского Возрождения — на народно-национальной основе, в том числе и на основе «обычаев, и поверий, и привычек, принадлежащих исключительно» (Пушкин) русскому народу... В русское сознание входит «Слово о полку Игореве», значительно повлиявшее на интерес к древней национальной культуре, к «своей античности». «Слово...» как бы подчеркнуло, что свое наследие важно не только потому, что оно свое, но прежде всего потому, что в нем сокрыты бездны нетленной красоты, величие духа, непреходящей мудрости.

В национальном сознании совершается своеобразный переворот: тот идеал красоты, который воплощала в себе античность, открывается и в своем наследии. Русская культура постепенно начинает осознавать, что «это соприкосновение с красотой идеала есть и в былинах наших, и в сильной степени. Там есть удивительные типы Ильи Муромца и фантастического Святогора» (Достоевский). И конечно же, не в одних только былинах. Огромное в этом плане значение имела и «История Государства Российского» Карамзина. «Древняя Россия, — по слову Пушкина, — казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».

Высок интерес и к народной фантастике, к эпическому и даже мифологическому наследию Руси. Назовем «Аленький цветочек» С. Аксакова, «Конек-Горбунук» П. Ершова, забытые сегодня романы Александра Вельтмана «Кашей Бессмертный», «Святославич, вражий питомец», сказки В. Даля.

Собираются русские исторические песни, былины, пословицы, загадки, сказки (сборники П. Киреевского, Рыбникова, Барсова, Даля, Худякова, Садовникова и др.); большим событием нужно назвать собранные Афанасьевым русские сказки. Записываются фольклорные произведения, пишутся научные труды (среди них такие, как «Славянская мифология» Костомарова, «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева, работы Буслаева, Срезневского, Сахарова, Снегирева, Ор. Миллера, Потебни и многие, многие другие).

Народные поверья, обычаи, легенды собирают Лесков, Мельников-Печерский, Эртель, Г. Успенский, Короленко. Осознан-

ный интерес к освоению богатств народной мудрости, поэзии, фантазии не ослабевает на протяжении всего XIX века.

Правда, известны и отрицатели-скептики, искренне считавшие, что уже в то время народные сказки, былины, пословицы, загадки и т. д. «могут интересовать собирателей разного хлама, но никому не нужны из мало-мальски образованных людей». Нужно сказать, что в подобных заявлениях содержалась правда факта и даже «предвидение»: духовные потребности общества в «чудесном» в какой-то мере трансформировались в XX веке в особый литературный жанр научной фантастики, как бы более соответствующей миропониманию людей эпохи атома, освоения космоса, эпохи НТР.

Однако фантастика научная существует как один из жанров наряду с другими, народная же — органическая составная часть единого целого — реалистического метода, то есть явление внутреннее. С другой стороны, научная фантастика не может вместить в себя всю полноту той человеческой потребности в полете духа и мысли, которую несет в себе народная, выработанная опытом тысячелетий.

Такие мировые образы, как Прометей, Сатана, Фауст, Мефистофель, Вечный Жид и т. п., — порождения народной фантазии. Социально-философскую наполненность, делающую их явлениями всемирными, они получили уже в классическом литературном истолковании. Средневековая легенда о докторе Фаусте вряд ли могла завоевать мир без «вмешательства» Гёте.

Образы русского фольклора нашей национальной фантазии по своему внутреннему наполнению вряд ли чем уступают всемирным. Вспомним хотя бы удивительные по философски бытийной насыщенности и мощи образы Святогора-богатыря, Миккулы Селяниновича с его переметной сумой, в которой «вся тяга земная». Кашей Бессмертный — это образ, равный которому трудно найти даже и среди античных фигур, Садко, Илья Муромец, Лихо Одноглазое и множество других таят в себе огромный, не растраченный и до сих пор запас энергии народной фантазии.

Одни образы (да и целые легенды, былины, сказки) предааны забвению, стали достоянием лишь академической науки, другие едва ли не насмешливому пренебрежению. Какая, мол, всемирность, какая там философия в этих наивных лапотниках?! А между тем при любовно-вдумчивом проникновении писателей в их непреходящую сущность и народное миропонимание, воплощенное в них, они могли бы стать основой не менее всемирных образов, чем, скажем, тот же гётевский Фауст или Дон-Жуан Байрона. Достаточно вспомнить, какую поистине трагически философскую наполненность приобрел образ Ивана-Царевича в романе Достоевского «Бесы», какую социальную и бытийную взаимосвязь нашел писатель в самой интерпретации

образа — символа бесов; вспомним образ черта — этого «русского Мефистофеля» из «Братьев Карамазовых», значение образа-символа «матери — сырой земли» во всем творчестве Достоевского.

Трудно представить себе русскую литературу без таких классических воплощений народной мудрости, как «Мороз — Красный нос» Некрасова, «Левша» Лескова, «Снегурочка» А. Островского.

Фантастический элемент (и народно-поэтический, в частности) стал неотъемлемым качеством русского реализма. Видимо, нет необходимости говорить, что процесс русского Возрождения не был чисто литературным явлением.

III

В последние годы в нашей стране наблюдается повышенный интерес к архитектурным памятникам старины, к народным песням, обычаям, к древней живописи и т. д. И не только у нас, но и далеко за рубежом. Правда, порою такой интерес находит удовлетворение в различных формах «а-ля рюс», но ведь и у нас за всем этим нередко скрывается обыкновенная мода на экзотику. Что ни говори, а ведь до этого нужно дойти, чтобы свое, русское, воспринималось как экзотическое?! Хотя, в конце концов, даже и та или иная мода — явление социально обусловленное. Но сейчас разговор не о моде.

Песни, сказания, сказки, слова (имеем в виду жанр, как, например, «Слово о полку Игореве»), деяния, легенды и т. д. сегодня становятся одним из оснований возрождения нашей современной литературы. И не только советской.

Вспомним пример из зарубежной практики. Думается, не случайно именно Латинская Америка, в которой наблюдаются процессы национального возрождения, дает сегодня столько образцов глубоко самобытных произведений литературы, в основе которых лежат народно-национальные формы. Напомню только хотя бы о романе колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Органично в этом романе-притче, романе-мифе переплетение реальности и фантастики, истории и легенды, сказки и повседневного быта. Фантастика воспринимается здесь как неотъемлемая составная реальность. История одной семьи, одного маленького городка Макондо в таких формах художественного воплощения вырастает в историю страны, нации и в какой-то мере в самом общем, символическом плане романа — историю человечества в целом. При всем при этом перед нами, безусловно, один из прекрасных образцов реализма нашей современности.

И для русской традиционной школы, в частности, характерно все более осознанное стремление к освоению синтетических жанров, наиболее емко и существенно воспроизводящих образ

мира в его настоящем, впитавшем в себя прошлое и чреватом будущим. Немалую роль в этом движении могут сыграть и образы народной фантастики. И сами писатели все более осознают это. Да, отдельные произведения таких писателей, как Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Василий Белов, Сергей Залыгин, Леонид Леонов, Валентин Распутин, Василий Шукшин, Анатолий Ткаченко, и других (творчество многих из них едва ли не было прописано одно время по ведомству бытописания) могут показаться поначалу неожиданными, случайными даже. Они на первый взгляд не вписываются в наше привычное представление о тематике, выборе героев, ситуации и даже сущности творчества этих писателей.

Небольшое «фантастическое» отступление позволило Астафьеву в рассказе «Ночь космонавта» психологически и художественно достоверно решить определенную творческую задачу.

«Фантастичен» и «неожидан» для Василия Белова рассказ «Око дельфина», если, конечно, смотреть на автора «Плотничьих рассказов» и «Привычного дела» с точки зрения удобных некоторым критикам рамок «бытописателя» и «деревенщика».

Федор Абрамов пишет рассказ из «жизни рыбы»... («Жила была семужка»). Нет, не рыбацкий и не юмористический. Эта современная сказка-притча не единственное обращение писателя к формам реалистической фантастики. О неслучайности ее появления говорит и новый опыт в этом роде: рассказ «Сказки старой лошади». И здесь автор решает творческую задачу не в привычных для него рамках реалистического повествования, но предпочитает использовать сказочный элемент, который позволяет писателю выявить сложную этико-философскую проблему именно нашего времени. Необычность формы рассказа лишь еще нагляднее подчеркнула остроту постановки самой проблемы.

Двумерно слово «бытописателя» Анатолия Ткаченко в его повести «Сказка про маленькую женщину». Материал этой «сказки» — основа для эпоса. Чтобы художественно решить ту же задачу в рамках реально-бытового повествования, писателю потребовалось бы нарисовать широкую картину социально-исторической жизни целого народа. Потому что, как известно, «скоро только сказка сказывается, да не скоро дело делается». Сказочный элемент дает возможность достоверно очертить проблему в емком сюжете рассказа.

И все-таки нужно признать, что обращения к элементам «фантастического реализма» или, может быть, реальной фантастики в нашей традиционной прозе пока еще редки и робки, но не случайны: они отражают общую тенденцию к современному осмыслению и новому наполнению достаточно забытых, но традиционных для русской литературы художественных форм. И это действительно подлинное «веяние времени, его всесильное звучание», говоря словами Сергея Залыгина из его статьи

«Черты документальности» («Вопросы литературы», 1970, № 2). Правда, как мы помним, писатель сказал их по поводу документальной литературы. Однако и сам он оказался подвергнутым «веванию» не документальности, а, как говорится, совсем наоборот, о чем и явствует, например, его повесть «Оська — смешной мальчик» с красноречивым подзаголовком: «Фантастическое повествование в двух периодах» (журнал «Дружба народов», 1973, № 9). И это не научно-фантастическая повесть, нет.

Думается, фантастика повести Залыгина многим обязана «Сну смешного человека» Достоевского в том смысле, что это еще один современный эксперимент с осознанным обращением к реальной фантастике.

К фантастике обратился и автор «Русского леса» (имею в виду «Мироздание по Дымкову» — фрагмент романа в журнале «Наука и жизнь», 1974, № 11).

Не случайно освоение этой традиции у писателей, чье творчество так или иначе соприкасается корнями с народными истоками.

Привычные герои Василия Шукшина, как мы помним, тоже оказываются вдруг в непривычной для этого писателя сказочной ситуации. Сказка «До третьих петухов» не первый опыт такого рода. Повесть-сказка, как определил сам Шукшин жанр своего произведения («Точка зрения» — журнал «Звезда», 1974, № 7), дала возможность в своеобразном трагикомическом плане материализовать три точки зрения на мир: пессимистическую, оптимистическую и, так сказать, объективно-реалистическую. Сказочный сюжет с его устойчивым приемом троекратного повторения — вариации одного и того же события — помог писателю представить единый мир в трех вариантах, вернее, в «триединстве».

Нужно сказать, что при всех видимых художественных достоинствах современных сказок и Шукшина, и не только его одного многое все-таки кажется в них спорным, результатом некоторого «экспериментирования», первого опыта. Встречаются даже и элементы переключки с далеко не лучшими образцами внешнего «осовременивания» народных образов.

Думается, что подобные элементы в рассказе Шукшина — наследие «дурной традиции» снижения «вечных образов» — явно неорганичны творческому мироотношению писателя в целом.

Но нельзя же не видеть и другой стороны: художественная атмосфера сказки Шукшина раскрывает перед нами картину того, во что в наши дни превращаются глубокие и могучие обобщения этих народных образов, на что тратятся их силы необъятные. И вот в этом-то последнем «намек» писателя воплощен, думается, глубоко положительный, современный смысл его собственных «фантастических» обобщений, Поэтика сказки

с ее пространственным образом: «в некотором царстве», с ее особым движением времени: «скоро сказка сказывается» и т. п. — позволяет автору в емком сюжете очертить историю пробуждения самосознания главного героя — Иванушки-дурачка («Надо терпеть»... — «Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то?! Надо же что-то делать!»); историю осознания собственной вины за ту бесовскую фантазмагорию, картину которой разворачивает перед нами писатель в своей сказке. Но мы не собираемся сейчас толковать о сказке. Для нас сейчас важно осмыслить другое: эпоха научно-технической революции — и сказка. Не для детей. Не ради забавы. Сказка как художественное освоение действительности. Не парадокс ли?

«Не до сказок теперь! Не до сказок, я знаю...» — размышлял еще Пришвин и уверял: «Но она явится, как наш след по земле... В жизни мы разделены друг от друга и от природы местом и временем, но сказитель, преодолев время и место... сближает все части жизни одну с другой, так что показывается, в общем, как бы одно лицо и одно дело творчества, преображения материи. При таком понимании сказка может быть реальнее самой жизни».

Своеобразный русский писатель прокладывал своим творчеством новые пути художественного освоения действительности, осознавал свой собственный путь «сказкой о правде», в последнем счете исходящей из того народного миропонимания, что добро в конце концов все-таки побеждает зло.

Писатель вновь и вновь возвращается к мыслям об этом своем пути: «Сегодня я думал о своем серьезном занятии тем, что для всех служит забавой, отдыхом, потехой. Останусь ли я для потомства обычным русским чудачком, каким-то веселым отшельником, или это мое до смешного малое дело выведет мысль мою на широкий путь, и я останусь пионером-предтечей нового пути постижения «мира в себе»? Что, если вдруг окажется, что накопленные человечеством материалы знания столь велики, что их охватить никакому уму невозможно; что в этих накопленных полубогатствах полу-ума заключается главная причина нашей современной растерянности, разброда и что людям от всего этого аналитического опыта надо отойти для простейших синтетических исследований; что на этом пути и надо ожидать гениального человека, который охватит весь окончательный опыт человечества?..»

Наши писатели-реалисты, кажется, начинают нащупывать тропу, по которой прошел писатель-мыслитель. Нет, я вовсе не хочу сказать, что их сказки и есть тот самый путь «простейших синтетических исследований». Но само обращение к формулам тысячелетнего народного опыта не случайно и, на мой взгляд, еще не путь, но в направлении к тому пути, о котором говорил Пришвин.

Поиск новых для сегодняшней литературы форм художественного созидания единого цельного образа мира необходимо требует и нового образа героя. Мы часто говорим о герое времени, но редко думаем о новых формах построения самого художественного образа такого героя. Не будем говорить опять-таки о других возможных формах, продолжим наш разговор, только о уже определившемся плане.

Обратимся еще раз к опыту Пришвина. Работая над повестью «Корабельная чаша» (жанр, который сам писатель обозначил так: «повесть-сказка»), он одновременно записывает в дневнике «попутные мысли»: «В поисках образа героя... Живой человек — это герой моей будущей повести, соединенный из фигуры моего друга О., Суворова, Руссо, Ивана-дурака, Дон-Кихота...» Вечный образ народной фантазии, по мысли писателя, может осветить новые, неожиданные глубины в реальном образе его современника, тем не менее как бы вобравшего в себя и существенные черты типологически близких ему исторических лиц и литературных героев. Вспомним, что такой метод «соединения разных времен» в едином реальном образе современника был уже у Пушкина. Его Герман из «Пиковой дамы», например, не случайно наделен двумя существенными чертами: профилем Наполеона и душой Мефистофеля. Особого внимания в этом плане заслуживают и герои Достоевского. Скажем, его князь Мышкин вбирает в себя черты Дон-Кихота и... Христа, Ставрогин соотнесен с библейским Змием-Искусителем, а вместе с тем, с другой стороны, с Иваном-Царевичем, Иван Карамазов — с Фаустом и т. д.

Зачем, например, тому же Пришвину потребовался вдруг образ Ивана-дурака, да еще поставленный в один ряд с Дон-Кихотом? Вспомним, кстати, что писатель и себя видит русским Иваном-дураком, о чем мы уже говорили. Его герой — «живой человек», а это, по мысли писателя, «человек, находчивый в правде... Дон-Кихот всегда в правде: он в правде — и оттого не боится, не стесняется, не жметя ни в каком обществе». Вспомним поведение Ивана-дурака в сказке Шукшина — он стремится именно к правде, и, хоть скован поначалу, побаиваясь своих многочисленных противников, тем не менее его натура то и дело прорывается наружу, и, перебарывая в себе страх, он уже «не боится, не стесняется, не жметя», порою скорее даже наоборот. Но вернемся к замыслу Пришвина: «Мой герой, — продолжает он, — это Иван-дурак, как русское разрешение темы Дон-Кихота... Путь Ивана-дурака, то есть путь искусства сказки, — путь восприятия жизни цельной личностью... Это сплывшийся сверху Дон-Кихот...

Но страшно становится, когда представишь себе задачу обратить испанского рыцаря Дон-Кихота в русского Дурака! У Шукшина, скажем, ни Дон-Кихот, ни другой какой-либо мировой образ с Иваном-дураком не сопрягается. Задача писателя

в данном случае была иной, нежели у Пришвина. Но и Пришвин и Шукшин, по существу, одинаково видят возможность через народный образ художественно осмыслить в духе современности то миропонимание, которое воплощено в вечном, порожденном «фантазией» образе.

Сегодня ни один из современных наших писателей не смог пока решить художественно полноценно задачу органического слияния современности и «сказки» в едином цельном образе. Но, безусловно, многие из них выходят к истокам этой тропы в русской литературе.

Подлинно органический сплав завоеваний современного реалистического способа освоения и художественного формирования действительности с формами народно-фантастического сознания — в едином образе, в едином жанре, в одном произведении — это, не исключено, дело будущего, может быть, и не столь уж далекого. И все-таки стоило бы посмотреть уже и на некоторые сегодняшние произведения с точки зрения такого вот «завтра».

Например, на повесть «Живи и помни» В. Распутина, роман «Комиссия» С. Залыгина, повествование в рассказах В. Астафьева «Царь-Рыба»... В данном случае не ставлю перед собой цели анализировать все многообразие идейно-образных взаимосвязей каждого из этих явлений, останавлиюсь на них только с точки зрения темы нашего разговора.

Думается, что в достаточно сложную художественно-этическую проблематику повести Распутина невозможно проникнуть, осознать и оценить ее верно вне осмысления в ней значения и функции народно-поэтической образности. Может, например, показаться на первый взгляд (да и показалось некоторым критикам), что писатель недостаточно четко выразил свое отношение к одному из центральных персонажей — дезертиру Андрею Гуськову. Распутин действительно не слишком много словен в этом плане, он почти совсем не дает нам развернутых переживаний героя, самоосознания его собственного поступка, а как автор, кажется, вовсе избегает каких-либо прямых оценок. Так может показаться, но лишь при поверхностном прочтении повести. Вспомним: уже при первой встрече с Андреем в сознании Настены проскальзывает пугающая ее мысль: «...а муж ли? Не оборотень ли это?..» Конечно, слово поначалу звучит бытово, затерто-повседневное, это как бы еще и не существенный образ, но просто первое попавшееся слово. Но ведь не случайно именно это слово, которое вскоре приобретает уже вполне материализованный смысл, сперва в чисто этически-оценочном плане: «...а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?» — мелькает у Настены. Нет надобности напоминать, какое значение имеет этот образ в народном сознании. Вспомним только, как он реализуется, например, у Гоголя в его фантастической «Страшной мести». Не нужно обладать

особым воображением, чтобы осознать и ощутить всю ту жуткую картину внутреннего состояния любящей, ждущей мужа жены, дождавшейся наконец его (о большем счастье и не мечталось, но лучше бы это был оборотень...).

И сам Андрей осознает свое положение через тот же, по существу, образ: «Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила его на старое место...» Он мог бы еще пойти вопреки ей, но не пошел, обрек себя на реально-действенное и нравственное оборотничество, принял на себя и судьбу оборотня.

Народный оценочно-этический образ реализуется затем в цепи нарастающей последовательности его конкретных проявлений. «Как леший», — говорит о нем Настена. И сам Андрей уже не хочет походить на себя — «уж лучше на лешего». «Как неживой», — думает Настена, и этот бытовой оборот в контексте народной поэтики — очередное овеществление оборотня — «нежити». Вот Андрей смотрит в глаза убитого им умирающего животного и видит «в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы». Писатель заставляет Андрея научиться выть по-волчьи (волк, как известно, в народной фантастике более всего сопряжен с понятием оборотничества), и он, по существу, действительно вынужден разделять волчью судьбу, а в образно-этическом плане превращается в него. Андрея-человека уже нет («...тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет!» — в ужасе кричит ему жена) — он уже не он, а «лохматое неуклюжее видение». И не только он. Невольно разделив с ним его судьбу, Настена и сама ощущает себя иной: ей «казалось, что она... покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завывать».

И как бы мы ни относились к решению автора и как бы ни отнеслся теперь автор к собственному разрешению проблемы финала — к самоубийству Настены, унесшей с собой и жизнь еще не родившегося ребенка, думается, что в образно-нравственной системе развития образа такой жестокий, трагический финал глубоко оправдан логикой прежде всего народно-поэтического сознания. Цена отступничества, оборотничества Андрея велика, слишком велика, и не могла ограничиться только его собственной судьбой. Это его нравственная гибель привела к реальной гибели Настены. Цена жизни ребенка — это цена «продажи души дьяволу» отступника. Та же цена, которую потребовали у гоголевского Петра из «Вечера накануне Ивана Купала» другой оборотень — Басаврюк и прочие «безобразные чудища»...

Идейно-нравственная и социально-философская проблематика романа Залыгина «Комиссия» тоже раскрывается в своей истинной глубине во взаимосвязи реально-исторического и народно-поэтического планов этого произведения.

Сказки не вставные и не побочные элементы романа, именно

в них и через них прежде всего и осуществляется здесь художественное воплощение и осознание реальной основы. В переплетении почти этнографического воспроизведения действительности со сказово-поэтическим слогом осмысливается и одна из центральных, исполдволь реализуемых «сказок» романа — «сказка о колобке» — крестьянине Устинове. И наконец, само единство романа, его идейно-художественное целое, «замок свода» его сюжетно-композиционных построений заключены, думается, не столько во внешней, видимой логике развития событий, сколько в центре взаимосвязей его сказок, в их внутреннем соотношении с реально-историческим сюжетом.

И в способе художественного осмысления насущных и глубинных социальных и нравственных проблем века, в лирико-публицистической форме почти автобиографического повествования Астафьева «Царь-Рыба» значительная нагрузка падает на поэтику народно-сказочной образности. Один из центральных эпизодов — единоборство Игнатьевича с огромной осетриной — не случайно дан в сказово-эпическом освещении — как борьба человека («царя природы») с Царь-Рыбой. Здесь особенно наглядно явлен образ всего повествования в его целом — образ борьбы «покорителя природы» с самой Природой. В народно-поэтическом решении центрального эпизода заключена и народно-нравственная оценка этой борьбы и ее последствий. Да и в образе Акима, в его глубинном подспуде, можно без натяжки увидеть современный вариант реализации все того же Ивана-дурака, дон-кихотски противостоящего бездуховно-потребительским веянием деловой, «рационалистической эпохи», с ее западным необуржуазным сознанием, с машинно-технологическими мифами XX века, с их кибернетическими «богами» и героями», с их империалистическими «илиадами» и космическими «одиссеями».

Иванушка-дурачок в век космоса... Архаика в эпоху глобальных мировых проблем... Но как знать, может быть, именно в тысячелетнем опыте народного сознания, заключенного в подобных поэтических образах, противостоящих рационально-бездуховным мифам буржуазного сознания, в какой-то мере и отражается как-то эта самая глобальность — всемирно-историческое значение небесполезности русского Дон-Кихота — Иванушки в его реально-деятельном варианте, вступающего в смертельный поединок с умным, технически и бездуховно-философски оснащенным змеем.

Не знаю. Но истинно великая литература всегда пророчески угадывала наиболее существенные проблемы и тенденции своей эпохи.

Конечно, можно лишь пожалеть, что наши нынешние писатели все-таки робко еще обращаются к таким формам художественного осмысливания действительности, которые позволили бы им подняться до истинного пророчества. Но, может быть,

правильнее сегодня не сожалеть о том, чего еще нет, а радоваться тому, что уже есть или, по крайней мере, предвидится?

Во всяком случае, современное состояние литературы требует от нее такого глубинного поиска, который позволил бы ей стать реально-действенной силой современности, силой, предвещающей слово в деяние.

И последнее. Мне не хотелось бы быть понятым таким образом, будто я-де полагаю, что писание «сказок» (пусть даже и в широком понимании этого слова) современными писателями и есть истинное или даже единственно верное направление поисков в нашей сегодняшней литературе. Речь шла лишь об одной, но, на мой взгляд, существенной особенности сегодняшнего литературного процесса. Во-вторых, и это главное: непосредственное обращение к жанру сказки и к другим аналогичным формам и образам художественного воссоздания мира опять-таки, на мой взгляд, естественный этап, в какой-то мере возрождающий в новых условиях путь, ясно обозначившийся еще в русской классической литературе.

Ведь и сам Пришвин видел в «сказке» не цель, но необходимый этап движения к новым синтетическим формам реалистической правды.

«Кончается сказка — начинается дело» — таков вечный «кругооборот» литературного движения. Естественно, одна фантастика, даже и народная, не способна заменить собою всего многообразия художественных возможностей реализма. Но та фантастика, которая заставляет «медного истукана» гнаться «по гулкой мостовой» за безумным Евгением в «Медном всаднике»; тот реально-сказочный полет России — «птицы-тройки», который мы наблюдаем в «Мертвых душах» Гоголя; та символическая фантастика «Легенды о великом инквизиторе», с которой мы сталкиваемся в «Братьях Карамазовых» Достоевского; те формы фантастики, тайны которой почти утеряны нашей сегодняшней литературой, могут и должны быть ею же возрождены к новой жизни. Ибо без них реализм обеднен, бескрыл, лишен вольного полета художественного сознания.

И мы знаем — реализму дано подниматься к тем классическим вершинам, на которых и рождается только, говоря словами Гоголя, то «неслыханное чудо», когда вдруг становится «вид-но далеко во все концы света».

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

Опыт библиографии
(1974—1975 гг.)

Абрамов С. В лесу прифронтовом. Повесть. — «Искатель», 1974, № 5, с. 69—103.

Азов М. Галактика в брикетах. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М., «Знание», 1974, с. 64—67.

Алегин С. Человек, который не спал. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 13. М., «Знание», 1974, с. 150—153.

Алексеев В. Чуждый разум. Повесть. — «Юность», 1975, № 6, с. 6—19.

Альтов Г. Третье тысячелетие. (Главы из повести). — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 14. М., «Знание», 1974, с. 3—52.

Амнуэль П. Крутизна. Повесть. — «Уральский следопыт», 1975, № 1.

Балабуха А. Решение. — Выбор. Рассказы. — «Искатель», 1975, № 5, с. 49—65.

Белков Ф. Полсекунды. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1975, № 9.

Биленкин Д. Затмение на рассвете. Повесть. — «Памир», 1974, № 1—3.

— Земные приманки. Рассказ. — «Уральский следопыт», 1974, № 8.

— Проверка на разумность. Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1974, 271 с. (Б-ка советской фантастики.)

— Сокровища Нерианы. Рассказ. — «Уральский следопыт», 1975, № 2.

Брагин В. Искатель утраченного тысячелетия. Повесть. М., «Детская литература», 1974, 240 с. (Б-ка приключений и научной фантастики.)

Брюсов В. Гора Звезды. Повесть. — В кн.: Фантастика-73—74. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 191—236.

Булгаков М. Необыкновенные приключения доктора. Рассказ. — «Литературная Грузия», 1975, № 2, с. 39—45.

Булычев К. Богатый старик. Рассказ. — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1975, с. 173—200.

— Две капли на стакан вина. Рассказ. — «Знание — сила», 1974, № 5.

— Закон для дракона. Повесть. — «Знание — сила», 1975, № 10—12.

— Люди как люди. Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1975, 285 с. (Б-ка советской фантастики.)

- По примеру Бомбара. Рассказ. — «Знание — сила», 1975, № 6.
- Средство от давления. Рассказ. — «Памир», 1974, № 4, с. 85—94.
- Бээкман Э. Шарманка. Роман. Пер. с эст. Таллин, «Ээсти Раамат», 1974, 237 с.
- Валентинов А. Заколдованная планета. Повесть. — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1975, с. 427—546.
- Валентинов И. Живая вода. Повесть. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М., «Знание», 1974.
- Варшавский И. Инспектор отдела полезных ископаемых. Повесть. — «Искатель», 1974, № 4, с. 2—44.
- Войскунский Е., Лукодянов И. Ур — сын Шама. Роман. Сокращ. вариант. — «Искатель», 1975, № 1—2.
- Вольф С. Завтра утром, за чаем. Повесть. Л., «Детская литература», 1974, 118 с.
- Гансовский С. Млечный Путь. Рассказ-пьеса. Сокращ. вариант. — «Техника — молодежи», 1974, № 11.
- Горбовский А. Метаморфозы. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М., «Знание», 1974, с. 201—208.
- По системе Станиславского. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 14. М., «Знание», 1974, с. 147—155.
- Грешнов М. Одно апельсиновое зернышко. Рассказы. Краснодар, Книжное изд-во, 1975, 206 с.
- Учебный рейс. Рассказ. — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1974, с. 484—501.
- Шутка робота Стенка. Рассказ. — «Юный техник», 1975, № 6.
- Григорьев В. Ноги, на которых стоит человек. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 14. М., «Знание», 1974, с. 237—241.
- Де-Спиллер Д. Удивительный Игви. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1974, № 7.
- Шестикрылые осы. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1975, № 10.
- Демин В. Тринадцатый опыт. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 14. М., «Знание», 1974, с. 242—253.
- Дихтер В., Кунецкий Я. Убийство кристаллом. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М., «Знание», 1974, с. 168—174.
- Дручин И. Дороги ведут в Сантарес. Повесть. — В кн.: «Дружба». Альманах. Вып. 22. Чебоксары, 1975, с. 77—115.
- Ритм Галактик. Повесть. — В кн.: «Дружба». Альманах. Вып. 17. Чебоксары, 1974, с. 73—144.
- Тени лунных кратеров. Повесть. — В кн.: Фантастика-73—74. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 62—102.
- Кириченко А. Давным-давно. Рассказ. — «Уральский следопыт», 1974, № 1.
- Комаров В. Божий суд. Повесть. — «Наука и религия», 1974, № 8—11.
- Решения. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 13. М., «Знание», 1974, с. 93—110.
- Колупаев В. Качели Отшельника. Рассказы и повесть. М., «Молодая гвардия», 1974, 190 с. (Б-ка советской фантастики.)

— Рассказы. В кн.: Ошибка Создателя. Сб. Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975.

Кривич М., Ольгин О. Начинают и выигрывают. Рассказ.— В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М., «Знание», 1974, с. 57—63.

Курбатов К. Пророк из 8-го «Б». Повесть. Л., «Детская литература», 1974, 132 с.

Лавров Г. Новое поколение. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 14. М., «Знание», 1974, с. 254—258.

Лапин Б. Химеры Диша. Рассказ. — «Сибирь», 1974, № 5, с. 27—47.

Лукьянов О. Пробуждение. Рассказ. — В кн.: Фантастика-73—74. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 52—61.

Максимович Г. Отец Харта. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1976, № 6.

— Серая компания. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1975, № 12.

Малов В. Куклы из космоса. Повесть. — В кн.: «Дружба». Альманах. Вып. 21. Чебоксары, 1975, с. 31—92.

Махмудов Э. Черепаша. — Королевский гамбит. Рассказы. — «Литературный Азербайджан», 1974, № 7, с. 18—32.

Мелентьев В. Дорога через себя. Рассказ. — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1975, с. 295—310.

Михайлов В. Дверь с той стороны. Роман. Рига, «Лиесма», 1974, 383 с.

Михановский В. Беглецы. Повесть. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 16. М., «Знание», 1975.

— Гостиница «Сигма». Повесть. — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1974, с. 502—626.

— Жажда. Рассказ. — «Искатель», 1974, № 2, с. 127—140.

— Цель и средства. Повесть. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М. «Знание», 1974, с. 68—167.

Немченко М., Дни Мно. Рассказ. — «Урал», 1974, № 8, с. 115—124.

— Мальчишки, мальчишки... Рассказ. — «Уральский следопыт», 1974, № 7.

Никитин Ю. Большой марсианский сырт. Рассказ. — «Волга», 1975, № 7.

Николаев Г. Белый камень Эрдени. Повесть. — «Смена», 1974, № 21—24.

Осинский В. Последний штрих. Рассказ. — «Литературная Грузия», 1975, № 1, с. 48—51.

— Универсальный язык. Рассказ. — «Искатель», 1974, № 2.

— Что там? Повести и рассказы. Тбилиси, «Мерани», 1975, 290 с.

Павлов С. Лунная радуга. Главы из романа. — «Енисей», 1975, № 6.

— Неуловимый прайд. Повесть. — «Енисей», 1974, № 3, с. 3—30.

Палей А. Мужество. Рассказ. — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1974, с. 627—632.

Подольный Р. Закрыватель Америк. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 14. М., «Знание», 1974, с. 259—265.

Прашкевич Г. Мир, в котором я дома. Повесть. — «Уральский следопыт», 1974, № 2.

— Разворованное чудо. Повесть. — «Уральский следопыт», 1975, № 3. с. 11—96.

— Шпион в юрском периоде. Повесть. — «Уральский следопыт», 1974, № 9.

Пухов М. Костры строителей. Рассказ. — В кн.: Фантастика-73—74. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 21—25.

— Над бездной. Рассказ. — «Знание — сила», 1974, № 3.

— По использованию уничтожить. Рассказ. — «Знание — сила», 1975, № 4.

Росоховатский И. По образу и подобию. Рассказ. — «Искатель», 1974, № 2, с. 141—151.

— Ритм жизни. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1975, № 11.

— Ураган. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. М., «Знание», 1974, с. 185—200.

Рыбин В. Зеленый призрак. Повесть. — «Искатель», 1975, № 6, с. 2—52.

— Земля зовет. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 15. М., «Знание», 1974, с. 175—184.

Самсонов Ю. Наш новый приятель. Сценарий мультфильма. — «Сибирь», 1975, № 3.

Севастьянова А. Эпизоды из жизни Рэтикуса. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1975, № 3.

Сергеев Д. Прерванная игра. Повесть. — «Уральский следопыт», 1975, № 6—7.

— Чехарда. Рассказ. — «Сибирь», 1974, № 5, с. 47—60.

Слепынин С. Звездный странник. Роман. Сокращ. вариант. — «Уральский следопыт», 1974, № 10—12.

Соколова Н. Дезидерата. Повесть. — В кн.: Фантастика-73—74 М., «Молодая гвардия», 1975, с. 103—134.

Соколов К. Три цифры. Рассказ. — «Московский комсомолец», 1974, 25 августа.

Стругацкий А., Стругацкий Б. Парень из преисподней. Повесть. — «Аврора», 1974, № 11—12.

Суркис Ф. Лица. — В купе. — Ссора. — Нос. — Камуфляж. — Фант. Миниатюры. — «Комсомольская правда», Вильнюс, 1974, 13 октября.

— Перекресток, или Сказка о Тави. Рассказ. — «Уральский следопыт», 1974, № 4, с. 67—74.

— Сотворение мира. Рассказ. — «Уральский следопыт», 1975, № 5.

Тарнарукский Г. Космический пешеход. Рассказ. — В кн.: Фантастика-73—74. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 43—51.

Тупицын Ю. Далийский вариант. Роман. — «Урал», 1975, № 8—10.

— Химеры далекой Юкки. Повесть. — «Урал», 1974, № 11, с. 105—144.

Филиппов М. Отсроченное время. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1974, № 9.

Фирсов В. Ангелы неба. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 13. М., «Знание», 1974, с. 78—92.

— И жизнь, и смерть. Повесть. — В кн.: Фантастика-73—74. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 135—184.

— Твои руки как ветер. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 16. М., «Знание», 1975.

Фомин Ю. Тайна замка Эвелин. Отрывок из романа. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 16. М., «Знание», 1975.

Шагинян А. Как это было на самом деле. Рассказ. — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1975, с. 59—72.

Шалимов А. Вторые тени. Рассказ. — «Уральский следопыт», 1974, № 6.

Шаломаев М. Эффект Завалишина. Символ встречи. Повесть и рассказ. Ташкент. «Еш гвардия», 1974, 101 с.

Шах Г. Если бы ее не уничтожили. Рассказ. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 14. М., «Знание», 1974, с. 117—146.

— Огненная колесница Гениобала. Рассказ. — «Знание — сила», 1974, № 7.

Шашурин Д. Куда исчезают двери. — Не Клеопатра, не Икар, не Шерлок Холмс. — Два случая из жизни пожилого лесника, записанные им самим. Рассказы. — В кн.: Шашурин Д. Разломанный пряник. М., «Советский писатель», 1974, с. 30—35, 79—85, 200—205.

— Псовая охота. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1974, № 8, с. 42—44.

Шепиловский А. На острие луча. Повесть. Иркутск, Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1974, 223 с.

Шефнер В. Скромный гений. Повести и рассказы. М., «Молодая гвардия», 1974, 272 с. (Б-ка советской фантастики.)

Щербаков В. Берег солнца. Рассказ. — «Техника — молодежи». 1975, № 2.

— Открытая планета. Рассказ. — «Техника — молодежи», 1974, № 6.

Щербаков В. Река мне сказала... Рассказ. — В кн.: Фантастика-73—74. М., «Молодая гвардия», 1975, с. 26—32.

Юрьев З. Полная переделка. Роман. — «Искатель», 1975, № 5.

Ярославцев С. Экспедиция в преисподнюю. Современная сказка. (Повесть.) — В кн.: Мир приключений. М., «Детская литература», 1974, с. 230—343.

СОДЕРЖАНИЕ

С думой о молодых	5

Повести и рассказы

А. Аникин. Пятое путешествие Гулливера	8
В. Головачев. Великан на дороге	43
Т. Малик. Фалак	83
Б. Балашевичус. Знакомый солдат	116
Г. Тарнаруцкий. Живая вода	124
Ф. Суркис. Перекресток	138
А. Хлебников. Улыбка Ники Самофракийской	152
А. Дмитрук. Ответный визит	162
В. Панков. Братья Блиновы	169
К. Симонян. Зовущий, зовущий мир...	177
Ю. Яровой. Хрустальный дом	181
В. Бережной. Голос матери	200
Д. Де-Спиллер. Светящаяся паутина	203

Школа мастеров

А. Платонов. Потомки Солнца	218
И. Папанов. Континенты воображения	227

Молодые голоса

Л. Синицына. Пузыри Земли	236
А. Торосов. Оливье — друг человека	269
И. Мынэскуртэ. Аромат возвращений	291
В. Заяц. Были старого космогатора	296
В. Жигунов. Интегральное скерцо	301

Грани будущего

Ю. Селезнев. Фантастическое в современной прозе	312
Александр Осипов. Советская фантастика (Опыт библиографии (1974—1975 гг.)	330

**Фантастика-78. Сборник. Художн. Р. Авотин. М.,
Ф22 «Молодая гвардия», 1978.**

336 с. с ил.

На обороте тит. л. сост.: Д. Шашурин и А. Осипов.

Авторы традиционного сборника фантастических произведений мало известны или совсем не знакомы читателям. Это в основном начинающие писатели, талантливо заявившие о себе совсем недавно. Темы их произведений охватывают широкий спектр деятельности человека в пространстве и времени — от седой старины до настоящего и далекого будущего, и каждая решается по-своему оригинально. Общим для повестей и рассказов, и это особенно примечательно, является то, что в них реалистично отражаются сложности окружающего мира, а герои — горячие патриоты своей Родины, своего народа. Раздел «Грани будущего» посвящен размышлениям о путях и особенностях развития современной советской фантастики.

С62

Ф 70302—193
078(02)—78 —236—78

ИБ № 1950

ФАНТАСТИКА-78

Редактор Д. Зиберов

Художник Р. Авотин

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Т. Цыкунова

Сдано в набор 27/I 1978 г. Подписано к печати 17/VII 1978 г. А05700.
Формат 60×90^{1/16}. Бумага № 2. Печ. л. 21 (усл. 21) + 4 вкл. Уч.-
изд. л. 22,5. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 100 000 экз.) Цена 1р. 60 к.
Т. П. 1978 г. № 236. Заказ 2447.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии:
102030, Москва, К-30, Сушчевская, 21.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

1 р. 60 к.